

Льюис Кэрролл, Ромен Роллан

Николка Персик. Аня в Стране чудес

Russian translation of COLAS BREUGNON by Romain Rolland

Translation copyright © 1922, Vladimir Nabokov

All rights reserved

Russian translation of ALICE IN WONDERLAND by Lewis Carroll

Translation copyright © 1923, Vladimir Nabokov

All rights reserved

© А. Бабилов, составление, редакторская заметка, примечания, 2023

© Д. Черногаев, художественное оформление, макет, 2023

© 000 «Издательство Аст», 2023 Издательство CORPUS ®

От редактора

Первой опубликованной Владимиром Набоковым в Берлине книгой стал перевод французской повести Романа Роллана (1866–1944) «Кола Брюньон» (1919). В июне 1920 г., приехав из Кембриджа на каникулы к родителям в Лондон, он как-то заговорил с отцом о тех трудностях, которые ждут переводчиков нового сочинения Роллана, – «стилизованного, написанного сочным раблезианским языком романа» [1]. Набоков-старший, по-видимому, полагал, что частая игра слов, просторечные обороты, архаизмы, ритмически организованные пассажи и местные французские названия по-русски непередаваемы. Начиная автор «заключил с отцом пари, что сможет перевести книгу, сохранив ритм и рифмы оригинала. Он не был высокого мнения о Роллане как о писателе, и в этой работе его привлекала лишь сама сложность задачи, возможность испытать себя» [2].

По договору с берлинским издательством «Слово» готовый перевод следовало предоставить к началу 1921 г., однако работа продвигалась медленно. 1 ноября 1920 г. В. Д. Набоков писал сыну:

Что мне сказать по поводу Rolland? Раз Ты предпочитаешь от 6 до 7 $\frac{1}{2}$ перси Персику – положение, очевидно, безнадежное. Я только говорю

одно: к 1 января перевод должен быть кончен, иначе я Тебе дам свое отцовское проклятие. Распределение Твоего дня на меня произвело потрясающее впечатление. Одно можно сказать: опасность умственного переутомления Тебе как будто не угрожает, хотя, конечно, 2 часа умственного труда в день – это страшно много[3].

К началу марта следующего года перевод все еще не был закончен. 23 февраля 1921 г. Набоков писал матери из Кембриджа:

Дорогая мамочка,

гавань видна: когда я приехал сюда, переведено было только 110 страниц (я малодушно это скрыл). Здесь же я перевел еще 130, и таким образом осталось 60, – как раз успею[4].

Наконец работа была сделана, но к тому времени издательство, по-видимому, решило перенести задержанную книгу на следующий год: 29 апреля 1921 г. Набоков с некоторой тревогой спрашивал родителей: «Как обстоит дело с “Colas Breugnon”? Неужели мой труд пропал даром? Напишите»[5]. Издательство приступило к подготовке гранок только в начале 1922 г.

С 29 августа 1922 г. в газете «Руль» начали печататься отрывки из перевода (еще не имевшего русского названия), которым был предпослан следующий редакционный анонс:

Книгоиздательство «Слово» заканчивает печатанием перевод блестящего произведения Ромэна Роллана «Colas Br<e>ugnon». Значение и сущность этого произведения выясняются из приводимого предисловия самого автора. Перевод сделан обратившим на себя внимание талантливым молодым поэтом Вл. Сириным и представляет по своей художественной форме и точности выдающуюся литературную заслугу[6].

Изданный в ноябре 1922 г. «Николка Персик» стал одной из двух первых русских версий французской повести: вторая вышла в том же году в петроградском издательстве «Всемирная литература» («Кола Бреньон», перевод М. А. Елагиной под редакцией Н. О. Лернера). Лишь десять лет спустя появился новый русский перевод повести, созданный М. Л. Лозинским («Кола Брюньон», 1932).

Рассматривая первый большой переводческий опыт молодого Набокова, стилистически неровный и технически несовершенный, следует помнить, что ему пришлось самостоятельно проделать немалую изыскательную работу, поскольку он не имел возможности пользоваться пояснениями или комментариями, которые появились позднее. Основные источники и композицию повести Роллан охарактеризовал в «Примечаниях Брюньонова внука» лишь в 1930 г.; они были включены, вместе с авторскими пояснениями, которыми пользовался Лозинский, в советское издание

1932 г.:

Я задумал эту галльскую поэму в апреле – мае 1913 года. Называлась она тогда «Король пьет», или «Жив курилка». <...> Затем, в начале 1914 года, я обратился с предложением напечатать «Кола» к «Ревю де Пари» <...> Но, к моему изумлению, мой старый учитель оказался весьма смущен вольностью этого произведения. Он не решался представить непочтительного Кола своей чопорной аудитории. <...> Что касается строения книги, то его легко увидеть и без очков. Оно следует ритму Календаря природы, по которому я жил среди полей, промеж двух белых январей. Книга эта питалась кламсийскими летописям, неверскими преданиями, французским фольклором и сборниками галльских пословиц, которые суть мое евангелие и мое «Поэтическое искусство». Я утверждаю и посейчас, что в любом их мизинце больше мудрости, остроумия и фантазии, чем во всем Аруэ [7], Монтене и Лафонтене. (А я их люблю, этих трех братьев!)

Надо ли добавлять, что, когда я был ребенком, в клетке моей не умолкал старый голос, насмешливый и веселый <...> старой Розалии из Бевронского предместья, – которая часто мне рассказывала, как Кола своей Глоди, сказку про Утенка и про Ощипанного цыпленка. Ее крутой язык, голый, без фигового листка, с бургундской солью, не многим отличался, в своем свежем архаизме, от языка моего Кола. И я отчасти в ее честь избрал рубеж двух столетий, шестнадцатого и семнадцатого, где новизна и старина делят ложе; ибо от этого сладостного брака родилась речь, крепкая, задорная речь моей старой рассказчицы.

Имя Brugno (или Breugno), – а это, как всем известно, название мясистого и крепкого плода, помеси персика и абрикоса, – до сих пор живо в окрестностях Кламси <...> [8]

Советский исследователь русских версий повести в отношении переводческого подхода Набокова пришел к следующим наблюдениям:

Владимир Сирин переводит текст в основном средней невыразительной общелитературной лексикой со слабой разговорной окраской. Преобладают сочетания слов, принятые обычно в книжном стиле. По языку перевода Сирина не видно, что персонажи повести представляют низшие плебейские слои французского народа. <...> Все же порой Сирин как бы спохватывается и замечает, что текст нуждается в «сочных» народных словах и выражениях. Однако в качестве народной лексики он привлекает либо слова <...> выпавшие из обихода, либо областнические, либо вульгарные, как, например, горюше, горынские замыслы, потекли в путь, вертоград, весенницы, господине (звательный падеж), подгрызаны, кухарь, тенетница, околоток, вестимо, меня гадует, знахарить, гультай, поленичек–подкидыш, сластущечка <...> и т. п.

Искусственны и псевдонародны употребляемые им якобы просторечные метафорические обороты: подлый петушок; горшок с горчицей (брань); раздавливая зады о перила; освежаешь рыло в соседнем кабаке; облизывал стакан взглядом и языком; ушли мы, дурни, зады торжественные; этот требух, пузогной; роскошно скучают; ум не

однорукий; потом перешли на галушки шипучие <...>.

Рифма в переводе передается редко, носит случайный характер. Зато Сирин старается воспроизвести возникающую временами в подлиннике ритмическую организованность речевого потока (правда, тоже не всегда). Ритм Сирин не мыслит помимо метрической упорядоченности. Он членит речь на отрезки, соизмеряемые по числу ударений (акцентный стих) и порою тяготеющие к однообразной стопной размерности. <...> В итоге применяемый Сириным прием превращает лирические пассажи повести в высокопарно-напыщенные, резко противопоставляет их другим частям текста. Стилистическое единство повести рушится, цельность образа Кола Брюньона распадается [9].

Эти выводы по большей части верны, однако справедливости ради следует заметить, что друзья и собеседники Персика, священник и нотариус, как и он сам, ваятель и резчик по дереву, торгующий, кроме того, предметами искусства, не относятся к «низшим плебейским слоям французского народа». Нельзя согласиться и с тем, что Набоков перевел повесть «в основном средней невыразительной общелитературной лексикой со слабой разговорной окраской» – довольно приведенных самим исследователем примеров разговорных форм, архаичных слов и оборотов, чтобы убедиться в обратном.

Эмигрантский критик и театральные режиссер, будущий постановщик набоковской пьесы «Человек из СССР» (1927) Юрий Офросимов, откликнувшись на публикацию набоковского перевода поощрительной рецензией, в свою очередь не мог не отметить некоторых его недостатков:

Радостная книга о Николае <sic!> Персике, и радостен, свеж перевод ее; на русский язык особенно трудно, казалось бы, передать всю эту игру слов, подчас рифмованную; порою – почти ритмическую прозу; весь характер этого старческого болтливости говорка. Дух повести хорошо, сочно сохранен Вл. Сириным, иные словечки удачно заменены соответственно найденными малоупотребляющимися русскими. Но все же порою возникают недоумения: зачем, например, такая притянутая, упорная русификация в именах: Глаша, Марфа <...> [10]. Иногда тяжеловата расстановка слов <...> но, думается, все эти недостатки только досадные обмолвки. Стил и дух книги переданы, повторяю, очень удачно, местами – блестяще [11].

Современный исследователь в своем анализе «Николки Персика» пришла к мнению, что Набоков не уступает Лозинскому в передаче стихотворных строк и в изобретении каламбурных эквивалентов: «Когда русский язык позволяет ему использовать звуковой прием, он может как сохранить каламбур или шутку, так и подыскать дополнительные созвучия и аллитерации, чтобы компенсировать те, которые были утрачены в другом месте» [12].

В России «Николка Персик» был впервые переиздан в 1999 г. в первом

томе собрания сочинений Набокова «русского периода» (СПб., «Симпозиум»). Настоящее издание подготовлено по тексту первой и единственной прижизненной публикации 1922 г.

Второй переводной книгой Набокова стала «Алиса в Стране чудес» (1865) Льюиса Кэрролла (1832–1898), вышедшая весной 1923 года [13] в берлинском издательстве «Гамаюн» под названием «Аня в Стране чудес» и с рисунками художника С. Залшупина. В «Других берегах» Набоков вспоминал, что в 1922–1937 гг. в Берлине «Много переводил – начиная с “Alice in Wonderland” (за русскую версию которой получил пять долларов) и кончая всем, чем угодно, вплоть до коммерческих описаний каких-то кранов» [14]. Перевод «Алисы», однако, нельзя было назвать рутинной переводческой работой ради заработка – он оказался не только отличным упражнением для развития собственного писательского стиля Набокова, но и довольно неожиданно послужил ему – двадцать лет спустя – основанием для получения места лектора в американском колледже Уэллсли.

«Приключения Алисы в Стране чудес» до Набокова несколько раз переводились на русский язык, начиная с анонимного перевода–пересказа 1879 г. под названием «Соня в царстве дива». Как и первый русский переводчик, Набоков избрал для героини русское имя и опустил стихотворное вступление (к близким Набокову русским версиям «Алисы», включающим вступление Кэрролла, можно отнести переводы П. С. Соловьевой 1909 г. и А. А. Д’Актиля 1923 г.) [15].

Вскоре после выхода набоковского перевода в берлинской газете «Руль» появилась следующая короткая рецензия:

«Alice in Wonderland» – после Библии, вероятно, самая популярная книга в Англии. Нельзя себе представить английского ребенка, который не спускался бы вместе с любопытной девочкой Алисой в волшебную страну чудес. Дети любят эту книгу не только из-за ее мягкого юмора и захватывающей напряженности фабулы, но и потому, что автор умело собрал в ней, так сказать, духовный инвентарь среднего английского ребенка. В ней появляются любимые и знакомые герои английских сказок, в ней приведены в забавных пародиях классические английские песенки, стихотворения, поговорки, кусочки из школьных воспоминаний и т. п.

Эти особенности книги делают ее чрезвычайно трудной для перевода, с которым мог справиться только человек, не только хорошо знающий английский язык, английскую жизнь и английскую литературу, но и свободно владеющий русской прозой и стихом. В данном случае переводчик удовлетворяет обоим этим требованиям. Чувствуется, что ему пришлось немало поработать по приспособлению английского текста к понимаю маленьких русских читателей. Ему это особенно удалось в переводе – вернее, в самостоятельном сочинении – стихов, помещенных в книге. Вл. Сирин стремился русифицировать все английские названия и собственные имена. С этой точки зрения напрасно оставлены такие названия животных, как Дронт, Лори, Гри<ф>.

Книге можно пожелать самого широкого распространения[16].

Интерес к набоковскому переводу возродился лишь во второй половине 1970-х гг., после его переиздания в «Ардисе». Перед тем, в 1970 г., вышла статья американского слависта русского происхождения Саймана (Семена) Карлинского, назвавшего версию Набокова «одним из лучших переложений “Алисы” на любом языке» и «лучшим переводом на русский»[17]. На это Набоков возразил, что «Карлинский слишком добр к моей “Ане”» и что «удачны в ней только стихи и игра слов»[18].

С точки зрения феноменального будущего двуязычия Набокова и опытов сочинения на французском языке, его литературная карьера зачиналась по идеальной схеме, в которой английский, французский и русский языки равноправны, послушны и взаимообогащаемы, а проза свободно сочетается с поэзией. Двумя этими ранними переводами он определил границы не только своей последующей переводческой работы, но и характер собственной писательской манеры – склонность к межжанровым экспериментам, к игре слов, изысканной фразировке, к литературным и историческим аллюзиям, которыми изобилуют книги Кэрролла и Роллана.

«Николка Персик» печатается по тексту первого издания с сохранением особенностей авторской транслитерации и с исправлением замеченных опечаток.

«Аня в Стране чудес» дважды переиздавалась репринтным способом: в 1976 г. в нью-йоркском «Dover Publications» (с английской заметкой от издательства) и в 1982 г. в «Ардисе» (Анн-Арбор). Печатается по второму изданию с исправлением опечаток и приведением некоторых слов к современному написанию. Конъектуры даны в угловых скобках.

Ромен Роллан. Николка Персик (Colas Breugnon)

Святому Мартыну Галльскому, покровителю города Клянси

Святой Мартын и пьян, и сыт всегда.

Пускай под мельницей бежит вода...

Поговорка XVI века

Перевел с французского Владимир Сирин

Предисловие автора

Читатели романа «Jean-Christophe»[19], вероятно, не ожидают новой этой книги. Она удивит их не более, чем удивила меня.

Готовил я иные произведения – драму и роман на современные темы, в несколько мрачном духе «Jean-Christophe». Мне пришлось внезапно отложить набросанные заметки ради беспечного произведения, о котором я и не думал накануне.

Оно как бы порыв свободы, после десятилетней неволи в броне «Jean-Christophe», которая, хоть сперва и была мне в меру, впоследствии стала слишком узка. Я почувствовал непреодолимую потребность в вольном галльском веселии, да, вольном до дерзости. К тому же возврат на родное пепелище, которого я не посещал с детства, снова сблизил меня с краем моим, с нивернейской Бургундией, и разбудил в душе целое прошлое, уснувшее, думал я, навеки, – всех Николок Персиков, таящихся во мне. Пришлось мне за них говорить. Проклятые эти болтуны еще не наговорились в жизни своей! Воспользовались они тем, что у одного из их правнуков оказалась счастливая способность писать (они часто мечтали о ней!), чтобы взять меня в письмоводы. Тщетно я уклонялся:

– Вы, дедушка, достаточно болтали на веку своем. Дайте и мне поговорить. Теперь мой черед!

Они возражали:

– Малыш, ты говорить будешь после. Начнем с того, что у тебя нечего рассказывать более занимательного. Садись, слушай, ни слова не пропусти... Ну-ка, внучек, сделай это ради меня, старика! После ты сам поймешь, после, когда будешь на месте нашем... Самое-то горькое в смерти – это, видишь ли, молчание...

Что поделаешь? Пришлось мне уступить, писать под диктовку. Ныне кончено, и вот я снова свободен (по крайней мере, я так полагаю). Примусь опять за прерванную нить собственных мыслей, если только иной из старых болтунов моих не вздумает снова из гроба встать, чтобы воспоминания свои передать потомству.

Не смею думать, что общество моего Николки столько же развлечет читателей, сколько развлекало автора. Пусть они все же берут книгу эту как есть, в ней есть круглота, прямота, не норовит она изменить или объяснить мир, ни политики, ни метафизики в ней нет, это книга чисто французская, что смеется над жизнью, потому что любит ее и чувствует себя прекрасно. Одним словом, как говорит Орлеанская дева (не обойтись без ее имени в заголовке галльского рассказа), друзья, «prenez en gré»[20], – не взыщите.

Май 1914 г.

Жаворонок в Сретенье

2 февраля

Слава тебе, святой Мартын! Дела не идут. Не стоит из сил выбиваться. Достаточно я поработал в жизни своей. Пора поразвлечься немного. Вот сижу у стола, справа – кружка вина, слева – чернильница; тут же тетрадь, новая, чистая, мне раскрывает объятья. За здоровье твое, дружок, – и давай побеседуем! Внизу, в доме, бушует моя жена, на дворе – зимний ветер дует. Говорят, будет война. Как радостно снова быть вместе, друг против друга, голубок ты мой, толстячок! (Тебе говорю, тебе, – рожа радужная, любопытная, рожа веселая, с длинным бургундским носом, посаженным криво, словно шапка ухарская...) Но что означает, скажи мне, пожалуйста, эта странная радость, – отчего мне так любо склоняться в одиночестве зорком над своим старым лицом, беспечно блуждать по морщинам его, и, как из пьяных бочек моих (да ну их!), без передышки тянуть, в погребе сердца, вино старое воспоминаний? Еще можно, пожалуй, так грезить, но писать, о чем гредишь, – зачем! Грезить, – сказал я? Нет. У меня широко ведь открыты глаза, глаза кроткие и насмешливые, у висков в морщинки собранные. Пусть тешат других пустые мечтанья! Я же передаю только то, что сам видел, что сам говорил и делал... Не безумье ли это? Для кого я пишу? Уж конечно, пишу не для славы; я не темная тварь, знаю я цену себе, слава Богу! Для кого же? Для внуков своих? Но пройдет десять лет, и что от тетради останется? Ревнива старуха моя, – что находит она, то сжигает. Для кого же, ответь наконец? Ну так вот: для себя! Лопну я, коль не буду писать. Недаром я внук своего кропотливого деда, который не мог бы уснуть, не отметив пред тем, чтобы лечь, сколько кружек он выпил и сколько сблевал. Говорить, говорить я хочу, а в своем городке, на ристаньях словесных, не могу развернуться как следует. Все я высказать должен, – и подобен я в том брадобрею Мидаса[21]. У меня слишком длинный язык. Если порою подслушают, мне не избежать костра. Но что же поделаешь! Будешь бояться всего – задохнешься от скуки. Люблю, как громадные белые волны, – пережевывать вечером пищу дневную. Как приятно потрагивать, щупать, поглаживать все, что за день ты поднял, заметил, подумал; как приятно облизывать, долго вкушать (так, чтоб таяла сладость на языке), смаковать бесконечно все то, чем еще не успел насладиться, все, что жадно ловил на лету! Как приятно дозором свой маленький мир обходить и себе говорить: я им владею. Здесь я хозяин и князь. Ни морозы, ни бури не тронут его. Ни король, ни Папа, ни враг. Ни даже старуха моя брюзжащая.

Итак, перечислим теперь все, что есть в этом мире.

Во-первых: самое лучшее из всего, что принадлежит мне, конечно, – он, Николка Персик, добрый малый, да бургундец, круглый нравом и брюшком, – и хоть юности не первой (что таить – шестой десяток!) – крепче дуба, целы зубы, взор – что свежая плотва, – и, седея потихоньку, не лысеет голова. Не скажу, что, будь она белокурой, вид ее мне бы не нравился, не утверждаю также, что если бы вы предложили мне помолодеть на двадцать или тридцать лет, – я с отвращеньем бы отвернулся. Но все же целых десять пятисвечников – прекрасная вещь!

Смейтесь, смейтесь, юнцы. Не всякий, кто хочет, доходит до этого. Шутка ли сказать, – в продолженье полвека по всем я скитался дорогам французским, да в смуту еще... Боже! Как в спину нас жалили, друже, и зной и дожди! Нас природа то печь принималась, то мыть... И пекла же, и мыла же. Я – старый, смуглый мешок; чего только в него не совал я! На, выложи: горести, радости; тайные хитрости, жизненный ветер и жизненный опыт; солома и сено; виноградные гроздья и смоквы; много сладких плодов и немало зеленых; розы и плевелы; тысяча разных вещей, виденных, читанных, впитанных, – и пережитых. Все это кое-как свалено, спутано. Разобрать хорошо бы... Стой! Куда ты, Николка? Разберемся мы завтра. Если сегодня начну, никогда не dokonчу рассказа... Надо составить сперва краткий список товаров, которых я ныне хозяин. У меня есть дом, жена, сына четыре и дочь одна (слава Богу, замужем она), – один зять (нельзя было его не взять!), восемнадцать внучат, серый осел, пес, шесть кур да свинья. Вот как я богат! Напялим-ка очки, разглядим вблизи сокровища эти. Жена, дети – все так, но от дальнейшего осталось только воспоминанье. Войны прошли, прошли и друзья, и враги. Свинья просолена, осел сгинул, погреб выпит, курятник общипан. Но жена моя, но жена, – чорт [22] возьми – осталась она, осталась! Послушайте, как она орет. Ни на миг не могу позабыть свое счастье: она моя, моя, красавица эта, я – единственный обладатель ее. Эх, Персик, счастливый мерзавец! Тебе все завидуют. Так что ж, господа, хоть словечко скажите; отдаю, берите! Чем не хозяйка она? Женщина добрая, трезвая, честная – словом, все качества есть (только нечего есть, а я, грешный, признаюсь, что всем тощим добродетелям, вместе взятым, предпочитаю один пухленький порок... Впрочем, за неимением лучшего – будем добродетельны, так Бог велит). Ай, как она мечется, руками машет – Маша, угловатая наша! Весь дом наполняет телом своим долговязым, рыщет, хлопочет, рычит, бурчит, грохочет, гонит пыль и покой! Вот уже скоро тридцать лет, как мы вместе. Чорт его знает, – отчего так вышло. Я любил другую, та только смеялась надо мной. Она же именно меня хотела, хоть мне не нужно было от нее ничего. В те дни была она тонкая, матово-бледная, темноволосая, с угрюмо-острыми глазами, которые, казалось, могли меня съесть живьем и жгли меня, подобно тому, как две капли водки выедают сталь.

Она любила меня, любила любовью погибельной. Измученный этими преследованиями (как глупы мужчины!), быть может, из жалости, быть может, из гордости, но пуще всего потому, что был утомлен, решил я (подшутил, верно, бес), чтоб от этих нападков отделаться, решил я (как тот балбес, что, спасаясь от дождика, в воду полез) жениться на ней и – женился. С тех пор я у себя в доме содержу добродетель. И мстит же она мне, кроткое существо! Мстит за то, что любила меня. Она меня приводит в ярость, или, по крайней мере, так кажется ей. Но

она ошибается. Я влюблен в свой покой и не так глуп, чтоб делать из ссоры повод для грусти. Идет ли дождь – я молчу. Гром ли гремит – свищу. Когда же кричит она – хохочу. И отчего бы ей не покричать? Неужто дерзаю я думать, что могу заставить молчать женщину эту? Где женщина – там и шум; а ведь смерти ее не хочу я. Она поет, и я пою: каждый из нас свою тянет песенку. Только бы не вздумалось ей заткнуть мне рот (она хорошо знает, как это дорого стоит). Ей же я позволяю щебетать. У каждого свои ноты.

Впрочем, хоть и не согласны струны наши, нам все же удалось исполнить несколько недурных вещиц: одну дочь и четырех сыновей. Все они крепкие, гибкие: труда, материала на них я потратил немало. Однако только в одном из птенцов, в дочери Марфе, я узнаю сущность свою. Ах, ах, попрыгунья! Сколько понадобилось мне терпенья, чтоб до берега брака ее довести без крушенья. Наконец-то! Теперь-то она успокоилась, – и хоть довериться этому все же опасно, но не мне говорить, не мое это дело. Достаточно я провозился с ней, ночей не спал. Теперь твоя очередь, зять мой, пекарь Флоридор; пеки, опекай!.. Мы с дочерью спорим при каждой встрече, но зато мы друг друга исключительно хорошо понимаем. Она славная девушка; даже в беспечных порывах ее есть какая-то рассудительность, она честная, прямая – в ней качества эти улыбчивы, ибо худшим считает она недостатком, что скуку наводит. Она не боится невзгод: невзгоды ведь это борьба, а борьба ведь – отрада. И жизнь она любит. Она знает, что в жизни хорошего есть. Я тоже, то кровь моя в ней говорит... Только, пожалуй, я расточителен был, сотворяя ее.

Сыновья же вышли похуже. Жена на своем настояла, и тесто не встало. Из них двое – ханжи, и, к довершенью всего, ханжество одного ненавидит личину другого. Первый все трется о черные юбки попов, лицемеров, второй – гугенот, сам черт не поймет, как случилось, что вывел я этих утят! Третий – бродяга-солдат, где-то скитается, где-то воюет, в точности где – я не знаю. А четвертый – ничего из себя не представляет, ровно ничего. Этаким торговый человечек, серенький, с душой овечьей, – ах, зеваю всякий раз, что вспоминаю о нем. Я породу свою узнаю, лишь когда мы сидим вшестером за столом, вооруженные вилками. За столом уж никто не спит, и во мненьях сходятся все. Это прекрасное зрелище: искусно работают челюсти, хлеб трещит, разрушается, в глотку вино, как в бездну поток, вливается.

Поговорим теперь о самом доме. Он тоже чадо мое. Я строил его медленно, по частям, и не раз перестраивал сызнова. Он расположен на берегу Беврона – ленивой, илистой, зеленой речки, – у входа в предместье, за мостом, что стоит, словно на четвереньках, над самой тиной. Напротив – башня св. Мартына, легкая, гордая, в платьице кружевном, да пестрый портал, да старинные ступени церковные, крутые и черные, ведущие, скажешь ты, в рай. Лачужка моя, игрушка, стоит вне стен городских: а потому всякий раз, что с башни приметят врага на равнине, город ворота свои запирает, и враг приходит ко мне. Хоть я и люблю побеседовать, однако сдается мне, что без общества этого я бы вполне обошелся. Завидя врага, я чаще всего просто ухожу, оставляя ключ под дверь. По возвращеньи случается мне не найти ни ключа, ни дверей. Тогда я строю снова. Мне говорят: Тупоголовый! Ты работаешь на врага, Брось лачужку свою, под защиту стен залезь. –

Я ж в ответ:

Куралесь! Хорошо мне и здесь. Знаю я, что за крепкой стеной будет полный покой. Но за крепкой стеной – что увижу я? Стену, и только. Буду чахнуть от скуки. Свобода нужна мне, размах, жить хочу королем на речном берегу своем, там работать беспечно; а после работ из садика долго следить вырезной хоровод отражений цветных на поверхности вод, и порою кружки – рыбы плевки, да кудрявые травы, что дышат на дне; в этой речке хочу и удить, и лохмотья мыть, и в нее свой горшок выливать. И то сказать: хорошо ли, плохо ли, – а жил я всегда там. Поздно менять. Все равно – хуже не будет. Вы настаиваете на том, что мой дом снова снесут? Возможно. Я же, добрые люди, не собираюсь заниматься зодчеством в продолжение вечности всей. Но, клянусь, коль засяду куда-нибудь, не легко сдвинуть меня. Дважды я перестраивал его, перестраивать буду и десять раз. Не то чтоб это весьма развлекало меня. Но в десять раз скучнее было бы переселиться. Я бы словно лишился души. Вы мне предлагаете другой дом – краше, белее, новее. Да ведь он примял бы меня, замучил, или же сам я взорвал бы стены: нет. Нет, предпочитаю жить здесь.

Теперь итог подведем: жена, дети и дом. Все ли владенья свои обзрел я? Нет, осталось еще кое-что – лучшее; приберег я его под конец. Осталось – мое ремесло. Принадлежу я к братству св. Анны. Я – столяр. Несу я во время праздничных шествий трость со знаком разножки и лиры, на котором изображена бабка Божия, объясняющая азбуку малюсенькой дочке своей – тоненькой, нежной Марии. Вооруженный топориком, пилкой, стамеской, рубанком, я царствую у верстака над дубом упрямым, над орешником ровным. Что возникнет из них? (Это зависит от собственной прихоти, а также от платы.) Сколько образов скрытых и спутанных в дереве спят! Чтоб разбудить красавицу спящую, мне, как и принцу из сказки, достаточно только проникнуть в древесную глубину. Но та красота, которую будит мой струг, – не мишурная ветреница. Иным нравится какая-нибудь лишенная сочности долговязая Диана одного из этих итальянцев, мне же больше по душе наша бургундская мебель с прозеленью на бронзовых частях, крепкая, обильно-выпуклая, тяжелая, гроздистая, баул какой-нибудь огромный, пузатый или резьбой изукрашенный поставец, повторяющий суровое вдохновенье мастера Гуго Самбэна. В лепное кружево наряжаю дома. Развертываю звенья извилистых лестниц. Кресла, столы выбиваю из стен, как яблоки из листвы, – кресла, столы широкие и прочные, как раз заполняющие собой то место, которое я им предназначаю. Высшее же наслаждение я чувствую тогда, когда мне удастся на дереве запечатлеть, что смеется в моем воображеньи – беглое движенье, изгиб, ямочку на бедре, дышащую грудь, завиток веселый, вереницу цветов, тени пляшущие, преувеличенные, рожу прохожего, пойманную на лету. Но лучшее мое созданье (приводящее и меня и священника в восхищенье) вы можете видеть в монреальской церкви. Там вырезал я на скамье двух буржуа, которые, чокаясь и жуя, покачиваются над столом, и двух львов, вырывающих кость друг у друга.

Выпил, потом поработал, отработал – выпил опять – вот благодать! За собою я слышу упреки и ропот невежд. Они говорят, что для песен веселых выбрал я час неудачный, что горькие годы настали. Нет

горьких времен, а только есть горькие люди – бьют они вечно тревогу. То да се, да не смейся, не пой. Не попутчик я им, слава Богу. Всюду бой да разбой. Ну что же, так будет всегда. Клянусь, чрез четыреста лет правнуки правнуков наших будут все так же, как черти, выщипывать шерсть друг у друга. Не скажу, что они не найдут сорок новых способов это делать, что драться будут они лучше нас. Но я совершенно уверен, что нового способа напиваться они не найдут, да не посмеют сказать, что науку эту изучили глубже, чем я.

Кто знает, что будут делать они, мерзавцы, через четыреста лет? Быть может, благодаря траве попа из Мэдона, великолепного Пантагруэлиона, им удастся исследовать области Луны, заводы молний, творила дождя, найти себе временное жилье на небесах и пировать с богами. Ну тогда и я с вами. Разве вы не семя мое? Роитесь, голубчики! Впрочем, там, где я теперь, как-то вернее. Как знать, будет ли через четыре столетия такое же доброе вино? Жена мне ставит в вину мою верность вину. Ничего я не презираю. Люблю я все, что по-своему вкусно, кушанья жирные, вина, могучие радости плоти и радости более мягкие, нежные, нежно-пушистые, которых вкушаешь мечтательно: часы неземного безделья, истинно творческие! (Ты властелин вселенной, молодой, и победный, и ясный. Сам ты весь мир создаешь, слышишь, как всходит трава, с лесом беседу ведешь, с зверьми, с богами.) И тебя я люблю, мой старый, верный спутник, мой друг, мой труд! Как приятно работать на верстаке, пилить, стругать, обрезать, вырезать, прибывать, подпиливать, перебирать, растирать красивое, крепкое дерево, и непокорное и послушное, – тело орешника, нежное, жирное, трепещущее под рукой, подобно плечам чародейки, – тела розоватые и молочно-белые, тела смуглые и золотистые, тела нимф лесных, обнаженных и обезглавленных! Отрада безошибочных рук, пальцев разумных, толстых пальцев, под которыми возникает хрупкое произведение искусства! Отрада духа, повелевающего силам земным, вкладывающего в дерево, железо или камень стройную прихоть своей благородной грезы! Я себя чувствую королем сказочной страны. Мое поле дает мне плоть свою, виноградник мой – свою кровь. Дух древесного сока, в угоду искусству моему, заставляет расти, разветвляет, упитывает, растягивает и округляет сучья и стволы тех деревьев, которые я буду ласкать.

Руки мои, как безропотные работники, подчинены старому другу-хозяину – мозгу моему, он же подвластен мне и осуществляет все, что только приглянется моей резвой мечте. Кто лучше обслужен, чем я? Я ль не волшебный король? Не имею ли полного права выпить за здоровье свое? И не забудем (я не из рода неблагодарных), не забудем также и здоровья наших верноподданных. Благословляю тот день, в который я родился. Сколько на этом вертящемся шаре чудных вещей, ласкающих весело взгляд и сладостно-свежих на вкус! Господи Боже, как жизнь хороша, как сочна. Обжираюсь, а все не могу я нажраться, вечно я голоден, должно быть, это болезнь. Слюнки текут у меня всякий раз, что я вижу накрытый стол земли и солнца.

Однако я хвастаюсь, кум: солнце умерло; в мире моем разгулялся мороз. Разбойник, он входит ко мне не стуча. Перо спотыкается в пальцах оцепеневших. Беда! Льдинка образовалась в моем стакане, и нос мой выцвел: отвратительный оттенок, ливрея кладбищенская! Ненавижу все бледное. Эй! Встряхнемся! Колокола св. Мартына звенят и

перекликаются. Сегодня – Сретенье Господне. «Мороз либо кончайся, либо крепчай»... Крепчает, подлец! Что ж, наберемся и мы сил. Выйдем на большую дорогу, встретимся с ним лицом к лицу.

Великолепный холод! Сотни иголок колют меня в щеки. На повороте ветер выскакивает из засады и схватывает меня за бороду. Я горю. Слава Богу – нос мой снова окрашивается. Люблю слышать звон скованной земли под ступней. Я себя чувствую совсем молодцом. Попадаются встречные, да все хмурые, понурые.

– Ну что там, ну что, соседка, кто вас так рассердил? Игривый ли ветер, вздувающий юбку? Прав он – молод: как жаль, что я сед, соседка! Он молод, хитер, он знает, куда укусить, он знает, что вкусно. Терпите, ведь всякому хочется жить. Но куда ж вы спешите – с бесенком живым под полой? К обедне? Laus Deo! [23] Лукавого Бог победит! Будет смеяться рыдающий, будет кипеть замерзающий. Вы, я вижу, смеетесь уже. Значит, все хорошо. Куда я бегу? В Божий храм, как и вы. Только будет не поп служить, а солнце над чистым полем.

По дороге захожу к дочери, за внучкой своей, Глашей [24]. Мы ежедневно совершаем вместе прогулку. Это мой лучший друг, овечка моя, лягушонка щебечущая. Ей шестой годок стукнул, она смышленей мышонка и лукавей лисички. Не успел я войти, как она уж бежит. Ей хорошо известно, что у меня есть котомка, полная сказок чудесных. Она любит их не меньше, чем я их. Беру ее за руку:

– Пойдем, маленькая. Пойдем жаворонку навстречу.

– Жаворонку?

– Сегодня – Сретенье. Разве ты не знаешь, что в этот день он к нам обратно прилетает с неба?

– Что он там делал?

– Искал для нас жар.

– Жар?

– Да, то, что на небе горит да накаляет чугуничик мира.

– А жар, значит, ушел от нас?

– Ну да, – на празднике всех Святых. Ежегодно, в ноябре, он идет согреть небесные звезды.

– Как же он возвращается?

– Три птички за ним посылаются.

– Расскажи.

Она семенит по дороге. На синичку похожа она – в этой теплой белой фуфайке и в голубом капоре. Ей мороз нипочем, но все же из ее

короткого носика капает, словно из крана, а круглые щечки, как антоновки две, румяны...

– Ты смотри, сморчок, высморкайся, задуй свечку свою. Свет–то на небе вспыхнет.

– Расскажи, дед, про трех птичек...

(Я люблю, когда меня спрашивают.)

– Три птички пустились в дальний путь, три смелых дружка: королек, зарянка и жаворонок. Первый из них, королек, гордый, подвижный, живой, как Мальчик с пальчик, примечает жар, чудный жар, что, подобно пшеничному зернышку, катится по воздуху. Налетает он на него да кричит: «Это я поймал, это я»; и другие кричат, кричат: «Я! Я! Я!» – Но уже королек схватил зерно на лету и падает вниз стрелой... «Пожар! пожар! Он горит!» Клюв закрыв, королек из угла в уголок зерно перекатывает, как комочек кипящей каши; нельзя дольше терпеть, почернел язычок; он зерно плюет и его кладет между крылышек... «Ай, ай! Пожар!» Пламенеют крылышки (ты заметила эти пятна рыженькие, эти перышки выщипанные?). Зарянка на помощь к нему спешит. Клюет жар–зерно и его кладет за свой шелковый ворот благоговейно. А ворот–то пышный, как вдруг заалеет, зардеет. – И зарянка кричит: «Довольно, довольно с меня – одежда моя сожжена!» Тут подлетает жаворонок, дружок храбренький, ловит пламя, как раз в то мгновение, как оно собиралось взвиться, чтоб на небо вновь возвратиться, ловит – и быстро, точно, легко и стремительно падает на землю и клювом зарывает в ледяную полевую борозду солнечное зернышко. То–то поля разомлеют!..

Я закончил рассказ свой. Теперь Глаша заквакала. При выходе из города, там, где дорога начинает подниматься в гору, я посадил ее к себе на плечо. Небо ровное, серое, снег хрустит под деревянными подошвами. Тонкие косточки деревьев в тщедушных вдеты в мягкие белые рукавчики. Дым синий дальних домишек струится вверх прямо и медленно. Ничто, кроме голоса внучки, тиши не тревожит. Мы достигаем вершины холма. У ног моих искрится город родной, опоясанный лентами Ионны ленивой, <Бе>врона [25] игривого, – зябкий, продрогший, в снежном уборе; но, хоть и весь он овеян морозною пылью, все же он греет мне сердце, когда я гляжу на него.

Город отблесков нежных – и плавных уклонов... Вкруг тебя переплелись, словно гнезда, круговые соломинки, линии мягкие вспаханных скатов; удлиненные волны узорчатых гор рядами вздымаются зыбкими – синяя вдали, как море... Это море не схоже с неверною бездной, что некогда чуть не сгубила Улисса. Ни бурь, ни течений коварных... Спокойно оно. Лишь порой дуновенье как будто вздувает грудь голубого холма. С волны на волну, не спеша, переходят дороги прямые и, как лады, за собой оставляют узкий светлеющий след. Дальше, над гребнем тех вод, Маделэн–Везлэ [26] мачты свои возвышает. А вблизи, над излучиной Ионны змеиной, басвильские скалы пробивают кустарник клыками своими кабаньими. На дне округленной долины мой город небрежно–нарядный наклоняет над влагой речную сады свои, крыши кривые, ожерелья свои и лохмотья, гармонию и грязноту удлиненного тела, – город мой, гордо украшенный башней своей кружевной...

Так я люблюсь той раковиной, из которой я вытянулся, подобно улитке. Колокола церкви моей наполняют звоном долину; их чистый напев разливается, как ручей хрустальный, в тонком морозном воздухе. Пока я блаженствую, вдыхая их музыку, полоса солнца вдруг прорезает серую пелену, скрывавшую небо. И в тот же миг Глаша бьет в ладоши и восклицает:

– Дед, я слышу! Жаворонок! Жаворонок!

Тогда я смеюсь – так меня радует светлый ее голосок. Я смеюсь и, целуя ее, говорю:

– И мне тоже слышится; да, – жаворонок, весна.

Осада, или Пастух, волк и овечка

«Овца из Шаму: достаточно трех, чтобы волка задушить».

Середина февраля

Погреб мой опустошается. Сегодня солдаты, которых герцог Неверский сюда послал, чтобы нас охранять, вздумали почать мою бочку последнюю. Не будем время терять – пойдем-ка с ними пить вместе. Если уж прогорать, так весело. Это не первый и, дай Бог, – не последний раз... Милые люди! Они еще больше огорчились, чем я, когда узнали, что уровень жидкости понижается. Среди соседей моих есть господа, которые смотрят на все безнадежно мрачно. Я же больше не способен сетовать. Я пресыщен. Слишком много шутовских представлений видал я на веку своем, чтоб верить в искренность лицедеев. Какие только маски не проходили предо мной – и швейцарцы, и германцы, и гасконцы, и лотаринжцы, все воинственные звери, порабощенные, вооруженные, глотатели серой шерсти, голодные гончие, всегда готовые погубить человека. Кто когда-либо ведал, зачем дерутся они? Вчера они за короля, сегодня за лигу. То они – папские холопы, то – гугеноты. Оба стана стоят друг друга. Лучший из них не окупает и петли виселицы. Не все ли нам равно, этот ли воришка или тот путается при дворе? И смеют они еще вмешивать Бога в свои дела! Клянусь брюшком рыбки, добрые люди: Бог не нуждается в вашей опеке! Он совершеннолетний.

Коль чесотка у вас – царапайтесь, но Бога оставьте в покое. Да и он обойдется без вас. Он, небось, не безрукий, захочет – почесется сам...

Но беда в том, что они думают и меня заставить обжуливать Бога!

Господи, я славлю тебя и верю, говоря без хвастовства, что мы с тобой встречаемся по нескольку раз в день, ибо добрая галльская поговорка гласит: «Кто под хмельком – тот с Богом знаком». Но никогда мне не придет в мысль сказать, что я знаю каждый твой взгляд, что ты мой двоюродный брат, что мне вверены все твои намерения. Ты по справедливости должен признать, что я тебя не беспокою, – и прошу я только одного – поступай так же по отношению ко мне; у нас с тобой и без того достаточно много домашних хлопот: твоя вселенная и мой маленький мир – оба одинаково требуют забот.

Господи, ты меня сотворил свободным. Будь свободен и ты. А между тем нахалы эти уверяют, что я должен управлять делами твоими, говорить за тебя, указывать, каким именно образом ты желаешь, чтобы надоедали тебе, и объявлять врагом, и твоим и моим, всякого, кто дерзает надоедать тебе иначе! Мой враг? Как бы не так! Все люди – друзья мои. Дерутся они – пускай, это их дело. Когда можно, я из игры выпадаю; но они держат меня, негодяи! Будь врагом одного, а то недругом будешь обоих; тот бит, кто стоит на черте между ними. Ну что ж, надо биться и мне. Буду сперва наковальней, но я ль не умею ковать?

Кто мне скажет, зачем появились на свете вороны эти: воры, а не дворяне, правители, законодатели, нашей Франции кровопускатели? О славе страны они твердо поют, а карманы ее – то вывертывают, все берут, им не жаль ее; но идут они далее, угрожают Германии, подползают к Италии, да в гаремы Востока суются; им бы хотелось владеть половиною всей земли, но, получив ее, не могли бы и капусту насадить!.. Стой, успокойся, друг мой, нечего попусту кипятиться. Мир и так хорошо устроен – пока мы его не устроим еще лучше (это будет при первой возможности). Мне как-то рассказывали, что однажды Христос (Господи! я сегодня только и делаю, что говорю о тебе), гуляя с Петром по Вифлеему [27], увидел женщину, которая, пригорюнившись, сидела у себя на пороге. Она так тосковала, что Создатель, сжалившись над ней, вытащил, говорят, из кармана горсточку вшей и сказал: «На, позабавься, дочь моя!» Тогда женщина, очнувшись, принялась охотиться; и всякий раз, как удавалось ей раздавить насекомое, она смеялась от удовольствия.

Подобное же милосердие выказали небеса, подарив нам для развлечения те существа двуногие, которые ныне грызут нас. Будем веселы, веси! Присутствие гадости этой, оказывается, признак здоровья (гадины – хозяйева наши). Возрадуемся, братья: нет никого, кто был бы здоровее нас; а кроме того, я вам скажу (на ухо): «Терпенье! Мы не в проигрыше. Холод, изморозки, разбойники огородные и благородные – все это до поры до времени. Они уйдут, но земля – то останется, и останемся мы, чтобы ее удобрять... А пока допьем последний свой бочонок. Нужно место очистить для будущих сборов».

Дочь Марфа [28] мне говорит: «Ты просто бахвал. Тебя слушая, можно подумать, что ты только умеешь болтать, бить баклуши, бухать, как колокол, да забулдыжничать; что в жизни ты только зевака и бражник, что залпом способен ты выпить и Красное море и Белое; на самом же деле не можешь и дня ты провести, не работая. Ты хочешь, чтоб люди считали тебя жужжащим жуком, простаком, расточительным и

бестолковым; однако ты слег бы, наверное, если б твой день хоть слегка изменить – твой скупой расчисленный день, подобный курантам звенящим. Каждый грош у тебя на счету, и еще не родился тот, который тебя бы надул».

Ах, дурачок! Ах, вертопрашный! Бейте беззащитную овечку! «Овца из Шаму, достаточно трех, чтобы волка задушить...» Я смеюсь, – молчу... У нее острый язычок, и она права, но не следовало бы ей говорить все это, женщина на ключ запирает только то, чего она не знает. Марфа меня видит насквозь, недаром я создал ее. Ну, была не была, сознайся, друг мой, Николка: как ни безумствуешь ты, а все же не будешь ты никогда совершенно безумным. Как у всякого, есть у тебя ветреный бес в рукаве. Порою ты кажешь его, но прячешь, когда работа требует свободы рук и ясности в мыслях. В тебе, как и во всех французах, непоколебимы некая рассудительность и врожденное чувство порядка, а потому ты можешь иногда, забавы ради, притворяться головорезом. Это представляет опасность только для тех жалких глупцов, которые глядят на тебя, рот разинув, и желали бы тебе подражать.

Краснословие, гулкие стихи, горынские замыслы[29] – все это не лишено сладости. Воспламеняешься, разгораешься; но мы потребляем только хворост, крупные же поленья остаются лежать ровными рядами в нашем дровяном сарае. Мое воображение вертится на подмостках перед глазами разума, сидящего в удобном кресле. Все делается в угоду мне. Целый мир – театр мой, и, как неподвижный зритель, я слежу за развлекательным представленьем, рукоплещу Мата<м>ору и Франкатриппе, люблюсь рыцарскими поединками и колесницами королей, кричу бис, когда люди разбивают друг другу головы. Нам весело! Порою, чтобы удвоить удовольствие, я делаю вид, что искренно принимаю участие во всем этом. На самом деле же я лишь верю столько, сколько нужно, чтобы не скучать. Или вот когда слушаешь волшебные сказки. Да и не только волшебные... Есть один сановитый господин, наверху, там, в эмпиреях... Очень уважаем мы его. Когда по нашим улицам он шествует, с крестом горящим во главе, да с песнопеньями, мы простынями белыми занавешиваем стены наших маленьких домов. Но между нами говоря... Болтун, типун тебе на язык! Это пахнет костром... Господине, я ничего не сказал. Шапку снимаю.

* * *

Конец февраля

Осел, ощипав луг, сказал, что больше нет надобности его оберегать, и отправился есть (оберегать то есть) траву на лугу соседнем. Люди господина Невера ушли сегодня утром. Приятно было глядеть на них, так соблазнительно разжирели они. Я гордился кухней нашей. Мы расстались приветливо – руку к сердцу прикладывая, губы в сердечко складывая. Они выразили тысячу пожеланий изящно-вежливых, пожелали нам, чтобы колосья тучны были, чтоб мороз не тронул виноградников.

Трудись, сказал мне на прощанье Якорь Балáкирь[30], мой гость-сержант, трудись, дяденька (так он меня именует, и я оправдал это прозвище вполне: тот мне дяденька, кто меня кормит сладенько). Не

жалей своих сил, ступай подрезывать лозы. Через год ты снова нас будешь потчевать...

Милые люди, всегда готовые прийти на помощь честному человеку, когда он сидит за кружкой вина! Как-то легче чувствуешь себя, с тех пор как они ушли.

Соседи осторожно вынимают спрятанные яства. Те, которые еще так недавно ходили с постными лицами и стонали от голода, точно у них за пазухой возился волк, – теперь из-под земли погребов, из-под соломы чердаков вытаскивают все, что нужно, чтобы накормить досыта хищника этого. И хоть скулили они, очень убедительно жалуясь, что у них ничего не осталось, однако не было ни одного такого негодяя, который бы не нашел способа спрятать лучшее свое вино. Я сам (не знаю, как это случилось), проводив гостя Якоря Балакиря, внезапно вспомнил, шлепнув себя по лбу, о небольшом бочонке шабли, который я по рассеянности оставил в конюшне, прикрыв навозом, чтоб ему тепло было. Меня это очень опечалило, разумеется, но когда зло сделано – оно сделано, и сделано ладно; нужно примириться. Примириться не трудно. Ах, Балакирь, племянник мой, что вы потеряли. Какой нектар, какой букет!.. Впрочем, – нет, друг мой, нет! вы не потеряли ничего, вы ничего не потеряли, мой друг. Ведь я пью за ваше здоровье!

Бродишь, ходишь по домам. Сосед соседу показывает, что нашел он в своем погребе. Как некие авгуры, перемигиваемся, поздравляем друг друга, повествуем о поврежденьях (о женах, об их поврежденьях). Рассказы соседа тебя веселят, свои забываешь несчастья. Наведываешься о здоровь<е> супруги Викентия Брызги[31]. После всякого пребывания полка в нашем городе эта доблестная женщина расширяется в объеме. Поздравляешь отца, восхищаешься плодородием чресел его. И в шутку, без задней мысли, я добродушно похлопываю по животу счастливец, у которого, говорю я, дом полная чаша, в то время как голы жилища наши. Все, конечно, смеются, но смеются скромно.

Брызга, однако, обижается и объявляет, что было бы лучше, если б я наблюдал за своей женой. – «Что касается этого сокровища, – ответил я, – благословенный его обладатель может ослепнуть, оглохнуть и все-таки быть совершенно спокойным, мой друг». – И все согласились вокруг.

* * *

Но вот наступают скоромные дни. Оскудели мы, а нужно их отпраздновать; этого требует честь нашего города. Что подумают о Клямси, славном своей колбасой, если к началу Масленицы у нас даже горчицы не будет? Слышно, как печи шипят; на улицах воздух пропитан запахом сала приятным.

Блин, блин, пляши! выше, выше! пляши для Глаши моей!.. Бормочут барабаны, лепечут флейты. Хохот и свисты. Это приехали соседи-сплавщики. Приехали проведать Рим[32]. Во главе идет музыка и ватага копыеносцев, толпу пробивающих носом. Носы в виде хоботов, носы в виде шпаг, носы как рога, носы как рогатки, носы подобно каштанам, в частых шипах, носы с птицами на концах. Они расталкивают зевак,

обшаривают юбки взвизгивающих девиц. Но всё разбегается перед Королем носов, который наскакивает, как таран, и катит перед собой на лафете свой смертоносный нос.

Следует колесница Царя сушеной рыбы. Лица бледные, зеленоватые, худые, монашеские, неприятные, зябко-дрожащие под чешуйчатыми белоглазыми капюшонами. Сколько рыб! Один несет в каждой руке по карпу или окуню, другой машет трезубцем с насаженными на него пескарями, у третьего вместо головы – щука с плотвою во рту, и, распарывая себе брюхо пилой, он рождает рыб без числа. Меня гадует [33] даже. Иные, распахнув пасть и вглубь засунув пальцы, чтоб расширить ее еще больше, давятся, запихивая себе в глотку слишком крупные яйца. Слева, справа монахи в совиных масках с высоты колесниц удят уличных мальчишек, которые, разинув рот, скачут, как козлята, стараясь поймать и раскусить на лету орешки или навозные шарики, облепленные сахаром.

А сзади шагает дьявол, одетый поваром, постукивая ложкой суповой об кастрюлю. Омерзительной смесью он весело кормит шестерых связанных босых грешников, которые бредут гуськом, просунув меж ребер лестницы уродливые головы в колпаках бумажных.

Но подожди, увидишь самых важных, вот они, торжествующие вожди. На престоле из окороков, под навесом из копченых языков едет Королева колбасная, в лоснящемся коричневом венке, в ожерелье из сосисок дымчатых, которое она перебирает с ужимочкой своими пальцами начиненными. Ее сопровождает блестящая жирная стража – Колбаса белая, Колбаса черная, – вооруженные вертелами. Люблю также этих сановников, у которых вместо туловища пузатый котел или мясной пирог. Они несут, подобно волхвам, – кто голову кабана, кто чашу синеватого вина, кто горшок горчицы дижонской. При звуках труб, литавр, уполовников, сковород, средь общего хохота, – вот, является, верхом на осле, король рогачей, наш друг Брызга... Так-таки избрали его. Сидя лицом к хвосту, в высокой чалме, с рюмкой в кулаке, он слушает, как его телохранители, рогатые дьяволы, сочно рассказывают на хорошем французском языке, не скрывая ничего, о воцаренье и славе его. Как мудрец истинный, он не выказывает гордости излишней. Беззаботно он пьет, заливаясь. Но когда ему случается проезжать мимо жилища, той же судьбой отмеченного, он, подняв стакан, восклицает: «Эй, за здоровье твое, собрат!» Наконец, замыкая шествие, проходит Красота вешняя. – Свежая девушка, розовая, веселая, с чистым лбом, с цветиками ясными желтого гасника на мелких локонах. Сережки, сорванные с юного дерева, зеленеют у нее на перевязи, вокруг маленьких круглых грудей, а на бедре колышется кошель-колокольчик. И, корзинку в руке раскачивая, высоко подняв брови бледные, широко раскрыв глаза, цвета лазури утренней, округля старательно рот, острые зубки показывая, она голосом тонким поет о ласточке незабывчивой. Подле нее, на повозке, которую тянет четверка больших белых волов, сидят другие весенницы – красивые, крупные девицы и девочки в нельстивом возрасте, словно слепые деревца, ростки пустившие, туда, сюда, в каждой не хватает кусочка; но, впрочем, волк остался бы доволен... Дурнышки хорошие! Они держат в руках клетки с перелетными птицами или же, пошаривая в корзине Королевы-весны, бросают в толпу гостинцы, сверточками легкие с чепцами

и платьицами, орешки, судьбу записанную, любовные стишки, а то – рога.

За рынком, перед башнею девы, спрыгивают с повозки и на площади танцуют с писарями и приказчиками. Между тем Масленица и Король рогачей продолжают свой блистательный путь, останавливаясь через каждые двадцать минут, чтоб сказать человеку истину или же искать ее на дне стакана.

Дай вина, дай вина, дай вина,

ужель разойдемся, не выпив вина?

Нет!

Мы бургундцы, а бургундцы

не такие уж безумцы!

* * *

Но от слишком частого поливания язык тяжелеет и красноречие плесневеет. Я покидаю доброго Викентия, который со своими спутниками вновь привалил к тени кабака. Нельзя сидеть взаперти, когда день так приятен. Пойдем подышать воздухом полей!

Мой старый друг, поп Шумила [34], приехавший из деревни своей, чтобы попить у архиерея, приглашает меня прокатиться. Беру с собой Глашу. Мы оба влезаем в его тележку, запряженную осликом. Пошел, пошел, серенький! Он так мал, что я предлагаю его посадить в повозку между Глашей и мной. Дорога белая растягивается. Солнце дремлет по-старчески; оно больше греется само, нежели нас согревает. Ослик засыпает тоже и останавливается задумчиво. Возмущенный поп его окликает басом.

Ослик вздрагивает, прядет ушами, маячит меж двух колеек и снова замирает, снова задумывается, равнодушный к нашим понуканьям.

– Ах, проклятый, если б не знак креста, которым ты отмечен, – гудит Шумила, тыча палкой ему в зад, – я сломал бы дубину об твою спину.

Чтобы передохнуть, мы останавливаемся у первой же харчевни, при повороте дороги, спускающейся оттуда к деревне Армса, которая, белея внизу над светлой рекой, любит отраженьем своей тонкой мордочки. Посередине соседнего поля вокруг высокого орешника, вздымающего к белесому небу свои черные руки, свою гордую наготу, – пляшет хоровод девушек. Они только что принесли праздничную дань – жирные блины – кумушке-сороке.

– Агу, сорока, агу, белобока! Глаша, глянь-ка, вот она, высоко,

высоко, на краю гнезда. Любопытствует! Чтоб круглый глазок да болтливый язычок чего бы не пропустили, она построила домик свой среди самых высоких ветвей, на ветру...

Промокла сорока, озябла – да что ей? Зато все видно. Она не в духе, она как будто хочет сказать: «Не нужно мне ваших даров. Унесите их, дурни!.. Если бы я пожелала отведать блинов, – неужели вы думаете, я не могла бы взять их у вас? Разве приятно есть то, что дают тебе? Нет, вкусно лишь краденое».

– Дед, почему же тогда ей дарят блины и эти красивые ленты? Почему с пожеланьями добрыми приходят к этой воровке?

– Потому, видишь ли, что нужно быть в жизни со злыми в ладу.

– Однако, Николка Персик, хорошему ты ее учишь, – сердито гудит Шумила.

– Я не говорю, что это хорошо, – я говорю только, что так все делают, ты – первый, мой друг. Да, да, вращай глазами! Посмей сказать, что, когда тебе надоедают те из твоих прихожан, которые все видят, все знают, всюду нос суют, у которых рот что мешок, полный сплетен лукавых, – ты бы не набил их блинами, чтобы замолкли они!

– Господи! Если б этого было достаточно! – восклицает поп.

– Впрочем, я оклеветал горланью. Она все-таки лучше иной женщины. Язык ее пользу приносит.

– Какую, дедушка?

– Когда близок волк, она стрекочет.

И что же: при этих словах сорока начинает кричать. Она ругается, захлебывается, бьет крыльями, кружится, обрушиваясь трескучей бранью на кого-то, на что-то, что скрыто в долине Армса. На опушке леса ее пернатые кумушки – сойка бойкая и Ворона Ларионовна – вторят ей обиженно и раздраженно. Люди хохочут, люди кричат: «Волки!» Никто этому не верит. Но все же идут посмотреть (верить хорошо, видеть еще лучше)... И что же видят? Экая чертовщина! Из долины по склону поднимается вереница вооруженных людей. Мы их узнаем. Это вражий отряд из Везлэ. Мерзавцы! Им стало известно, что наш город остался без стражи, и они вообразили, что возьмут его голыми руками!

Не долго предаемся созерцанью. Каждый кричит: «Спасайся кто может!» Толкаются, рассыпаются; стремятся сломя голову по дороге, по полям, по скатам. Этот – на животе, как свинья, тот – на другом полушарии тела. Мы трое вскакиваем в свою тележку. Как будто раскусив, в чем дело, ослик срывается, как стрела с лука; Шумила бьет его с постоянством барабанщика, совершенно забыв от волнения, что нужно относиться с почтеньем к спине, отмеченной знаком креста. Мы катимся, обгоняя поток людей, взвизгивающих на бегу, и, наконец, покрытые пылью и славой, первыми въезжаем в Клямси. Повозка прыгает, ослик несется, земли не касаясь, поп хлещет вовсю, и мы кричим,

пролетая через предместье Беяна:

– Враг идет!

Сперва люди смеялись, глядя на нас. Но скоро они поняли. Тогда все завозилось, словно муравейник, в который сунули палку. Метались, хлопали дверьми, входили, выходили, снова входили. Мужчины вооружались, женщины собирали пожитки, всякой всячиной набивали мешки, нагружали тележки; все жители местечка, покинув свои норы, отхлынули к городу, под защиту стен; сплавщики, не снимая нарядов своих и масок, рогатые, когтистые, пузатые, кто в образе Гаргантюа, кто в образе Дьявола, вооруженные острогами, баграми, побежали на бастионы.

Так что, когда передовой отряд неприятеля встал под стенами, мосты уже были подняты и по ту сторону ямы оставалось лишь несколько бедняков (которые, не имея ничего за душой, не очень торопились спасти свое имущество) – и король рогачей, друг наш Брызга, забытый своим конвоем. Король, полный по самое горлышко и круглый, как Ной, храпел верхом на осле, ухватившись за хвост.

Здесь отмечу, как выгодно иметь врагами французов. Иные олухи, немцы, или швейцарцы, или англичане, которые лучше руками шевелят, чем мозгами, и соображают только на Рождестве то, что им говорят на Пасхе, несомненно подумали бы, что глумятся; и я бы гроша медного не дал за участь бедного Брызги. Но соотечественники понимают друг друга с полуслова: откуда бы ни был ты родом – из Лотарингии, из Турэни, из Шампани или из Бретани, – кто бы ни был ты – гусь ли из Боса, осел из Боны или заяц из Везлэ, – с кем бы из соседей своих ты ни дрался, – славную шутку всегда ты оценишь, как истинный француз. Увидев нашего Силена, весь неприятельский лагерь расхохотался. Смеялись они ртом и носом, животом и подбородком, душой и телом, – и мы, чорт возьми, глядя на них с бастионов, лопались со смеху. Потом мы через яму обменялись веселыми ругательствами по примеру Аякса и Гектора. Только наши были смазаны более сочным салом. Хотелось бы мне их привести, но времени нет; я их включу, однако (терпенье!), в сборник, над которым я тружусь вот уже двенадцать лет, сборник всех жирных шуток, галушных, похабных, мною сказанных, читанных, слышанных (право, было бы жаль их утратить) во время паломничества моего в сей долине слез. При одном воспоминаньи я уже чувствую судороги смеха. Ну вот, – я поставил кляксу крупную.

* * *

Когда мы накричались вдоволь, пришлось за дело приняться (действие после разговора – отдохновенье). Ни им, ни нам того не хотелось. Они обманулись в расчете – мы были защищены. Желанье вскарабкаться по стене их мало занимало; им бы кости переломало. Однако во что бы то ни стало нужно было предпринять что-нибудь. Пожгли пороху, выпустили бескорыстно петард несколько, но пострадали одни воробьи. Мы же спокойно сидели, прислонившись к стене, у подножия парапета, и ждали, когда пролетят плевки, чтобы самим плюнуть (не целясь, не слишком высовываясь). Мы решались выглянуть только тогда, когда раздавались вопли пленников; поставили их рядом лицом к стене

(а было их с дюжину, все мужчины и женщины из Беяна) и хлестали их по оголенным ягодицам. Они ревели белугой, но зло было невелико. В виде мщенья мы потекли вдоль круговой ограды, прикрывающей нас, выявив всякие яства, окорока да колбасы, насажденные на наши колеблющиеся копыя.

Иступленные крики проголодавшихся осадателей развеселили нас, как доброе вино, и, дорожа каждой каплей его (когда найдешь хорошую шутку – чисто кость обглодай!), мы расположились под светлым небом, на траве, в тени стен, вокруг столов, кряхтевших под тяжестью блюд и бутылок. Мы пировали, грохотали неистово, пели, пили за здоровье Масленицы. Те едва не передохли от злобы. Так прошел день – скромно, без особых неприятностей. Был, впрочем, один несчастный случай: толстый Пузо-Пузак, охмелев, пожелал пройти по самой стене со стаканом в руке, чтоб еще больше раздражить неприятеля, и мушкетный залп расквасил ему и голову, и стакан. Мы взамен тоже гвозданули двух-трех. Но это не испортило нам настроенья. Известно, что ни единого не обходится праздника без нескольких битых горшков.

Шумила решил ночью под защитой мрака выйти из города и вернуться восвояси. Мы напрасно твердили ему:

– Друг, – это слишком опасно. Подожди, скоро конец. Бог возьмется хранить твою паству.

Он отвечал:

– Место мое среди моих овец. Я десница Господня. Если я не приду, калекой останется Бог. А там я бы делу помог, клянусь.

– Верю, верю тебе, – говорю я. – Ты доказал это, помнишь, когда колокольню твою гугенотов отряд осаждал и ты забулавил булыжником их капитана?

– И удивлен же был этот язычник! – замечает Шумила. – Я, впрочем, тоже. Незлобивый я человек, видеть бьющую кровь не люблю я. Гадость какая! Но черт его знает что происходит в тебе, когда среди безумцев стоишь! Превращаешься в волка!

Я в ответ:

– Это правда. Здравый смысл всего легче в толпе потерять. Сто мудрецов составляют безумца, сто овечек – волка. Но, кстати, скажи-ка мне, поп, как согласишь ты оба закона – закон человека, который живет с глазу на глаз со своей совестью и желает покоя себе и другим, – и закон стада людского, государств, преступленья считающих подвигом, – какой из них Божий?

– Что за вопрос!.. Оба, мой друг. Все от Бога.

– Если так – он не знает, что ему нужно. Но я думаю сам, что, пожалуй, он знает, а все же порою бессилён; с одним человеком он справится: он без труда принуждает его к послушанью, но, когда собирается целое стадо людей, Богу плохо приходится. (Что может один

против всех?) Тогда человек чует шепот земли – матери хищной – и дух ее воспринимает. Помнишь сказку о том, что люди по некоторым дням обращаются в волков, а потом снова принимают облик свой обычный? Наши старинные сказки мудрее твоего молитвенника, поп. Люди, собравшиеся в государство, делаются волками. И государства, и короли, их управители, напрасно надевают пастушью одежду, напрасно обманщики эти называют себя меньшими братьями великого пастуха, твоего же Доброго Пастыря, – все равно они только волки да акулы, пасть да брюхо которых ничто насытить не может. И почему? Потому что голод земли безграничен.

– Ты бредишь, язычник, – говорит Шумила. – Бог создал волков, как и создал он все для нашего блага. Разве тебе не известно, что сотворил Иисус первого волка для того, чтобы он охранял от козлят капусту в огорожке Богородицы? Он прав был. Склонимся. Мы стонем, на сильного жалуясь вечно. Но если бы, друг мой, властелинами слабые стали, было бы хуже еще. Заключение: все хорошо – и овцы и волки. Овцам волк нужен, чтоб он их берег. Также и овцы волку нужны, ибо надо же питаться. Я же, друг мой Николка, капусту свою пойду стеречь.

Подоткнул он рясу, сжал в руке дубинку и ушел в безлунную ночь, не без волнения поручив мне ослика своего.

Последующие дни были не так веселы. Мы в первый вечер жрали не считая, из жадности, из хвастовства и просто по глупости. Наши припасы были более чем подгрызаны. Пришлось поджечь животы; поджали. Но мы все еще храбрились. Когда вся колбаса исчезла – мы выпустили собственные изделия – кишки, набитые опилками, канаты, вымазанные в сажу, – которые мы проносили на острогах, под самым носом неприятеля. Но подлец выпотрошил хитрость нашу. Пуля пополам перерезала одну из колбас. И кто тогда громче хохотал? Не мы. Наконец разбойники эти, видя, что мы удим с высоты стен, окаймляющих реку, вздумали растянуть на плотинах вверх и вниз по теченью широкие сети, перехватывающие нашу рыбу. Тщетно архиерей наш умолял этих нехристей позволить и нам справлять Масленицу. За неимением постного, пришлось питаться своим жиром. Мы, конечно, могли бы попросить помощи у господина Невера. Но, по правде сказать, нам не очень хотелось снова приютить войско его. Иметь врагов снаружи обходилось дешевле, чем иметь друзей внутри. Поэтому мы молчали, пока не было надобности их призывать. И неприятель со своей стороны тоже скромно помалкивал. Мы оба предпочитали обсудить дело вдвоем, без вмешательства третьего. Таким образом, начались неторопливые переговоры. Меж тем в обоих лагерях текла жизнь очень мирная: мы ложились рано, вставали поздно, весь день играли в шары, зевали больше от скуки, чем от голода, и спали так много и так крепко, что хоть и говели, а разжирели. Двигались как можно меньше; но было трудно детей удержать. Они всё бегали, пищали, смеялись, вертелись, язык показывали врагу, сыпали в него камнями. У них был целый оружейный склад, состоящий из бузинных спринцовок, пращей веревчатых, палок расщепленных... Обезьянки неистово хохотали (на тебе, на тебе, бац в самую гущу!), и те, разъяренные, клялись их истребить. Нам крикнули, что первый же шалун, который высунет нос, будет застрелен. Мы обещали наблюдать за ними; но тщетно мы их за уши драли, тщетно на них орали – они у нас меж пальцев

проскальзывали. И вот доигрались. (Как вспомню, дрожу.) Как-то вечером слышу я крик: то Глаша (нет! кто бы сказал, спящая эта вода, смиренница эта, – ах, проказница, ах, золотая моя) – Глаша упала с ограды да в яму нырнула! Боже!.. как я ее выдрал бы! На стену вспрыгнул я живо. И все мы, нагнувшись, смотрели... Отличной мишенью мы бы врагу послужили; но враг, как и мы, глядел на дно ямы, куда моя девонька (слава тебе, Богородица!) мягким легким клубочком скатилась. Сидела она среди травы расцвеченной, лицо поднимала и лицам, склоненным с обеих сторон, улыбалась по-детски и срывала цветы. Все мы тоже смеялись в ответ. Господин Рагни, неприятельский вождь, приказал, чтоб ребенка не трогали, а сам даже бросил ей – добрый он был человек – коробочку, полную розовых сахарных лепешек. Но пока мы занимались Глашей, Марфа (с женщинами всегда возня) кинулась спасать овечку свою, и вот по тому же скату спускалась стремительно, сбегая, скользя, кувыркаясь, юбку закинув за шиворот и гордо показывая осаждателям свой восток, свой запад, все четыре точки мироздания и светило, на небе сияющее. Ее успех был блистателен. Она не сробела, схватила дочку и поцеловала ее и отшлепала. Восхищенный ее прелестями, не слушая капитана своего, один громадный солдат в яму спрыгнул и бегом направился к ней. Она ждала. Мы сверху бросили ей метлу. Она ее схватила и смело пошла на врага – ах и трах, бах-бабах (плохо приходилось волоките!) и в зад и в бок, а он наутек. Гремите трубы, ликуйте!

Победительницу вместе с ребенком втащили наверх при общем хохоте; и я тянул, гордый, как павлин, за веревку, на которой мое детище поднималось, являя врагу светило ночное.

Еще целая неделя прошла в обсуждениях (всякий предлог хорош, коли болтать любишь). Ложный слух о приближении господина Невера наконец привел нас к соглашенью; условия мира не были особенно тягостны: мы обещали торговцам города Везлэ десятую долю виноградных сборов. Легко обещать то, чего не имеешь, что будешь иметь, да и будешь ли? Бог весть! Во всяком случае, немало воды протечет под мостами, немало вина мы выпьем сами.

Итак, мы были вполне довольны друг другом и еще более довольны собой. Но только ливень миновал, дождь иной захлестал. Случилось это как раз в ночь после договора: в небесах появилось знаменье часу в десятом, вышло оно из дальнего леса, за которым таилось, и, скользя по звездному полю, растянулось, как змея. Оно походило на шпагу с горячим острием, окруженную кольцами дыма. Рукоятку сжимают пять пальцев; вместо ногтей вопиющие головы, на четвертом – буйноволосая женщина. И ширина той шпаги у рукоятки – целая пядь; у острия – три четверти дюйма, посредине – два дюйма с третью. И цвета она лиловато-кровавого, словно широкая рана. Все дураками глядели на небо; слышно было, как зубы щелкали. И оба лагеря мысленно решали вопрос: к какому относится предсказанье. И наш был уверен, что погибнет ихний. Но у всех поджилки тряслись. У всех, кроме меня. Я страха не ощущал. Впрочем, нужно добавить, что я ничего и не видал; лег я в девять часов, по предписанью альманаха; где бы я ни был, когда альманах приказывает, я безмолвно покоряюсь; ибо это слово евангельское. Но так как мне все потом рассказали, вышло то же, как если бы я сам видел. Я и записал.

Мир заключили, и все вместе, други и недруги, собрались на пир. Пост миновал, Масленица была в полном разливе, и отпраздновали же мы ее! Окрестные села послали нам всякой снеди, а с нею и едоков. Прекрасный был день. По всей длине крепостного вала тянулись накрытые столы. Подано было три поросенка, бережно сжаренных, цельных и плотно набитых пряною смесью остатков кабаньих с печенкою цапли; окорока благовонные, в очаге закопченные вместе с ветками можжевельника; пироги со свиной нарубленной или зайчатинной, в складках румяного теста, чесноком и лавровым листом ароматно пропитанных; колбаса и кишки; улитки и щуки; жареные кушанья, опьяняющие запахом еще издали; головизны телячьи, вкрадчиво нежные; и горы горящие раков, приправленных перцем, опаляющим глотку; и тут же освежающие салаты, – и вина тонкие, разнообразные – шапот, мандр, вофиллу, а под конец – холодные, белые хлопья простокваши, тающие меж небом и языком, да печенья, впитывающие выпитое вино, словно губки.

Никто из нас не отступил ни на шаг, пока было что жрать. Да возблагодарим Господа за то, что он дал нам возможность в такой краткий срок напихать в мешок нашего живота бутылки и блюда! Особенно великолепен был поединок между отшельником Карноухим, которого поддерживали жители Везлэ (этот великий мудрец первый, говорят, заметил, что осел не может кричать, не подняв хвоста), и нашим (не хочу сказать – ослом) отцом Скоморохом, который утверждал, что он некогда был карпом или щукой, – такое теперь отвращенье вызывала в нем вода, – оттого, верно, что он слишком много выпил ее в иной жизни.

Когда мы встали из-за стола, все мы, люди из Везлэ, люди из Клямси, ценили друг друга гораздо больше, чем во время первого блюда; человека узнаешь за едой. Кто любит вкусное, любим мною, ибо он хороший бургундец.

Наконец, чтобы окончательно нас подружить, явились, пока мы переваривали ужин, подкрепленья, посланные господином Неверским для защиты нашей. Славно посмеялись мы; и оба наши лагеря очень вежливо попросили их уйти откуда пришли. Они не посмели настаивать и отправились назад, смущенно-жалкие, словно собаки, которых бы овцы повели пастись. И мы говорили, обнимая друг друга: «Как глупо было драться ради наших опекунов; если б у нас не было врагов, они бы, чорт возьми, выдумали бы каких-нибудь, чтобы иметь возможность нас защищать. Благодарим! Да спасет нас Бог от спасителей наших. Мы и сами спасемся. Бедные овечки! Если б нам нужно было оберегаться только от волка, мы бы знали, как поступать. Но кто нас защитит от пастуха?»

В гостях у попа

Начало апреля

Как только дороги очистились от этих непрошенных гостей, я решил проведать Шумилу в деревне его – Брев. Не то чтоб тревожился я, – у молодца кулак не на привязи! Но все же спокойнее на душе, когда своими глазами увидишь друга... К тому же нужно было размять себе ноги.

Итак, ни слова не говоря, я отправился. Посвистывая, шел я берегом реки; тянулась она у подножия лесистых холмов. На новеньких листиках дробились капельки дождика маленького – святые слезы весенние. Он замирал на два-три мгновенья и вновь продолжал шелестеть себе тихохонько. В зарослях мяукала влюбленная белка. На лугах гуси гагакали. Вовсю расходились дрозды; и синичка твердила свое: тити-пут...

По дороге, в Дориси, я зашел за другим своим другом, нотариусом Ерником: подобно грациям, мы в полном сборе, только когда мы втроем. Я нашел его за рабочим столом. Он торопливо записывал настроенье погоды, свои сновиденья и политические мненья. Рядом была раскрыта книга: «Пророчества Нострадамуса». Когда всю жизнь сидишь взаперти, мысль освобождается и посещает еще чаще равнины мечты и чащи воспоминанья; и хоть не можешь управлять миром, зато читаешь в будущем его судьбу. Все предсказано, говорят; верю, но признаюсь, судьбу я в книге находил только после того, как свершилась она.

Увидя меня, добрый Ерник просиял; и весь дом сверху донизу задрожал от наших раскатов. Вид этого пузатого человечка радует меня. У него лицо рябое, широкие щеки, красочный нос, глаза узкие, живые, хитрые. Он часто бурчит, людей и погоду бранит, но на самом деле он благодушно-насмешлив и еще пуще меня балагурит. Он умеет и любит с видом суровым отпустить не то что красное, а прямо-таки багровое словцо. И приятно глядеть на него, когда, важный, сидит перед бутылкой он, именует бога чревоугодия и бога веселья, распивает и распевает. Довольный моим приходом, он стиснул мне руки в толстых своих лапах – жестких и неуклюжих, но лукавых, как и он сам, лукавых и ловких, когда нужно работать, стругать, вырезывать, переплетать. Все в доме сделано им самим; и не все красиво, но все от него исходит; и – красиво ль оно или нет – это его портрет.

По привычке стал он жаловаться на то на се; а я, из духа противоречия, хвалил и то и это. Он лекарь – «тем хуже», я же лекарь – «тем лучше»: вот и вся игра наша. Далее побранил он своих клиентов; и действительно, они не особенно торопились платить: долги некоторых из них вот уж тридцать пять лет как еще не погашены, да и сам он не очень настаивает. Другие если и платили, так только случайно, и чаще всего натурой: корзиной яиц, курой; таков обычай! Проси он деньгами – обиделись бы. Он ворчал, но не противоречил; и мне кажется, что, будь он на их месте, он поступал бы точно так же. По счастью, у него был известный достаток – питательный капиталец. Жил он незатейливо, старым холостяком, за бабочками не бегал, а что касается вкусовых наслаждений, то на этот счет сама природа позаботилась – стол накрыт среди наших полей; виноградники наши,

плодовые сады, садки являются обильной кладовой. Тратил он только на книги, но, скупясь, их показывал только издали, не любил одалживать. Кроме того, у него была плутовская склонность глядеть на луну сквозь те стекла, которые недавно из Голландии к нам прибыли. Он устроил себе на крыше между трубами колеблющуюся площадку, откуда он строго наблюдает вертящийся небосвод; он пытается разобрать, не много, впрочем, понимая, букварь судеб наших. Не верит он в это, но любит обманывать себя. Я его понимаю: приятно из окна своего смотреть на огни небесные, что проходят, как по улице барышни; воображать их любовные приключения, кружевные романы, и хоть, может быть, ошибаешься – все равно это развлекательно. Мы долго обсуждали чудо – кровавую шпагу, которой взмахнул некто в ночь на четверг. И каждый из нас объяснял знаменье по-своему; каждый, разумеется, утверждал непоколебимо, что его заключение – правильное. Но под конец оказалось, что ни тот ни другой ничего не видел. В этот вечер звездочет наш как раз задремал на крыше своей. Не так уж скучно, когда в дураках остаешься не один. Мы и повеселели.

И потекли мы в путь, твердо решив ни в чем попу не признаваться. Шли мы полем, разглядывая юные ростки, веретенца розовые кустарников, птиц, начинающих гнезда вить, и ястреба, который колесил над равниной. Вспоминали, смеясь, как некогда мынад Шумилой подшутили. В продолжение нескольких месяцев Ерник и я, мы из сил выбивались, чтобы научить крупного дрозда, посаженного в клетку, песне гугенотовской. Когда нам то удалось, мы выпустили его в поповский сад. Он там основался и сделался гласником для всех других деревенских дроздов. И Шумила, которого их хорал невольно отвлекал от молитвенника, крестился, божился и, уверенный, что сам бес к нему в сад залез, его заклинал и, наконец, не помня себя от гнева, притаившись за своей занавеской, стрелял из пищали в Лукавого. Впрочем, поп не совсем оказался простаком: убив дьявола, он съедал его.

Так, беседуя, мы дошли.

Брев, казалось, спит. Дома дремали на солнце, широко разинув двери. Не было кругом ни одного человеческого лица, кроме разве голый задницы мальчишки, который, стоя на краю канавы, поливал крапиву. Но по мере того, как мы с Ерником приближались к середине села, по дороге, испещренной соломинками и кучками помета, росло словно густое жужжанье раздраженных пчел. И, выйдя на церковную площадь, мы увидели толпу людей, руками взмахивающих, рассуждающих и взвизгивающих. А на пороге двери, ведущей в поповский сад, Шумила, пунцовый от гнева, вопил, показывая кулаки всем своим прихожанам. Мы старались понять, но голоса сливались в гул. «...Червяки, червячки... Мыши и жуки... Cum spiritu tuo...»[35] Шумила кричал:

– Нет! Нет! Не пойду я!

А толпа:

– Врешь! Наш ли ты поп? Ответь, да или нет? Если да (а это так), ты обязан служить нам.

И Шумила в ответ:

– Скоты! Я слуга Господа, а не ваш...

Необычайный был гомон. Шумила, потеряв терпенье, захлопнул железную дверь в лицо им; сквозь решетку просунулись его руки: одна по привычке окропила народ святой водой благословенья, другая же взметнулась, посылая на землю гром проклятия. В последний раз его круглое брюшко и квадратное лицо появилось в окне дома. Тщетно попытавшись перекричать улюлюкающую толпу, он вместо ответа со злобой показал им язык. На сем ставни закрылись, дом оцепенел. Крикуны повывдохлись, площадь опустела; и, проскользнув между последних зевак, мы могли, наконец, постучаться к Шумиле.

Стучались мы долго. Осел не хотел нам открыть.

– Батюшка! А батюшка!

Наш зов был напрасен. (Мы ради шутки изменили голоса.)

– К чорту! Меня нет здесь.

И так как мы все-таки настаивали, –

– Убирайтесь вон, вон! – загремело изнутри. – Если вы, черти, тотчас не перестанете теревить и ломать мою дверь, я вас так окрещу!..

Он чуть не выплеснул на голову нам свой горшок.

Мы закричали:

– Чего там! Плесни уж вином...

При словах этих буря чудом утихла. Красная, как солнце, добродушная рожа попа выглянула из окна.

– Э, да это вы! Персик, Ерник! А я-то собирался проучить вас! Безбожные шутники! Что же вы сразу не сказались?

Он сбежал по лестнице, ступени проглатывая.

– Входите, входите. Во имя Отца и Сына... Дайте я обниму вас. Добрые люди, как я рад видеть лица человеческие после всех этих павианов. Присутствовали вы при том, как бесновались они? И пусть беснуются – пальцем не двину. Поднимемся – пить будем. Верно, жарко вам? Хотят заставить меня выйти со Святыми Дарами! Дождь-то ведь собирается. Господь и я – мы вымокли бы как мыши. Разве мы на службе у них? Разве я батрак? Обращаться с человеком Божьим как со скотиной! Изверги! Я создан, чтобы лечить их души, а не поля их...

– Да в чем же дело, – спросили мы, – что морочишь ты нас? Кого ты бичуешь?

– Идите наверх, – сказал он. – Там нам будет удобнее. Но сначала

выпить надо. Мочи нет, задыхаюсь!.. Как вы находите вино это? Оно, что и говорить, не из скверных. Ну вот: поверите ли вы, друзья мои, что эти обезьяны норовят заставить меня служить ежедневно молебствие! И все из-за жуков.

– Каких жуков? У тебя они в мозгу жужжат; ты бредишь, Шумила!

– Какой там бред!.. – воскликнул он в возмущенье. – Нет, это уж слишком!.. Я – жертва их прихотей буйных, и меня же зовут сумасшедшим!

– Тогда объясни, объясни толком!..

– Вы меня оба загоните в гроб, – молвил поп, утирая лоб со злобой. – Как могу я найти покой, когда ко мне и к Богу, к Богу и ко мне лезут день-деньской с дурацкими просьбами? И заметьте (ох, задохнусь, чего доброго!), заметьте, что эти язычники о будущей жизни не думают вовсе, не моют души, как и ног не моют, а меж тем от меня требуют то ненастья, то ведра. Я должен приказывать солнцу, луне: «Немного тепла, теперь – влаги, – не слишком, – теперь солнышка, мягкого, нежного, мутного, теперь ветерка – но не надо морозов, пожалуйста, – полей-ка еще, омочи виноградник мой, Господи; стой, будет тебе отливаться... Теперь хорошо бы и чуточку зноя...» Слушая этих разбойников, можно подумать, что Богу одно только и остается: покорно трусить вокруг колодца (и, таким образом, поднимать в нем уровень воды), уподобляясь ослу, которому садовник догадливый подвязал спереди пучок сена. И притом (это лучше всего) они тянут в разные стороны: один дождя просит, другой – солнца. Приходится взять за бока и святых. Там, в вышине, тридцать семь из них доставляют влагу. Идет во главе, с копьем в руке, св. Медард, великий водолей; на другой же стороне – только двое: св. Раймунд и св. Дион, проясняющие небосклон. Но на помощь еще святые спешат: Влас гонит ветер назад, Христофор отстраняет град, Валерий – бури глотает, Аврелий – гром рассекает, Клар – синеву прокладывает. На небесах раздор. Господа эти важные дубасятся. И вот святые Сузанна, Елена и Схоластика вцепились друг другу в волосы. Не знает Господь, какого слушаться голоса. И если Бог не знает ничего, – что может служитель его? Бедняга! Впрочем, не мое это дело. Я здесь только затем, чтобы молитвы передавать. Исполнение же их зависит от хозяина. Посему я бы ничего и не сказал (хоть, между нами говоря, мне противно такое идолопоклонство: Иисусе кроткий, ужель ты напрасно страдал?), но оказывается, что негодяи эти требуют моего слова в ссорах небесных. Для них святой крест и я сам – только талисман, охраняющий их поля от всяких вредителей. Крыса ли грызет зерно в амбарах, – сейчас крестное шествие, заклинанья и молитвы к св. Никею. День был морозный, декабрьский. На плечах снегу целый мешок. Я потом разогнуться не мог. После – гусеницы: молитвы к св. Гертруде, крестные шествия. А на дворе март. Слякоть, снег талый, дождь ледяной; простужаюсь, конечно, кашляю до сих пор. А теперь – жуки. Пожалуйста – шествие! Свинцовое солнце, тучи пузатые и черно-синие, словно мясные мухи, вдали глухое рокотанье грома, вспотею хорошенько, потом вымокну, – а хотят ведь, чтоб я обошел все их плодовые сады, распевая стих: «Ibi ceciderunt разносители беззакония, atque expulsus sunt и не могли stare»[36]. Но ведь

изгнан–то буду, вероятно, я! «Ibi cecidit[37] Шумила, священник». Нет, нет, нет, благодарю! Я не спешу. Лучшая шутка под конец надоедает. Мне ли, скажите на милость, давить червяков? Если бездельникам этим мешают жуки, пускай сами отжучиваются! Трудись, подмоги не требуй, – поможет тебе небо. Однако удобно было бы сидеть сложа руки и говорить попу: сделай это, сделай то. Нет, я буду поступать как хочет Бог и как я сам хочу: я пью. Пью. Делайте то же. Они же пусть осаждают мой дом. Осада осадой, а я как сяду, засяду и зада со стула не сдвину. Будем пить, друзья.

* * *

Он пил, ослабев после этой бури красноречия. А мы двое, подняв стаканы, глядели сквозь них на небо и на свою судьбу: и то и другое казалось розовым. Настала тишина. Только слышно было, как Ерник щелкал языком да как хлюпало вино в глотке у Шумилы. Он пил залпом, а Ерник потихоньку. Когда струя опрокидывалась вглубь, Шумила всякий раз кричал, поднимая к небу глаза. Ерник долго разглядывал свой стакан, сверху, снизу, в тени, на солнце, обнюхивал его, облизывал и взглядом и языком. Я же смаковал вместе и питье и пьющих. Их удовольствие сообщалось мне, и я любовался им. Небо и глаза меж собой друзья; их союз – наслаждение.

Однако это не мешало мне быстро и ловко хлопать стакан за стаканом. И все трое ровно шли в ногу, никто не отставал. Но кто подумать бы мог? Когда каждый из нас подвел итог, оказалось, что на целый глоток опередил всех нотариус.

После того как эта розовая роса нежно увлажнила пищевод и освежила жизненные силы, души наши и лица томно расцвели. Облокотившись на подоконник, мы глядели с умилением, с восхищением блаженным на юную весну, на веселое солнце, ласкающее первый пушок тонких тополей, на излучистую речку в долине среди полей, резвящуюся, как собачонка; и оттуда доносились звонко стук колотушек, смех прачек, кваканье уток–болтушек. И Шумила, прояснившись, говорил, подергивая то меня, то Ерника за рукав:

– Как сладко жить на этой земле! Возблагодарим Отца Небесного за то, что Он нам всем троим дал здесь родиться. Глядите! Что может быть прелестней, улыбочивей, милей, умилительней, соблазнительней, пухлее, сочнее, изящнее! Слезы навертываются на глаза... Просто хочется съесть его, мерзавца!

Мы, кивая, поддакивали, как вдруг он снова разгорячился:

– И как это его угораздило создать на земле животных таких! Он был прав, конечно. Он, полагать надо, знает, что делает... Но я предпочел бы, чтоб он был не прав и чтоб паства моя пошла к чорту: погостила бы, что ли, у Инкосов[38] или у султана турецкого – мне все равно где, – только бы здесь не оставалась.

Мы сказали ему:

– Шумила, люди везде одинаковы. Что те, что другие. Не стоит менять.

– Значит, – продолжал он, – были сотворены они не для того, чтобы быть мною спасаемы, а для того, чтобы я сам мог спастись, горемычничая на земле. Согласитесь, кумы, согласитесь, что худшее ремесло – это ремесло сельского попа, который выбивается из сил, вбивая священные истины в каменные лбы этих дурней. Тщетно кормишь их соком Евангелия, тщетно в рот ребятишкам суешь сосец Катехизиса: молоко у них тут же выливается из носу; нуждаются эти зобища в более грубой пище. Пожуют они первый слог молитвы, пропоют псалом по-ослиному, но не прочувствуют ни слова единого. И сердце, и желудок остаются пустыми. Они просто язычники, как всегда и были. Напрасно в продолжение многих веков мы изгоняем из ручьев, из лесов, из полей духов и фей; напрасно мы дуем (вот-вот щеки и легкие лопнут), задуваем снова и снова эти адские факелы для того, чтоб во мраке выделялся резче единственный свет, свет Бога истинного. Никогда не могли мы убить этих бесов земных, суеверие гнусное – душу вещества. Старые дубовые пни, черные валуны продолжают скрывать это дьявольское отродье. А сколько из них мы разбили, подрезали, искрошили, сожгли, искоренили! Пришлось бы перевернуть каждую кочку, каждый камень, всю землю Галлии, матери нашей, чтобы окончательно оторвать беса, который вцепился ей в тело; но и этого мало. Природа проклятая проскальзывает у вас меж пальцев; вы ей лапы отрубаете, а у нее вырастают крылья. На месте каждого уничтоженного бога появляется десять новых. Всё – бог, всё дьявол для этих варваров. Они верят в оборотней, в белого коня безглавого и в черную курицу, в исполинского змия, в эльфов и в колдующих уток... Вообразите же, какой должен иметь вид среди всех этих искалеченных чудовищ, вырвавшихся из ковчега Ноева, кроткий Сын Марии и плотника благочестивого!

Ерник отвечал:

– Кум, «око чужое око видит, но не видит себя самого». Твои прихожане безумны, нет слов; но ты сам – ты здоров? Поп, не тебе говорить; ты как они поступаешь точь-в-точь. Неужели святые твои лучше их эльфов и фей? Недостаточно было иметь одного Бога в трех или трех в одном, да еще богиню-мать; пришлось населить ваш Пантеон кучкой божков в штанах и в юбках, дабы заместить тех, которых вы разбили, и заполнить чем-нибудь опустевшие ниши. Но, Боже правый, боги эти не стоят старых! Темно их происхождение. Отовсюду вылезают, как улитки, кривобокие боги, жидкие, вшивые, неумытые, струпьями покрытые, в ранах и в шишках. Один выставляет вместо руки окровавленный обрубок, а на бедре у него лоснящаяся язва; у другого в виде изящной шляпы – всаженный топор. Этот прогуливается, держа под мышкой свою собственную голову; тот с гордостью вытряхивает кожу свою, как рубашку. Но зачем идти так далеко: что сказать, поп, о святом, восседающем в церкви твоей, о столпнике Симоне, который сорок лет простоял на одной ноге, подобно цапле?

Шумила вздрогнул и воскликнул:

– Стой, язычник. Брани, коль хочешь, других святых. Я не обязан защищать их. Но этот – мой святой, мой... я у него в доме. Мой друг, будь вежлив.

– Так и быть (я твой гость). Оставим его стоять на лапке; но скажи мне, что думаешь ты об аббате Корбиньи, утверждающем, что у него есть в бутылках молоко Пресвятой Девы; и как тебе нравится господин Сермидель [39], который однажды, страдая от поноса, употребил в виде промывательного средства раствор мощей в святой воде?

– Что думаю? – сказал Шумила. – Думаю, насмешник, что, если б у тебя болел живот, ты, пожалуй, поступил бы так же. Что же касается аббата Корбиньи, то и он, и вообще все эти монахи, чтоб только переманить наших покупателей, торговали бы молоком архангельским, сливками ангельскими и маслом серафимским. Не будем говорить о них. Монах и поп что собака и кот.

– Итак, Шумила, не веришь ты в мощи?

– В эти – нет. Но у меня есть другие: св. Диетрины ключица, очищающая мочу и угреватые лица. А также лобная кость св. Ступа; благодаря ей бес из брюха овечьего прочь ступает. Не смей смеяться. Ты что, Ерник, ерзаешь? Или вправду не веришь? У меня есть свидетельства, на пергаменте писанные, слепец сомневающийся. Пойду принесу их. Увидишь, увидишь их подлинность!

– Сиди, сиди, оставь свои бумаги в покое. Ведь и ты сам не веришь. Вижу я – нос твой движется. Какая б она ни была, откуда бы ни пришла, – кость всегда только кость, и тот, кто боготворит ее, – идолопоклонник. Всякой вещи свое место: место мертвых на кладбище. Я же верю в живых, верю, что светит солнце вовсю, что сам я пью и рассуждаю – и рассуждаю отменно, верю, что дважды два четыре, что земля наша – неподвижное светило, потерянное в пространстве крутящемся; верю в нивернейца Гви Кокиля и могу, если хочешь, тебе наизусть прочесть с начала до конца его сборник Обычаев; верю также тем книгам, сквозь которые наука и опыт человеческий просачиваются по капле; и сверх всего верю в свой рассудок. И (само собой разумеется) верую в слово Божие. Нет человека осторожного и мудрого, который бы сомневался в истине его. Ты доволен, поп?

– Нет! – воскликнул тот, не на шутку раздраженный. – Кто ты: кальвинист, еретик, гугенот? Бранишь Библию, учишь мать свою, Церковь, думаешь (змеиный выкидыш!) обойтись без отца духовного?

Ерник, рассердившись в свою очередь, заявил, что он не позволит, чтоб его считали протестантом, что он истинный француз, истый католик, но притом человек сознательный, у которого два крепких кулака, да и ум не однорукий, что в полдень он видит без очков, зовет дурака дураком, а его, Шумилу, тремя дураками в одном или одним в трех (как ему больше нравится) и что, наконец, он, почитая Бога, почитает человеческий разум, лучший луч этого великого светила.

* * *

На сем они оба замолкли и стали пить, ворча и дуюсь, облокотившись на стол спиной ко мне. Я же расхохотался. Тогда они заметили, что я еще ничего не сказал, и я внезапно сам заметил это. До этой минуты я

был занят тем, что наблюдал их и слушал, развлекаясь их доводами, отражая на лице своем каждое их выражение, повторяя про себя каждое слово, беззвучно шевеля губами, как кролик, жующий лист капусты. Но вот эти страстные спорщики потребовали, чтобы я высказался за одного из них.

– Стою за обоих, – ответил я, – и еще за несколько других. Мало ли кто рассуждает о том же? Чем больше безумцев, тем больше смеха, чем больше смеешься, тем мудрее становишься. Когда, друзья мои, вам хочется точно узнать все, что вы имеете, начинаете вы с того, что на листе выписываете ряд чисел; потом складываете их. Отчего бы таким же образом не соединить звенья ваших воззрений? Быть может, все вместе они составляют истину? Истина вам кукиш показывает, когда вы пытаетесь ее схватить сразу. Да, дети мои, все на свете объясняется по-разному, и объяснений много. Я принимаю всех ваших богов, и языческих, и христианских, а также – бога разума.

При этих словах они оба, разгневавшись, обозвали меня скептиком и афеем[40].

– Что же вам нужно? Что вы хотите от меня? Если ваш Бог или ваши боги, закон или законы приходят ко мне, я их принимаю. Я – гостеприимен. Господь мне очень нравится, а святые его – еще больше. Я люблю их, почитаю, улыбаюсь им... И они, добрые люди, – тоже не прочь со мной покалякать. Но должен признаться, что одного Бога мне недостаточно. Что поделаешь? Я жаден – а меня заставляют поститься. У меня есть и свои святые, феи и духи, небесные и земные, древесные и водяные; я верю в разум. Верю также безумцам, ясновидящим да колдунам, люблю воображать, как земля качается среди облаков, и я бы желал беспрестанно трогать, разбирать и вновь пускать в ход чудесные пружинки и колесики мировых часов. А также люблю слушать, как звенят небесные сверчки, круглоглазые звездочки, люблю примечать в луне человека с вязанкой хвороста... Вы пожимаете плечами? Вы – вы стоите за порядок. Что ж, порядок имеет свою цену. Но нужно платить. Порядок значит не делать того, что хочешь, и делать то, чего не хотел бы: протыкать себе один глаз, чтобы лучше видеть другим, вырубать леса, чтобы проводить большие прямые дороги. Это удобно, удобно. Но, Господи, как это некрасиво! Я старый галл; много вождей, много законов, все братья, и каждый для себя. Верь мне, не верь, но не мешай мне поступать как я хочу – верить или не верить. Почитай разум. А главное, друг мой, не трогай богов. Они кишат, кипят, льются сверху, снизу, над головой, из-под ног; земля от них раздулась, как свинья поросая[41]. Я их всех уважаю. И я вам позволяю мне привести и других. Но вы не сможете отнять у меня ни одного и не заставите меня ни одного разжаловать, – если, разумеется, мерзавец не слишком злоупотребит моей доверчивостью.

Ерник и поп спросили жалостливо, как я нахожу путь свой среди всей этой сумятицы.

– Нахожу его без труда, – сказал я. – Все тропинки мне знакомы, я гуляю там свободно. Когда я иду лесом из Шаму в Везлэ, неужели вы думаете, что мне нужна большая дорога? Я иду с закрытыми глазами, путями облавщиков. И если я, может быть, и опаздываю, зато прихожу

домой с полной сумой. Все в ней на своем месте, все разложено бережно – рядом да под ярлыком. Бог – в церкви, святые – в часовнях; феи – среди полей, разум – за моим лбом. Живут они в согласии: у каждого есть подруга, работа и дом. Они не подчинены неограниченному правителю; но, подобно жителям Берна и соседям их, образуют между собой союзы. Некоторые из них слабее других. Но не гнушайся ими. Против сильных иногда нужны слабые. Конечно, Господь могущественнее фей. А все же и он должен быть с ними ласков. И он один не сильнее, чем все вместе взятые. Сильный всегда найдет более сильного, который и проглотит его. Глотатель проглатывается. Да... Я, видите ли, твердо верю, что все-таки самого великого Господа Бога еще не видал никто. Он очень глубоко, очень высоко, совсем в глубине, совсем в вышине. Как и наш король. Мы знаем (слишком хорошо знаем) его людей, слуг и солдат. Но он сам остается в своем Лувре. Сегодняшний Бог, тот, которому все молятся, это, так сказать, господин Кончини... Ладно, ладно, не бей меня, Шумила. Я скажу, чтобы тебя не раздражать, что это не он, а наш добрый герцог, господин Нивернейский (Господь его храни). Я почитаю его и люблю. Но перед властелинами Лувра он все же уползает во мрак, и хорошо делает. Да будет так.

– Да будет так! – воскликнул Ерник. – Но, увы, это не так. «В отсутствие господина слуга зазнается». С тех пор как умер наш Генрих и королевство обабилось, принцы забавляются прялкой, прядильщицей. «Забавы принцев радуют только их самих». Эти воришки суют нос в великий садок и опустошают сокровищницы Арсенала, полные золота и грядущих побед, казну, оберегаемую господином Сюлли. Гряди, Мститель, и заставь их выплунуть душу вместе со съеденным золотом!

К этому мы еще добавили многое, но передать слова наши было бы неосторожно. Мы стройно пели одну и ту же песнь. Сделали мы несколько вариаций на тему принцев в юбках, лжепророков в туфлях, жирных прелатов и монахов-бездельников. Я должен сказать, что Шумила в данном случае нашел самые лучшие, самые яркие созвучия. И наша троица продолжала в полном согласии, переходя от приторных к ядовитым, от лицемерных к слепо верующим, перебирая ханжей всевозможных, безумных и полоумных, всех тех, которые, желая воспитать в нас любовь к Богу, думают вселить ее в тело ударами дубины или кинжала. Бог не погонщик ослов: не палкой он действует. А кто безбожничает, – пусть идет к чорту. Нужно ли еще мучить и жечь его при жизни? Оставьте нас в покое. Пусть живет каждый, как хочет, во Франции нашей и дает жить ближнему своему. Христианин из всех самый нечестивый: он не понимает, что Христос был распят не только за него. Добрый и злой, в конце концов, похожи друг на друга как две капли воды.

После чего, устав говорить, мы запели в три голоса, затянув хвалебную песню в честь Вакха, единственного бога, в бытии которого никто из нас не сомневался. Шумила громко объявлял, что его он предпочитает всем тем, которых славят мерзкие монахи Лютера и Кальвина да всякие косноязычные проповедники. Вакх же отчетливый, осязаемый бог, достойный уважения, бог из древнего рода французского... – что говорю? – христианского, дорогие братья: разве Иисус не бывает изображен на некоторых старинных картинах в виде Вакха, попирающего

грозди? Выпьем же, други, за него, за Искупителя нашего, христианского Вакха, смеющегося Иисуса, чья пурпурная чудная кровь струится под зеленью наших холмов, вносит благоухание в виноградники наши, в душу и в речь, и льется и льется – сладчайшая, любвеобильная, милостивая, невинно–насмешливая, льется через ясную Францию... Да здравствует радость и разум!

Но пока мы чокались, прославляя французский веселый здравый смысл, который во всем избегает крайности («между двух мнений садится мудрец»... а потому садится он часто на пол), пока мы разглагольствовали, грохот закрываемых дверей, стук грузных шагов на лестнице, заглушенные восклицания («Ох, Иисусе Христе, ох, Господи!») и тяжелые вздохи известили нас о нашествии ключницы попа, по прозванию Попойка.

Она отдувалась, утирая свое широкое лицо уголком передника и восклицая:

– Скорей, скорей. На помощь, батюшка!

– В чем дело, дура ты этакая? – спросил тот нетерпеливо.

– Они близятся, близятся. Это они!

– Да кто же? Гусеницы, гуськом ползущие через поля? Я тебе уже сказал: не смей напоминать мне об этих язычниках – моих прихожанах.

– Но они вам угрожают!

– Чем? Судом? Мне–то что! Я готов. Пойдем.

– Ах, сударь, если б это было так!

– В чем же дело? Говори.

– Они там, у Великого Пика, – колдуют, заклинания творят и распевают: «Покидайте, мыши и жуки, покидайте поля, забирайтесь к попу в сад и в погреб».

При этих словах Шумила так и подскочил.

– Ах, проклятые! Жуки в моем плодовом саду! И в моем погребе! Ах, они режут меня! Они уже не знают, что выдумать! Ах, Господи, ах, святой Симон, придите на помощь к вашему служителю...

Мы, смеясь, попробовали было его успокоить.

– Смейтесь, смейтесь, – крикнул он. – Вы на моем месте, умники, не смеялись бы столько. Заслуга невелика: будь я в вашей коже, я бы смеялся тоже. Но хотел бы я видеть, как приняли бы вы подобное известие, как стали бы накрывать стол, готовить комнату для принятия этих гостей. Их жуки! Какая гадость. А мыши... Не хочу, не хочу! Это чорт знает что такое...

– Но позволь, – сказал я, – разве ты не священник? Отклони заклинанья их. Разве ты не во сто раз умнее прихожан своих? Разве ты не сильнее их?

– Эх, эх. Как знать! Великий Пик очень хитер. Ах, друзья мои! Ах, друзья! Какая новость! Какие разбойники! А я–то был так спокоен, так доверчив. Ах, ничего нет верного на свете... Один Бог велик. Что могу я сделать? Я пойман. Они держат меня. Поди, милая, поди скажи им, чтоб они остановились. Впрочем, нет. Я сам иду, сам иду, – ничего не поделаешь. Ах, мерзавцы! Когда, в свою очередь, я буду в предсмертный их час властвовать над ними!.. А пока (*Fiat voluntas...* [42]) я должен исполнять все их прихоти. Ну что ж, надо выпить чашу. Я выпью ее. Это не первая...

Он встал. Мы спросили:

– Куда же ты собираешься?

– В крестовый поход, – ответил он, – против майских жуков.

Праздный весенний день

<Апрель>

Апрель, тонкая дочь весны, худенькая девонька, я вижу твои глаза прелестные, я вижу, как цветут грудки твои крошечные на ветке абрикосовой, на ветке белоснежной, чьи заостренные розовые почки солнце нежит утром свежим, под моим окном, в саду моем. Что за утро славное! И как отратно думать, что увидишь, что видишь уже этот день. Я встаю, руки заламываю: о приятный, хрустящий отзвук труда долгого, упрямого!

Мы хорошо поработали, я и помощники мои, за последние две недели. Наверстать часы принужденной праздности мы хотели – опилки так и летели, и дерево пело под стругом. Но, увы! эту жажду труда не утоляют заказы. Нам приходится туго. Покупателей мало; иной–то берет, да платить не спешит, выдыхаются кошелки, истекают кровью сокровищницы; но жизни все еще много в наших мышцах и в наших полях. Земля плодородна. Из нее сотворен я, и на ней я живу. *Ага, oга et labora* [43]. Королем будешь скоро; все мы короли в Клямси или же станем ими, чорт возьми: ибо я слышу с утра, как шумят плотины, скрежещут мехи кузнецов, пляшут звонкие молоты на наковальне, топоры мясников рубят кости на склизкой доске, фыркают лошади на водопое, поет и гвозди вбивает сапожник; слышу скрип колес на дороге, стук башмаков деревянных, шелканье бичей, болтовню прохожих, голоса, колокола, гаканье города работающего, приговаривающего: «*Pater*

poster, месим тесто, месим panem nostrum[44] ежедневный, покамест сам его не дашь. Это все–таки верней».

А над головой моей – милое небо синей весны, белые облака, гонимые прихотью ветерка, и солнце юное, и воздух прохладный.

И мне чудится: молодость воскресает. Она возвращается стремительно из глубины времен, чтоб снова свить, как ласточка, гнездо свое под навесом старого сердца, ожидающего ее.

Дивная, дальняя, как радует твое возвращенье! Радует ты гораздо больше, гораздо полнее, чем в начале жизни...

В это мгновенье скрипнул жестяной петушок на крыше, и услышал я визгливый голос моей старухи, что–то кричащей, кого–то зовущей – быть может, меня. Я старался не слушать, – но, увы, пугливая ласточка молодости исчезла. Ах, подлый петушок!

И вот яростная моя подруга, приблизившись, оглушает меня своей вечной песнью:

– Что ты здесь делаешь? Что валандаешься? Верхогляд проклятый! Чего встал, разинув пасть, подобно колодцу? Ты птиц небесных пугаешь. Чего же ты ждешь? Того ли, что жареный жаворонок или плевок ласточки попадет тебе прямо в рот? А я–то пока убиваюсь, потом обливаюсь, из сил выбиваюсь, как старая кляча, угождая тебе, урод!

– Что же, бедная женщина, таков жребий твой!

– А вот нет, нет! Всевышний не предполагал, что на нас ляжет вся работа, а что Адам, заложив руки за спину, пойдет себе гулять беззаботно. Я хочу, чтоб он тоже мучился, и хочу я, чтоб он скучал. Сам Бог пришел бы в отчаяние, если б было иначе, если б Адам веселился. Но, по счастью, я здесь, и мне, мне поручено исполнять его святые желанья. Перестанешь ли ты смеяться? Работай, работай, коль хочешь быть сытым. Он словно не слышит! Ну, пошевеливайся...

Я отвечаю с кроткой улыбкой:

– Да, разумеется, моя красавица. Грех сидеть дома в такое прекрасное утро.

Возвращаюсь в мастерскую, кричу подмастерьям:

– Друзья, мне нужна гибкая, гладкая, твердая доска. Посмотреть иду, не найду ли такую на складе у Рейка. Эй, Конек, Шутик! Пойдемте выбирать.

Мы втроем вышли. А старуха моя все кричала. Я сказал:

– Пой, милая, пой.

Но это был излишний совет. Что за музыка! Я стал свистеть, чтобы дополнить ее.

Добрый Конек говорил:

– Что вы, хозяйка, можно подумать, что мы отправляемся в длинное путешествие! Через четверть часа будем дома.

– Этому разбойнику, – ответила она, – никогда нельзя довериться.

* * *

Было девять часов. Мы шли в Беян, – путь недолог. Но на мосту Бевронском мы остановились (это вежливости долг), чтобы приветствовать Фиту, Треску и Гадюку, которые начинали день с того, что глядели на протекающую воду. Побранили, похвалили погоду, потом пошли дальше, как и полагается. Люди мы добросовестные, выбираем путь кратчайший, не разговариваем с встречными (правда, что ни одного и не было). Но только живо воспринимая красоту природы, любишь небом, первыми весенними ростками, – а там в овраге цветет яблоня, там скользнула ласточка, – останавливаешься, рассуждаешь о направлении ветра... На полпути вспоминаю вдруг, что я еще сегодня не видел Глаши. Говорю:

– Идите себе. Мне нужно сделать крюк. У Рейка я вас догоню.

Когда я пришел, Марфа, дочь моя, занималась тем, что мыла, воды не жалея, лавку свою, но это не мешало ей болтать, болтать, болтать то с тем, то с другим, с мужем своим, с приказчиками, да с Глашей, да с двумя-тремя зашедшими кумушками, хохотала она во все горло и не переставала болтать, болтать, болтать. Кончив, она с размаху выплеснула ведро на улицу. Я стоял близ порога, любясь ею (у меня и сердце и глаза радуются всякий раз, как я гляжу на это яркое мое создание), и таким образом поток воды хлестнул меня по ногам. Она только пуще стала смеяться, но я хохотал еще громче. Вот она, смеющаяся галльская красавица! Я видел ее черные волосы, полускрывающие лоб, густые твердые брови, горящие глаза, и губы, горящие еще больше, красные, как пламя угля, сочные, как спелые сливы, и голую шею, и голые руки, и решительно скрученную юбку.

– Ты вовремя подросел, – заметила она. – Все ли ты получил, по крайней мере?

Я отвечал:

– Почти все; впрочем, я воды только тогда боюсь, когда она в моем стакане.

– Входи, – сказала Марфа, – входи, Ной, не взятый волной, Ной-виноделец.

Вхожу, вижу Глашу в коротком платьице, у прилавка притаившуюся.

– Здравствуй, булочка!

– Бьюсь об заклад, – сказала Марфа, – что я знаю, почему ты так рано

дом свой покинул.

– Ты не можешь проиграть. Ты хорошо знаешь причину, она тебя вскормила.

– Так, значит, – мать?

– Вестимо!

– Как трусливы мужчины!

Как раз входил Флоридор, и это словцо ему брызнуло прямо в лицо. Он насупился.

Я же сказал:

– Это мне предназначено. Не обижайся, друг.

– Есть и для двух, – сказала она. – Раздели, не жадничай.

Тот все хранил вид задетого достоинства. Он истинный мещанин. Он не допускает, чтобы могли смеяться над ним; и когда видит нас вместе, он косится, наблюдает, пытливый и подозрительный, стараясь угадать, какие слова выйдут из наших смеющихся уст.

Бедные мы простаки! Как нас чернят!

Я сказал бесхитростно:

– Ты шутишь, Марфа; я знаю, что Флоридор хозяин в доме своем. Он не раздавлен, как я, под чужим башмаком. Его Флоридориха кротка, скромна, безвольна, безмолвна, послушна, добра. Она унаследовала от своего бедного, забитого отца эту робость и покорность...

– Долго ли ты еще будешь смеяться над людьми, – заметила Марфа, которая, опустившись на колени, снова принялась тереть (я же тебя, я же тебя, тру, тру поутру), тереть стекла и половицы с яростной радостью.

Она работала, я глядел на нее, – и мы оба между тем вели и трезвые и резвые речи. А в дальнем углу лавки, которую Марфа наполняла движением, бодрым разговором, всей крепкой жизнью своей, – притаился сумрачный Флоридор, ужаленный, накрахмаленный. Он в нашем обществе никогда не чувствует себя свободным. Сырые словечки, полнокровные галльские шутки коробят его, оскорбляют в нем чувство достоинства. Он не может понять жизнерадостных. Сам он маленький, бледненький, худенький, хмурый; он любит жаловаться по всякому поводу. Его шея куриная была полотенцем обвернута, он казался встревоженным, глаза его бегали.

Наконец он сказал:

– Мы здесь на ветру словно на башне стоим. Все окна открыты.

Марфа, не переставая тереть, отвечала:

– Что же делать, мне душно.

Флоридор попробовал было устоять, но не выдержал (по правде сказать, ветерок был свеженький) и вышел разгневанный.

Та подняла голову и сказала добродушно–насмешливо:

– Хотел бы распечь, да пошел печь.

Я хитро спросил, продолжает ли она жить в мире и согласии с мужем своим. Она и не думала отрицать это. Ах, упрямая! Если уже она совершила ошибку, можно четвертовать ее – она не сознается в ней.

– Отчего бы и не быть согласию? – сказала она. – Он мне приходится по вкусу.

– Еще бы. Я сам бы отведал. Но у тебя рот большой; ты скоро съедаешь пирожок такой.

– Нужно удовлетворяться тем, что есть.

– Хорошо сказано. А все–таки на месте пирожка я, признаюсь, не совсем был бы спокоен.

– Отчего? Ему бояться нечего, я честно торгую. Но пускай и он сам поступает как должно. Измени мне, попробуй–ка, брат. В тот же день я скажу: «Ага, ты рогат». У каждого доля своя. Это – мое, это – твое. Итак, исполняй свой долг.

– Исполняй до конца, – я добавил.

– Конечно. Посмел бы он жаловаться, что девица слишком прекрасна.

– Ах, чертовка. Если не ошибусь, – ты отвечала за всех, когда гусь принес приказ от небес.

– Я знаю немало гусей, но только бесперых. Какого ты разумеешь?

– Разве ты не слыхала, – спросил я, – рассказа о гусе, которого кумушки к Отцу небесному послали. Они просили, чтоб детишки, только–только вылупившись, уж могли разгуливать... Отвечал Господь: что же, я не прочь (он любезен с дамами). Но взамен поставлю я условие маленькое: чтоб отныне жены, девы, девочки спали б одинешеньки... С посланьем этим верный гусь спустился с неба. К сожаленью, там я не был и не видел, как он прибыл... Но я знаю, что посланник наслышался слов таких...

Марфа, сидя на корточках, остановилась и разразилась неистовым хохотом. А потом, толкая меня, с ног сшибая, воскликнула:

– Старый болтун! Горшок с горчицей, болтун, слюнтяй, замуслюга[45]! Ступай, ступай вон отсюда. Пустомеля! И на что ты годишься? Теряю с

тобой только время. Ну, убирайся. И уведи с собой собачонку эту бесхвостую, Глашу твою. Она все у меня в ногах путается; только что я выгнала ее из пекарни, а вот она снова, кажется, сунула лапки в тесто (так и есть, нос весь белый). Отправляйся–ка вместе. Дайте мне, бесенята, дайте мне поработать спокойно, а не то я пойду за метлою...

Она нас вытолкала. Мы пошли, очень довольные, направляясь к Рейку. Немного только замешкались мы на берегу Ионны. Глядели, как удят, советы давали. И очень радовало нас, когда нырял поплавок или выпрыгивала уклейка из зеленого зеркала. Но Глаша, видя на крючке червяка, который корчился от смеха, сказала мне с детским отвращением:

– Дедушка, ему больно, он будет съеден.

– Ну конечно, деточка, конечно, – отвечал я. – Для него это только маленькая неприятность. Не нужно думать об этом. Подумай лучше о том, кто съест его, о блестящей рыбе. Она скажет: «Как вкусно!»

– Но если бы ты, дедушка, был на месте червячка?

– Ну что ж, я бы тоже сказал: «Как вкусно! Счастливый мерзавец! Как везет тому молодцу, который меня глотает». Вот, моя девочка, вот каким образом удастся дедушке быть довольным всегда. Я ли ем, меня ли едят, все хорошо. Нужно только разместить это у себя в голове. Все хорошо, все вкусно, говорит бургундец.

Так рассуждая, мы незаметно дошли (еще не было и одиннадцати). Конек и Шутик мирно ждали, вытянувшись на бережку; последний, прихвативший на всякий случай удочку, поддразнивал рыбку. Вошел я в сарай. Когда нахожусь среди прекрасных деревьев, простертых, совсем оголенных, и запах приятный опилок меня опьяняет – тогда все равно мне: пусть годы и воды текут, протекают. Без конца я их нежные бедра ласкаю. Дерево больше люблю я, чем женщину. У всякого есть своя страсть. Уж я выбрал, а все не могу оторваться. Если б я был у султана и видел на рынке избранницу сердца, среди двадцати обнаженных прекрасных рабынь, неужели любовь помешала бы мне, мимоходом, глазами ласкать красоту остальных? Нет, я не глупец. Зачем же Господь даровал мне глаза ненасытные? Для того ль, чтоб держать их закрытыми? Нет, я распахнул их, как двери широкие. Все входит, ничто не теряется. Я, испытанный, зоркий, умею сквозь хитрость убогую женщины мысли, желанья ее разглядеть; и также под гладкой иль грубой корою деревьев моих разгадать я могу затаенную душу, которая выглянет из скорлупы, – если я захочу быть наседкой.

Пока я решаюсь, нетерпеливый Конек сердится (он глотает, не глядя; только мы, старики, умеем смаковать) и переругивается со сплавщиками, которые разгуливают на том берегу или же стоят, оцепенев, как цапли, на мосту Беяна. В обоих предместьях нравы те же. По целым часам, раздавливая ягодицы о перила, прохлаждаешься на реке, а то освежаешь рыло в соседнем кабаке. Обычная беседа между жителем <Б>еврона и жителем заречным состоит из прибауток. Эти господа обзывают нас мужиками, бургундскими улитками и навозными

жуками. Тогда мы стреляем тоже, именуя их жабами и рыбьими рожами. «Мы», говорю, ибо, когда молебствие слышу, я по совести должен сказать свое: Oga pro nobis[46]. Да, вежливость раньше всего. Коль с тобой говорят – отвечай.

Честь честью мы перекинулись словечками прихотливыми, и только тогда (вот те на, колокольный звон: это полдень. Я потрясен. Погоди, время, погоди. Спешат песочные часы твои), только тогда я прошу добрых сплавщиков помочь нам тележку нагрюзить и отвезти в Б<e>врон дерево, выбранное мной.

Они много кричат:

– Персик проклятый! Ты не стесняешься!

Они много кричат, но слушаются. Они меня любят, в сущности. Домой мы неслись во весь дух. С порогов лавчонок глядели люди, любясь стараньем нашим. Но когда близ Б<e>врона упряжка моя на мосту очутилась и нашла трех других молодцев неподкупных, Фиту, и Треску, и Гадюку, все так же склоненных над тихо текущей водой, то вместо ног языки заработали. Одни презирали других за то, что они какое-то делают дело. А те презирали бездельников. Много песен у каждого было в запасе. Я на камне рубежном сидел и ожидал конца, чтоб наградить лучшего певца. Но вдруг чей-то голос раздался над самым ухом моим:

– Разбойник! Наконец-то! Объяснишь ли ты мне, что ты делал в продолжение девяти часов на пути из Б<e>врона в Беян. Бездельник, болван. Горе мне, горе! Когда б ты вернулся, если б я тебя не поймала? Ну, живее домой. Мой обед сгорел.

Я сказал:

– Награда досталась тебе. А вы не трудитесь, друзья.

Она знает такие песни... Не придумаешь лучше, хоть тресни. Моя похвала тщеславие в ней разожгла. Нас угостила она еще кое-чем. И воскликнул я:

– Славно! А теперь воротимся домой. Иди вперед. Я за тобой.

* * *

Она шла, держа за руку Глашу, и шагали за ней мои оба помощника. Я, покорный, но неторопливый, собирался последовать, как вдруг ко мне ветер донес ликующий гул голосов в верхнем городе, восклицанья рожков да перезвоны веселые на башне святого Мартына, и я, словно старый охотничий пес, стал обнюхивать воздух в предчувствии новой картины. Вот что было: с господином д'Амази сочеталась девица Лукреция де Шампо, дочь сборщика податей. Все бросаются опрометью и бегут в гору сломя голову к площади замковой, чтобы успеть увидеть вход шествия в церковь. Поверьте, что я не замешкался. находка ведь редкая. Одни только праздношатаи Треска, Фита и Гадюка не сообразовали отлепиться от моста, объяснив, что унижительно было бы для них, жителей предместья, ходить в гости к представителям

городского сословия. Конечно, мне гордость нравится, и самолюбие – прекрасное качество. Но жертвовать ему удовольствием своим – благодарю. Проявление этой любви напоминает мне того попа-наставника, который в детстве драл меня: это-де ради твоего же блага.

Хоть я и проглотил залпом сорокаведерную лестницу, ведущую к св. Мартыну, я достиг площади (увы) слишком поздно. Свадьба уже вошла. Оставалось (и это было совершенно необходимо) ждать выхода ее, но проклятые попы никогда не устают слушать свои голоса. Мне стало скучно. Я с большим трудом, сразу вспотев, протиснулся в церковь, осторожно сдавливая брюшки, – добродушные и мясистые подушки; но тут же у паперти меня плотно окутал пуховик человеческий, и я очутился словно в теплой, мягкой постели. Не будь я в святом месте, у меня, признаюсь, появились бы некоторые резвые мысли. Но все в свое время. Иногда следует хранить вид степенный. Это мне так же хорошо удается, как ослу. Невзначай показывается кончик длинного уха, а порой осел даже кричит.

Так и теперь случилось: пока я, набожный и скромный, глядел разинув рот (чтоб лучше видеть) на радостное приношение в жертву целомудренной Лукреции, четыре охотничьих рога св. Губерта, перебивая церковную службу, заиграли в честь охотника; недоставало только своры. Весьма мы о ней пожалели. Я задушил смех; но, естественно, не мог удержаться, чтобы (тихохонько) не просвистеть фанфару. Когда же настал роковой миг, и невеста на вопрос любопытного попа отвечала «да», и трубачи, молодецкато раздув щеки, возвестили затраву, я уже не стерпел и крикнул:

– Ура!

Хохотали бы до утра. Да вошел привратник, не суля мне добра. Я свернулся в комок и, скользя вдоль чужого бедра, выкатился. Очутился я на площади. Там не ощущалось недостатка в обществе. Все это были люди хорошие, умеющие пользоваться глазами, чтобы видеть, ушами – чтоб впитывать, что поймали чужие глаза, языком – чтобы рассказывать то, о чем можно говорить и не видеть.

Вовсю я развернулся... Искусно врать можно и не придя издалека. Время прошло быстро, для меня по крайней мере, – и вот под звуки органа распахнулись церковные двери. Появились охотники. Впереди, счастливый и гордый, выступал д'Амази, под руку с добычей своей, которая, как лань, поворачивала туда и сюда свои глаза прекрасные. Не хотел бы я быть охранителем этой красавицы. Будет немало хлопот тому, кто ее увезет. Кто зверя берет, берет и рога. Но я только мельком видал охотника и добычу, закольщика и заколотую. И я бы не мог описать даже (кроме как для хвастовства) одежду удачника и наряд новобрачной. Дело в том, что в этот же миг наше вниманье было отвлечено важным вопросом: в каком порядке должны выступить остальные участники шествия?

Мне говорили, что уже, когда входили они (ах, зачем я там не был), стряпчий кастелянства, он же судья, и шеффен[47], мэр «ex officio»[48], как два барана, <с>цепились на самом пороге. Но толще,

сильнее был мэр, и досталось ему первенство. Теперь же решить мы старались, кто же выйдет первый, кто первый появится на священной паперти? Гадали, спорили. Но не выходил никто. Словно разрубленная змея, передняя часть шествия продолжала свой путь; задняя же – не следовала. Наконец, приблизившись к церкви, мы увидали внутри, слева и справа, у самых дверей наших двух разъяренных зверей, друг другу путь преграждающих. Так как в храме святом кричать они оба не смели, то шевелили губами и носом, выпучивали глаза, выгибали спину по-кошачьи, морщили лоб, тяжело дышали, щеки надували; и все это – безгласно. Мы помиралы со смеху. И смеясь и гадая, мы приняли тоже участие. Пожилые стояли за судью, представителя герцога (кто сам уваженья требует, тот всем его проповедует); а юнцы–петушки стояли за мэра, боевого блюстителя наших свобод. Я же был на стороне того, которому больше попадет. И мы кричали каждый своему любимцу:

– Ну–ка, ну–ка, откуси–ка ему гребешок, валяй, проучи гордеца! Ну пошел, пошел, старый осел!

Но эти два глупца только и делали, что выплевывали ярость свою, а не вступали в рукопашную, вероятно, из боязни испортить одежды праздничные. При этих условиях спор бы длился до бесконечности (можно было не опасаться, что иссякнет их красноречие), но пришел на помощь поп, не желающий опаздывать к ужину. Он сказал:

– Мои милые дети, слышит вас Бог, ждет вас пирог; никогда не нужно забывать об ужине. Никогда не нужно досаду свою обнаруживать перед Господом, да еще в храме его. Разберемся мы дома.

Если он этого и не сказал (я ничего не слышал), то, вероятно, смысл был таков: я видел, как его толстые лапы, обхватив головы спорщиков, слили их рыла в поцелуй мира. После чего они одновременно вышли – словно два равных столпа, обрамляющих брюхо попа. Вместо одного главаря – целых три. Ничего не теряет народ, когда ссорятся главари.

* * *

Все они прошли, все возвратились в замок, где приготовлен был ужин заслуженный; а мы, дураки, ротозеи, продолжали стоять на площади вокруг невидимого котла, будто чувствуя запах вкусного. Чтобы наслаждаться, полней называли мы блюда. Нас было трое лакомок – Кишка, Б<a>лдахин и Персик, ваш покорный слуга. Мы смеясь переглядывались при каждом выкликаемом кушанье да локтем друг друга подталкивали. Одобрляли это, порицали то: можно было бы и лучше выбрать при содействии людей опытных; но все же мы избегли и школьных ошибок, и греха смертного; и в общем обед вышел на славу. Когда дело дошло до одного жаркого из зайца, каждый из нас объяснил свой способ приготовления; высказались и слушатели. Но тут вспыхнул спор (это вопросы жгучие; только черствые люди могут обсуждать их хладнокровно). Особенно был он оживлен между госпожой Периной и госпожой Попкой, которые обе готовят праздничные обеды в городе. Они соперницы. Каждая имеет своих сторонников, и за столом одна сторона пытается затмить другую. Великолепные схватки! В наших городах хорошие обеды – те же бои на копьях.

Но хоть я и любитель хитрых прений, ничто так не утомляет меня, как слушать повествование о чужих подвигах, когда я сам бездействую; и я не способен долго питаться соком собственных мыслей и запахом выдуманных блюд. Потому-то я обрадовался, когда Кишка (бедняга тоже страдал) наконец мне сказал:

– Если слишком долго о кушаньях рассуждать, становишься подобен любовнику, который бы слишком много о любви своей говорил. Мочи нет, ох, я близок к гибели, друг мой, пламенею, сгораю, внутренности мои дыматся. Пойдем-ка их поливать и питать зверя, который гложет мне чрево.

– Мы справимся с ним, – отвечал я. – Положись на меня. Против болезни голода лучшее средство – есть, говорили древние.

Отправились мы в трактир «Червонец» на углу Большой улицы. Теперь, в третьем часу пополудни, и думать нельзя было о возвращении восвояси. Мой друг, как и я, слишком боялся найти дома остывшую похлебку и вскипевшую жену.

День был рыночный, зала битком оказалась набита. У себя за столом в одиночестве есть как-то лучше, уютней. Но зато в тесноте среди веселых товарищей лучше ты ешь; итак, все всегда хорошо.

Долгое время мы оба молчали. Зато наши челюсти с хрустом и шелестом признавались в любви солонине с капустой, и она, розовея прелестно, благоухала и таяла. Потом – вина красного добрую кружку, чтоб рассеять туман перед глазами (в старину говорилось: есть, но не пить – себя ослепить). После чего с ясным взглядом и глоткой промытой я снова мог снисходительно глядеть на жизнь и на людей: они кажутся более прекрасными после того, как поел. За соседним столом поп заезжий сидел против старой откупщицы, которая к нему ластилась. Она нагибалась, говорила, вбирая, как черепаха, голову, а то, скрутив ее на сторону, поднимала к нему лицо с улыбкой приторной, словно на исповеди. Тот бочком слушал, но не слышал и на каждый поклон вежливо отвечал поклоном, не теряя, впрочем, ни одного глотка, и, казалось, говорил:

– Иди, дочь моя, *absolve te*[49]. Все грехи твои оставлены. Господь добрый. Я хорошо пообедал, ибо Господь добрый. И эта колбаса тоже очень недурна.

Немного поодаль сидел нотариус наш, Деловой[50], и говорил с собратом, толкуя о собственности, о добродетели, о деньгах, о политике, о договорах, о республике... римской (он республиканец только в стихах латинских; а в жизни – как и всякий осторожный мещанин – он верный слуга королю).

В глубине мой порхающий взгляд отыскал Петруху Кухаря в синей блузе, накрахмаленной круто, Петруху Гордеца, который, в тот же миг подняв глаза, воскликнул, встал, позвал меня (я уверен, что он меня видел с самого начала, но притаился, хитрец; он помнит, что не заплатил за два прекрасных поставца из орешника, которые я для него смастерил два года тому назад). Подошел он ко мне, поднес стакан:

– Все мое сердце, сердце мое вас приветствует...[51]

...Поднес еще один. –

– Чтоб ходить прямо, на обеих ногах ходить надо...

...Предложил мне пообедать вместе.

Он надеялся, что я, будучи сыт, откажусь. Но я, перехитрив его, сказал, что согласен. Что ж, долг платежом красен. И так, снова я начал, но ныне степенней, спокойней, чем прежде: голодная смерть мне уже не грозила. Мало-помалу покинули залу невежды, что наскоро жрут, словно звери, насытиться только желая. Лишь добрые люди остались, почтенные и даровитые: благо истину и красоту умеют такие ценить. Хорошее блюдо для них, что хорошее дело.

Дверь открыта была, воздух и солнце врывались; с порога три черные курочки, вытянув жесткие шейки, крошки клевали под ближним столом между лапами дряхлого сонного пса. С улицы звуки неслись: тараторенье женщин, стекольщика зов, да: «Рыбка, свежая рыбка...», да где-то по-львиному рычал осел. А дальше, на площади пыльной, два белых вола, запряженных в повозку, лежали недвижно, ноги поджав, с благодушным спокойствием жвакая; и лоснились бока их раздутые. На крыше, согретые солнцем, гулюкали голуби. И мы понимали их счастье. Так было нам всем хорошо, что казалось – погладь нас ладонью вдоль по спине, и мы станем блаженно мурлыкать.

Завязался общий разговор. Все мы были друзья, все братья, все равные: поп, кухарь, нотариус, товарищ его и трактирщица, отмеченная именем нежным (имя то: Целуйка. Она, впрочем, еще дальше пошла). Чтоб удобнее было беседовать, я переходил от одного стола к другому, присаживался тут и там. Говорили о политике. Мысли о черных временах только пополняют послеобеденную усладу. Все эти господа скорбно жаловались на нищету, на дороговизну, на безработицу, мрачно рассуждали о гибели Франции, об упадке племени нашего, о правителях, о притеснителях. Но предусмотрительно не называли имен. У великих мира сего и уши велики; того и гляди, из-под двери покажется кончик. Но так как у нас, бургундцев, истина на дне кружки, то друзья мои, разгораясь мало-помалу, решались поносить тех из хозяев наших, которые были подальше. Особенно попало итальянцам – мерзким блохам, которых наша королева, флорентийская девка дебелая, принесла с собой под полой. Если у себя в кухне вы найдете двух жадных псов, вашего и чужого, вы прогоните первого, но зашибете второго. Из чувства справедливости да из духа противоречия я сказал, что следовало бы карать обоих псов; слушая ваши рассуждения, говорил я, можно подумать, что во всем виноваты итальянцы и что только всего и есть плохого во Франции, что итальянское. На самом же деле у нас, слава Богу, немало других бед, немало других плутов.

Все в один голос ответили, что итальянский плут стоит трех наших, а что три честных итальянца не стоят и трети честного француза.

Я возражал:

– Здесь и там, где бы люди ни жили, звери все те же – один зверь не хуже другого, а хороший человек всегда хорош, живет ли он за горами или рядом сидит. И когда он сидит у меня, я радуюсь и сердечно люблю его, будь он и итальянец.

Тут они все напали на меня, насмехаясь, говоря, что вкус мой известен, называя меня Персиком вечно вертящимся, паломником, бродягой, Персиком пыльным, как придорожник...

Правда, в былые дни странствовал я немало. Когда добрый наш герцог, отец нынешнего, послал меня в Мантую и в Альбиссолу для изучения глазуренья и других искусств, пересаженных с тех пор на почву нашу, я не жалел ни чужих дорог, ни собственных ног. Расстояние от св. Мартына до св. Андрея Мантуанского прошел я пешком, с палкой в руке. Сладостно путь под ступней распутывать, приятно ощупывать тело земли. Но не следует слишком думать об этом: а то я, пожалуй, снова начну.

Зубоскалят они...

– Э, да что там – я галл. Я из тех, кто мир разграблял...

– Да ты что награл? – со смехом они говорят. – Что ты с собою унес?

– Столько же, сколько и галлы. Что видел я – тем и владею. Правда, карманы пусты, но голова всякой всячиной туго набита...

Господи, что за блаженство видеть, слышать, вкушать, а потом вспоминать. Все видеть, все ведать, – увы, невозможно; но возьми сколько влезет. Я словно губка, впитавшая весь океан. Или, вернее, – я гроздь винограда, пузатая, зрелая, полная чудного сока – сока земли. Какая б была выручка, если б ее выдавить! Нашли дурака, братцы. Выпью сам, никому не дам. Да, впрочем, вы пренебрегаете этим питьем. Что же, тем лучше. Не буду настаивать. Когда-то хотел я с вами поделиться теми крошками счастья, которые собрал я, – поделиться волшебными воспоминаньями о странах лучезарных. Но в нашем городке люди не любознательны. Самое для них занимательное – пронюхать, что делает сосед, а главное – соседка. «Остальное слишком далеко, не верю в него. Коль хочешь, пойдя погляди; а я столько же вижу и здесь. Дыра – позади, дыра – впереди, не станешь умней, хоть весь мир обойди».

Отлично. Пускай говорят. Заставлять никого я не буду. Не хотите – ну ладно; а виденное я оставлю у себя за веками, в глубине глаз. Зачем людям счастье дарить против их воли? Я поступаю умнее: иногда, живя с ними, я счастлив по-ихнему, иногда же – по-своему. Два счастья лучше, чем одно.

Вот почему, зарисовывая незаметно широкие ноздри Делового и рядом попа, который словно крыльями бьет, когда говорит, я слушаю и повторяю знакомый мне припев: «Что за радость, что за гордость родом быть из Клямси».

И я думаю так, чорт возьми. Хороший город, да иначе и быть не могло – он ведь создал меня. В нем растенье разумное вольно живет, соком обильное, без шипов и беззлобное, разве что злой у него язычок. Мы его хорошо заострили. Ничего – поноси ближнего, от него не убудет, он тем же ответит, лишь больше его ты полюбишь.

Деловой напоминает нам (и все мы, даже поп, чувствуем гордость) о спокойной насмешливости Нивернейца среди безумничанья остальных, о шеффене нашем, который отклонял одинаково и еретиков и католиков, Рим и Женеву, бешеных собак да волков, и св. Варфоломея, к нам приходившего мыть свои руки окровавленные. Все мы, сплоченные вокруг герцога нашего, образовали островок здравого смысла, о который волны разбивались. Умер старый герцог, умер и король Генрих – нельзя говорить о них без умиления. Как мы любили друг друга! Они, казалось, созданы для нас, а мы – для них. Разумеется, они, как и мы, не были безгрешны, но недостатки их человечески были и как-то сближали нас. Мы смеясь говорили: «Верь не верь, а не весь еще вышел Невер» или: «Год будет урожайный – детишки так и посыплются, старый волокита наделит нас еще сынком...»

Эх, лучшие денечки-то миновали. Любим мы о них говорить. Деловой звал герцога Людовика, я также. Но зато один только я видал короля. Я пользуюсь этим: не дожидаясь их просьб, начинаю рассказывать в сотый <раз>. Мне-то всегда кажется, что это впервой, им, надеюсь, тоже (коль душа в них французская), как явился он мне, король серенький, в шляпе серой, в серой одежде (локти насквозь торчали), верхом на сером коне, сероволосый, сероглазый, весь серый снаружи, внутри же – чистое золото...

По несчастью, вбежавший писец перебил меня, объявив нотариусу, что один из его клиентов при смерти и хочет его видеть. Тот нехотя отправился, но успел, однако, нас угостить рассказом, который он готовил вот уже целый час. Я заметил, как он вертел его на языке; но живо вставил свою собственную повестушку. Будем справедливы, – славный был рассказ, хохотали мы от души. В области шуток резвых Деловой не имеет соперников.

* * *

После чего, успокоенные, смягченные, омытые с головы до пят, мы все вместе вышли (было, вероятно, часов пять. Что ж, за эти три часочка судьба успела послать мне – кроме двух жирных обедов и нескольких веселых воспоминаний – заказ нотариуса на два баула)... Общество разбрелось, предварительно выпив по рюмке наливки черносмородинной у знакомого аптекаря. Там Деловой dokonчил рассказ свой, а потом пошел дальше с нами, желая услышать другой, и только у городских ворот расстались мы окончательно, да сперва постояли брюхом к стенке, отливаясь что есть мочи.

Так как было слишком поздно и слишком рано домой возвращаться, спустился я вниз к предместью. Угольщик рядом со мной шел за тележкой своей, звонко дую в рожок. Потом мне попался навстречу тележник: бежал и гнал перед собой колесо, и когда начинало оно

ковылять, подскакивал он, ударяя с размаху по ободу. Так бежишь–надрываешься за колесом торопливой Фортуны. Вот хочешь вскочить на него, а оно от тебя убегает. Я образ отметил, авось пригодится.

Меж тем приходилось решить, каким путем возвратиться – коротким или длинным. Пока я решал, из соседней больницы вдруг шествие выплыло с крестом во главе. Подпирая крест животом, держал его, словно копьё, мальчуган, ростом не выше ноги моей, собрату язык он показывал, косясь на верхушку святого шеста. За ним следом – старца четыре, растопыря опухшие красные руки, несли кое–как в гробу, простыней обернутом, беднягу уснувшего: он, хранимый попом, отправлялся доканчивать сон свой в земле. Из вежливости я его проводил до жилища. Вдвоем веселее идти. А кроме того, мне хотелось послушать вдову, завывающую рядом с попом, говорила она о последней болезни покойника, о том, как лечили его, и о том, как он сам умирал, о его добродетелях, телосложении, любви, о всей жизни его и о жизни супруги. Эта жалоба чередовалась с напевом церковным.

Мы, внимательно слушая, следовали; и по пути набирали сердца сочувственные и уши чуткие.

Наконец восвояси он прибыл – в обитель крепкого сна. Поставили гроб на краю могилы зияющей; и так как бедняк не имеет права уйти в рубахе своей деревянной (можно спать ведь и голым), предварительно сняв простыню и крышку от гроба, в яму свалили труп. Горсточку бросив земли, чтоб плотнее закутан он был, и перекрестившись, чтоб темные сны отстранить, ушел я, весьма собою доволен: все я видел, все слышал, с другими делил и веселье, и горе; раздулась котомка моя. Пора возвратиться. Я думал, достигнув слияния обеих рек, пойти бережком вдоль Б<е>врона – до самого дома; но был вечер так чуден, что я, незаметно от города все удаляясь, пошел за Ионной, волшебной влекущей. Спокойная гладкая влага струилась без складки единой на платье лучистом; взор мой был пойман, как рыба, крючок проглотившая; все небо запуталось вместе со мною в сетях чародейной реки. Оно в ней купало свои облака; те плыли, цепляясь за травы и за тростники; и солнце в воде умывало свои золотистые пряди.

Сел я близ старика, пасущего сонно двух тощих коров; справился я о здоровье его, совать посоветовал листья крапивы в чулки, чтобы ноги не ныли (порою не прочь я и знахарить). Поведал он весело мне свою повесть, болезни свои и несчастья, да слегка был обижен, что на пять или на шесть годков его я моложе считал (а было ему ровно семьдесят пять), – гордился он этим, гордился, что, дольше прожив, он больше имел испытаний. Он не дивился невзгодам, не дивился тому, что страдает и добрый и злой, – ведь зато улыбается счастье и добрым и злым без разбора. В конце–то концов, все равны: богатый и бедный, горбатый и стройный – все почивать они будут спокойно, на лоне Отца единого...

И думы, слова старика, его голос надтреснутый, и кузнечиков звон под травой, водоверт у плотины соседней, запах дерева, дегтя, струящийся по ветру с пристани дальней, влаги течение и тишь, нежные заблесты – все это вместе сливалось и таяло среди покоя прозрачного вечера.

Старик ушел, я один возвращался; руки сложив за спиной, потихоньку я шел, глядя, как выются круги по воде. Я был так поглощен хороводом видений на глади Беврона, что забыл, куда я иду и где нахожусь; и вдруг я так и подпрыгнул: с противоположного берега звал меня голос, голос, мне слишком знакомый. Я очутился, очнулся, у самого дома. Моя кроткая подруга – моя жена – мне кулак показывала из окна. Притворился я, что меня занимает быстрина, притворился, что я оглох; а между тем, шутя сам с собой, я глядел, как она металась, руками махала, стоя вниз головой в зеркале влаги речной. Я молчал, втихомолку смеялся, и брюшко подо мной перекачивалось. Чем больше смеялся я, тем глубже ныряло, пошатываясь, отраженье ее возмущенья; и чем больше клевала она головой, тем веселее смеялся я. Наконец она в ярости хлопнула всеми дверьми по очереди и как буря вылетела из дому с целью меня захватить. Слева ли? Справа ли? Как быть? Мы находились между двух мостов. Она выбрала тот, который был справа. И разумеется, когда я увидел ее на этом пути, взял я влево и вернулся по главному мосту, где как цапля Гадюка стоял, непоколебимый с самого утра.

Очутился я дома. А ночь на дворе. Однако как день–то летит. Я, к счастью, не Тит, этот лентяй, этот римлянин, который вечно жаловался, что теряет он время. Я ничего не теряю, доволен я своим днем... Но хотелось бы мне два таких или три иметь ежедневно; все мне мало. Только пить начинаю, а стакан мой уж пуст; трещина, что ли, на дне? Я знаю людей, которые долго прихлебывают и все кончить не могут. Или у них стакан глубже? Эй ты, содержатель трактира под вывеской Солнца, ты, день разливающий, лей мне полную меру. Впрочем, нет! Я, Боже, тебе благодарен, ибо Ты дал мне отраду иную: из–за стола я встаю голодным всегда и так люблю дневную лазурь и ночную мглу, что и той и другой мне все мало. Как ты летишь, апрель! Как ты спешишь, мой день! Ну, что ж. Насладился я солнцем, поймал я его, удержал. И я целовал твои малые грудки, девонька худенькая, весны дочь тщедушная...

Здравствуй, теперь твоя очередь, ночь. Беру я тебя. Мы будем рядышком спать. Эх, вот уж напасть – между нами ведь лежит другая... Старуха моя возвращается.

Ласка

Май

Три месяца тому назад мне дан был заказ – баул с высоким поставцем, для замка Ануанского; но я не мог начать работу, не рассмотрев хорошенько комнаты и в ней – места, ему предназначенного. Ибо такое изделие подобно яблоку в плодовом саду, оно бы не могло существовать без дерева; и каково дерево, таков и плод.

Не говорите же мне о той красоте, которая одинаково хороша и здесь и там, – о красоте, приспособляющейся ко всякой среде, словно корыстная девка. Это – богиня трущоб. Для нас искусство – свой человек, заботливый дух очага, друг, спутник, умеющий ясно выразить то, что смутно мы чувствуем все; искусство – наш домовой. Коль хочешь узнать его самого – узнай его жилище; бог создан для человека, а творение рук человеческих – для того места, которое оно может украсить и заполнить. Красота – это то, что всего прекраснее на своем месте.

Итак, я пошел осматривать будущую обитель создання моего; там я провел большую часть дня, там я пил и питался: да не отвлечет тебя творческий дух от требований плоти. Оба они, и тело и дух, насытились, успокоились, и я, выйдя на дорогу, отправился бодро домой.

Достиг я уже перекрестка, и хотя, бесспорно, мне было известно, по какому пути следовало пойти, а покосился я на другую дорогу, струящуюся через поля, меж цветущих изгородей.

«Как было бы сладко, – шепнул я себе, – вон там побродить! К чорту большие дороги, ведущие прямо к цели! Солнечен, долог день. Зачем же, мой друг, опережать Аполлона? Дом от тебя не уйдет. А старуха пускай подождет – язычок ее не отпадет. Боже, как радуется глаз вон сливное то деревцо белокрылое... Пойдем-ка навстречу ему, ведь путь недалек. Вот подул ветерок – и с него, как снежок, посыпались перышки; сколько щебечущих птиц! Благодать, благодать великая! А вот ручеек, мурлыкая, скользит, полускрытый травой, словно котенок, играющий мягким мотком под ковром! А мы следом пойдем. Вот занавеска листвы дорогу ему преграждает. Ручеек-простачок попадет! Э, да куда же он юркнул, хитрюга? Здесь он, вот здесь, под ногами опухшими и узловатыми этого старого лысого вяза. Какова проказа! Но куда же, куда ты, дорога, меня приведешь?..»

Так болтал я, идя по пятам своей тени, игривый; и я притворялся – о лицемерный! – что не знаю, в какую сторону меня увлекает тропинка задорная. Как ты лжешь хорошо, Николка! Ты искусней Улисса, ты надуваешь себя самого. Ты ведь знаешь, куда направляешься. Ты знал это, плут, с той минуты, как замок покинул. Вон там, в версте отсюда, живет – любовь нашей юности, Ласка. Мы ее удивим... Но кто из двух удивится сильнее? Ведь столько лет прошло с тех пор, как я ее видел! Что осталось теперь от лукавого личика, от мордочки тонкой моей Ласки? Теперь-то могу я встретиться с ней без опаски; уж сердце мое она не станет грызть-разгрызать зубками острыми! Сердце мое высохло, как старая лоза виноградная. Да и есть ли у нее зубы еще? Ах, Ласка, Ласочка, как умела смеяться, кусаться ты! Как играла ты бедным Персигом! По воле твоей он вертелся волчком, винтовал, извивался. Что ж! Коли весело было тебе, поступила ты правильно. И осел же я был!..

Снова я вижу себя, ротозея: локти расставив, опираюсь руками о край рубежной стены мастера Ландехи, меня научившего благому искусству ваяния. А с другой стороны, в большом огороде, смежном со двором, нам мастерскую служащим, меж грядок земляники и латука, редисок

розовых, огурцов зеленых, дынь золотистых – ходила высокая, ловкая девушка: ноги босы, обнажены руки и шея ее, тяжелые рыжие волосы, да короткая юбка, да сорочка сырцовая, сквозь которую рисуются острые, твердые груди, – вот и вся одежда ее. Несла она в загорелых и крепких руках две лейки, полных воды, раскачивая их над листовными головками растений, раскрывших крошечные рты. И я тоже разинул рот – отнюдь не крошечный. Так ходила она, выливая лейки свои, потом шла к колодцу их наполнять, опускала зараз обе руки, как тростник разгибалась и опять возвращалась, осторожно ступая по мокрой земле борозды, словно ощупывая длинными чуткими пальцами ног ягоды зрелые крупной клубники. У нее были круглые, крепкие колени, как у юноши. Я съедал ее глазами. Она, казалось, не замечала моего взгляда. Но она приближалась, разливая дождичек свой; и когда оказалась совсем рядом, внезапно стрельнула глазом...

Ай, я чувствую, как опутывают меня частые сети этих озер. Как верно сказано: «Пауку подобен женский взор».

Попав в западню, стал я биться. Но поздно уж было! Я, словно глупая муха, прилип к своей клейкой стене.

Она больше мною не занималась. На корточках сидя, она щипала капусту. Но порою лукавица косилась в мою сторону, убеждаясь в том, что добыча попалась. Я видел – злорадно она зубоскалила, и напрасно себе говорил я: «Друг мой бедный, ступай – она над тобой издевается». Видя усмешку ее, я посмеивался тоже. Ну и рожа была у меня, дурацкая рожа!.. Вдруг девица в сторону – прыг! Переметнулась через одну грядку, другую, третью, бежит она, скачет, ловит на лету цветень одуванчика, проплывающий мягко по воздушным ручьям, и, руками махая, кричит, на меня глядя:

– Вот и еще влюбленный пойман!

После чего она сунула челнок–пушинку в пройму сорочки, между грудей. Я же хоть и дуралей, да не из числа унылых влюбленных, я крикнул ей: «Суньте и меня туда же!» Тут она расхохоталась и, подбоченясь, ноги расставив, глядя мне прямо в лицо, отвечала:

– Ишь ты, сладстена какой! Нечего зубы точить на яблоки мои наливные...

Так случилось, что под вечер, в конце августа я встретил ее, Ласку, Ласочку, садовницу прекрасную.

Лаской звали ее потому, что у ней, как и у зверька узкомордого, было длинное тело и маленькая голова, с лукавым пикардийским носом, со слегка выдающимся ртом, широким, смешливым, резким, предназначенным грызть сердца и орешки. Но та нить–паутина, которой тенетница рыжая людей оплетала, извлекалась из глаз ее – сумрачно синих, как даль грозная ведряного дня, – да из углов ее нежно–русалочных, веселых, язвительных губ.

Отныне, вместо того чтоб работать, я день–деньской ротозейничал на стене своей, покамест нога хозяина, пинком в пепеки[52], не заставляла меня возвратиться на землю. Иногда же Ласочка кричала,

потеряв терпенье:

– Ну что, досыта оглазел, спереди, сзади? Чего еще не видал? А ведь пора тебе знать меня!

Я же, хитро подмигнув, говорил:

– «Непрозрачна дыня, непрозрачна и женщина».

И хотелось же мне ломоть себе отрезать!.. Быть может, и плод из иного сада пришелся бы мне по вкусу. Я был молод, резвилась кровь, влекли сердце мое все красавицы подлунные; ее ли я любил? Бывают в жизни дни, когда, кажись, волочился бы за козой в кружевной наколке. Нет, нет, ты кощунствуешь, Николка, ты не веришь сам тому, что говоришь. Первая полюбившаяся – вот истинная, вот единственная, нам предназначенная: звезды ее создали ради нашей услады. Но я не испил из чаши ее, и вот поэтому, верно, меня жажда мучит, жажда вечная, неуголимая.

Как мы понимали друг друга! Только и делали мы, что друг друга раздраживали. У обоих остер был язык. Она поносила меня, я же за каждую осьмушку высыпал четверик. На, выкуси!

Часто смеялись мы до упаду, и она, злую шутку смакуя, наземь бухалась, над грядкою скрючивалась, точно желая согреть свои репы и луковицы.

Вечерком она приходила поболтать у стены моей. Вижу я вновь, как она, и смеясь и болтая, дерзкими ищет глазами в глазах моих недуг мой страстный, пытаюсь заставить его простонать; вижу, как, руки подняв, к себе тянет она ветвь вишенины, всю в красных подвесках; вокруг ее рыжих волос они образуют венец прихотливый, и, вытянув шею, лицо приподняв, она, не срывая плодов, их клюет, оставляя висячие косточки. Образ мгновенья, совершенный и вечный, юность, жадная юность, губами дразнящая сосцы неба! С тех пор сколько раз вырезывал я на дереве, в виде узора гроздистого, изгиб этих рук прекрасных, шеи, груди, ненасытного рта, головы запрокинутой!.. А тогда, перегнувшись через стену мою, вытянув руку, схватил я порывисто, оторвал эту ветку, прильнул к ней губами, стал жадно обсасывать влажные косточки.

* * *

Мы встречались тоже по воскресеньям на гулянках, в Веселом Погребке. Мы плясали: я проворен был, как чурбан; но любовь даровала мне крылья: любовь учит, говорят, и ослов плясать. При этом мы с ней, как помнится, ни на миг не переставали браниться... Как меня вередила она, как щедро отпускала ядовитые шутки насчет носа моего кривого, зияющей ртины, в которой, говорила она, можно было бы испечь пирог, и всего облика моего, сотворенного, как уверяет поп, по образу Бога. (Если это так, – ну и посмеюсь же, когда увижу Его.) Ни на минуту не отставала она. Но и я не был ни зайкой, ни калеккой.

Игра длилась, и мы начинали, чорт возьми, горячиться... Ты помнишь,

Никола, осенние сборы на винограднике Ландехи? И Ласка там работала. Мы стояли рядом, склоняясь среди лоз. Головы наши почти прикасались, и порою рука моя, срывая ягоды, случайно дотрагивалась до бедра ее. Тогда она поднимала лицо свое зардевшееся; словно молодая кобыла, меня лягала она, а то нос мне подкрашивала виноградным соком; и я, не отставая, черную тяжелую гроздь норовил расквасить на шее ее золотистой, опаляемой солнцем... Она защищалась яростно. Тщетно упорствовал я, ни разу мне не удалось совладать с нею. Мы следили друг за другом. Она раздувала огонь и, усмехаясь, глядела, как я пламенел.

– Ты меня не поймаешь, Николка...

А я, с видом невинным, притаюсь на стене, будто раздувшийся кот, что дремлет притворно, сквозь узкие щелки полураскрывшихся век наблюдая за пляшущей мышкой, – я заране облизывался:

– Ничего, я еще посмеюсь.

Помнится, как-то в полдень, на исходе мая (было тогда гораздо жарче, чем теперь в том же месяце), стоял нестерпимый зной. Небо, подернутое белизной, обдавало дыханьем горячим, словно открытая хлебная печь; в этом гнезде прикурнув, уж больше недели гроза, тужась, наседала, но все понапрасну. Таяло все от жары; рубанок мой плавился, к ладони мой коловорот прилипал. Не слыша голоса Ласки, которая только что пела, глазами искал я ее. В саду – никого...

Вдруг примечаю ее – вон там, на ступени, под тенью лачужки. Дремала она, рот открыв, голову свесив назад. Одна рука праздно висела вдоль лейки. Так ее сон опрокинул с налету. Беззащитная, полунагая, лежала она, как Даная, распростертая сонно-блаженно под пламенным небом. Я себя Юпитером вообразил. Перелез я через стену, раздавил мимоходом листы капусты и латука, в охапку схватил ее, жадно стал целовать; она была теплая, голая, влажная; она отдавалась мне, дремотная, сладостно-томная. Глаза ее были закрыты, губы искали моих губ и возвращали мне поцелуи. Что произошло во мне? Какое странное уклонение! Неистовое желание так и переливалось по жилам моим; я был опьянен, я сжимал это сладострастное тело; желанная добыча, жареный жаворонок – прямо в рот мне попал. И вот (о глупец!) я уже не смел взять ее. Не знаю, что за глупое сомненье нашло на меня. Я слишком любил ее. Мне больно было думать, что я держал тело, связанное сном, а не душу ее, и что торжествую исподтишка над моей гордой садовницей. Я оторвался от счастья, разъединил губы и руки наши, расторгнул узы, сковавшие нас. Нелегко это было: мужчина – пламя, женщина – пакля; мы оба горели, я дрожал и отдувался, как и тот дурень, который победил Антиопу. Наконец я восторжествовал, т. е. – удрал. Прошло с тех пор тридцать лет, а все же, вспомнив, краснею. Эх, сумасбродная юность!.. Как приятно передумывать прежние промахи, и как дорого это сердцу стоит! С этого дня она стала по отношению ко мне прямой ведьмой. Чудачлива, как три стада беснующихся коз, переменчива, как облака, она то уязвляла меня оскорбительным презрением, то обстреливала томными взглядами, улыбками заманчивыми; спрятавшись за дерево, она метила комом земли, который невзначай расплющивался у меня на затылке, или же – бац по щипцу! – попадала в

меня сливяной косточкой, когда я воздух обнюхивал. И притом она на гулянках кудахтала, кукарекала, калякала с кем попало. А худшее было то, что она, пытаясь вконец мне досадить, надумала на крючок посадить молодца моего же пошиба, лучшего моего товарища, по прозвищу Пинок. Он и я, мы были словно два пальца одной руки – Орест и Пилад. Не было такой драки или попойки, где б одного без другого видели, действующего либо челюстями, либо кулаком. Он был жилист, как дуб, коренаст, твердоплечий и твердоголовый, прямой на словах и на деле. Он убил бы всякого, кто вздумал бы на меня напасть. Её-то она и выбрала, чтоб повредить мне. Это ей было нетрудно. Достаточно четырех вкрадчивых взглядов да полдюжины ужимок обычных. Напускать на себя вид невинности, томности, дерзости, усмехаться, шушукать, миндальничать, моргать, мерцая ресницами, зубки показывать, губу то прикусывать, то язычком заостренным облизывать, шеей вертеть, на ходу извиваться, да задом подпрыгивать, как трясогузка, – вот вековые приманки дочери змия – не устоишь перед ними! Пинок же утратил свой слабый рассудок. С тех пор мы оба торчали рядком на стене и, как в бреду задыхаясь, следили за ласицей. Мы уже молча кидали друг на друга яростные взгляды. Она же огонь мешала и, чтоб он бойче горел, порой орошала его ледяной струей. Я хохотал до упаду, несмотря на досаду. Но Пинок, точно конь ретивой, копытом бил землю, вернувшись на двор. Он чертыхался неистово, проклинал, угрожал, бушевал. Он был не способен понять шутку, если только не он ее сочинил (и, кроме него, никто в этом случае не понимал ее; он же хохотал за троих). Кокетка меж тем наслаждалась, как муха в меду, так и впивая любовную ругань; грубый этот подход не в моем был вкусе; и хотя галлианка лукавая, девица задорная, была ближе ко мне, чем к этому жеребцу, который ржал, дыбился, лягался, бзырял, она, прельстясь жестокой забавой, только и делала, что метала на него обещающие взгляды, манила улыбками. Но когда приходилось исполнять обещанья свои и когда уже дуралей, бахвал, собирался взбежать на вал, она смеялась ему в лицо, и он уходил с носом. Я, разумеется, смеялся тоже; и Пинок, негодуя, обрушивался на меня; он подозревал, что я исподтишка украл красавицу. Дошло до того, что однажды он без обвиняков потребовал, чтобы я уступил ему место. Я кротко сказал:

– Брат, только что я хотел тебя попросить о том же.

– Ну что ж, брат, – сказал он, – придется подраться.

– Я об этом думал, – ответил я, – но верь, Пинок, тяжело мне это.

– Не легче и мне, друг Персик. Ступай же, прошу тебя: довольно одного петуха в курятнике.

– Справедливо, – согласился я. – Ну вот и уходи: ведь курочка-то моя.

– Твоя? Врешь ты все, мужик, трухомет, гнилоед! Она моя, я держу ее, и никто другой ее не слопаёт.

– Мой бедный друг, говорю, ты разве себя самого не видел? Рожа ты глупая, неотесанная, тебе бы редьку жрать; а пирожок этот редкий мне

принадлежит; он мне нравится, он как раз мне по вкусу. Не поделюсь я с тобой. Ступай брюкву выкапывать.

За угрозой угроза – глядь, и недалеко до побоев. Все же жаль нам было, очень уж друг друга любили мы.

– Послушай, – сказал он, – оставь ее мне, Персик, ведь полюбился–то ей не ты, а я.

– Рассказывай... я, а не ты.

– Хорошо, порасспросим ее. Лишний удалится.

– По рукам! Пусть выбирает.

Да, но вот поди же обратись с таким вопросом к женщине. Слишком приятно ей длить ожиданье, позволяющее ей мысленно брать любого, и не брать ни того ни другого, и вертеть, вертеть на огне вздыхателей... Невозможно поймать ее!

Когда мы ее спросили, Ласка отвечала нам взрывом хохота. Воротились мы в мастерскую, скинули куртки.

– Ничего не поделаешь. Один из нас должен околеть.

Перед тем чтоб схватиться, Пинок мне сказал:

– Чмокнемся.

Мы поцеловались дважды.

– Теперь начнем!

Дело закипело. Мы не скупилась: крупная была ставка. Карась [53], бухая кулаком, норовил надвинуть мне череп на глаза; а я коленком въезжал ему в брюхо. Никто, как друзья, не умеет так хорошо враждовать. Через несколько мгновений мы уже были в крови; и рудые ручьи, что бургонское, из носу били... Я уж не знаю, чем бы все это кончилось; верно, один у другого так–таки отнял бы шкуру, если бы, к счастью, соседи столпившиеся и мастер Ландеха, который домой возвращался, нас не разняли. Нелегко это было: освирепели мы, словно цепные псы; пришлось нас бить, чтобы заставить друг друга выпустить. Ландеха взял кнут кучерской: высек он нас, отхлестал, потом разговаривать стал. После крепкой драки чувствуешь себя мудрецом; гораздо легче рассудка слушаться. Не особенно гордо мы друг на друга глядели. И тут подоспел третий плут.

Иван Блябла [54] был жирный мельник, бритый и рыжий. Щеки его были так вздуты, а глаза так малы, что казалось, он вечно дует в рожок.

– Хороши петушки! – сказал он, ослабясь. – Чего вы добьетесь, когда ради курищи этой вы друг у дружки отхватите гребешочки да почки? Ни шиша! Как она хороша, как она хорохорится, пока вы здесь ссоритесь! Еще бы: приятно ведь женщине тащить за собой целое стадо ярых

влюбленных... Вот вам добрый совет, ничего за него не возьму: помириться да плюньте, сыночки, – она ведь смеется над вами. Спиной повернитесь к ней и ступайте вы оба. Очень ей будет досадно. Хошь не хошь, а придется ей выбрать, и увидим тогда, кого любит она. Ну-ка, рысью, айда! Отрубай, что болит! Смелее! Доверьтесь мне, братцы! Пока пыльные ваши подошвы будут таскаться по дорогам большим – я здесь буду, друзья... Остаюсь, чтобы вам услужить: брат брату должен помочь. Буду следить за красоткой, буду вас извещать о жалобах сердца ее. Как только она решится, я тотчас дам знать счастливцу; другой же пусть удавится. А теперь пойдём пить! Пить да пить – значит жажду и память и пыл утопить.

Мы так их хорошо потопили (мы пили, как губки), что в тот же вечер, выйдя из кабака, мы собрали свои манатки, взяли посохи; и вот потекли мы в путь, в ночь безлунную, ушли мы, дурни, зады торжественные, и умиленно благодарили доброго Бляблу; а он, подлец, как сало сиял, и глазки его под жирными веками хихикали.

На следующий день мы уже меньше гордились собой. Не признавались мы в этом, тонко лукавили. Но каждый тужился, тужился, не в силах уже понять удивительное это средство: бежать, дабы победить.

По мере того как солнце скатывалось с круглого неба, мы все больше и больше чувствовали себя простаками. Завечерело; мы наблюдали друг за другом, небрежно о погоде болтая, и думали про себя: «Как славно говоришь ты, дружище! И хотелось бы тебе улизнуть незаметно! Не удастся, брат. Я слишком люблю тебя, чтобы оставить тебя одного. Куда бы ни пошел ты (я знаю, надуть ты горазд!), я за тобою последую».

После многих хитростей лисьих, когда ночью, притворно храпя, мы лежали на соломе, терзаемые страстью и блохами, Пинок вдруг вскочил и воскликнул:

– Двадцать чертей! Я горю, горю, горю! Нет мочи ждать! Иду обратно.

И мой ответ был:

– Идем.

Мы потратили день целый на то, чтобы вернуться восвояси. Солнце садилось. Мы таились, пока совсем не стемнело, в лесу. Не очень-то нам хотелось, чтобы видели наше возвращение: задразнили бы нас. И притом льстила нам мысль ненароком явиться к Ласке, найти ее сетующей, одинокой, плачущей, себя укоряющей: «Ах, зачем ты ушел, друг сердечный?» Что грызет она ногти да вздыхает – это конечно, но кто же был милый? Каждый из нас отвечал: «Я».

И вот, бесшумно вдоль сада ее проползая (щекотала нам сердце тревога глухая), под открытым окном ее, влажной луной облитом, мы увидели вдруг, что на яблонной ветке висит... Что?.. Как вы думаете?.. Яблоко?.. Нет – шапка мельника!.. Что рассказывать дале? Слишком приятно было бы вам, добрые люди. Ох, я уже вижу, как вы, шутники, зубоскалите!.. Горе соседа – ваша забава. Рогачам приятно, когда

умножается братия.

Пинок разбежался и подскочил, как олень (у оленя он и украл украшение); ухватился за яблоню, скинув плод, убеленный мукой, перелез через стену, в комнату внедрился, и оттуда тотчас слышались крики, вопли, телячье мычанье да ругань.

– Чорт тебя гни, чорт тебя май, подлец, скопец, караул, бьют, караул, хорь, холуй, хахаль, холера тебе в кишки, я те всыплю, елки зеленые, зад распорю, на тебе, на тебе, харя хвостатая.

И треск и затрещины. И хлоп! И хряп! Трататах! Стекла трах, посуда вдребезги, девка визжит, олухи лаются, стулья валяются, тела катятся, сумятица... Не мудрено, что на эти адские звуки (сзывайте, трубы!) сбежался весь околоток! Я до конца не остался. Довольно с меня было. Ушел я тем же путем, что пришел, смеясь одним глазом и плача другим, повесив уши и нос задрав.

– Однако, Николка, – говорил я себе, – легко ты отделался!

Но в душе Николка жалел, что не попался на удочку. Я старался подшучивать, вспоминал суматоху, передразнивал мельника, девку, осла, выпускал горедушные вздохи...

«Ах, как это забавно! Ах, как сетует сердце мое! Ах, помру, говорил я, со смеху...» Нет, с тоски. Еще бы немножко, и по прихоти гадины этой я бы оказался под вьюком презренным брака. Ах, если бы случилось так! Пусть изменяла бы она, а все же была бы моей! Сладко быть хоть ослом своей милой. – Далила, Далила! Отрада и дыра!..

Две недели подряд я так маячил между желанием смеяться и желанием ныть. Я, кривоносый, в себе совмещал всю древнюю мудрость – Гераклита плаксивого и Демокрита веселого. Но люди безжалостные смеялись надо мной. Были часы, когда при мысли о милой я способен был удавиться. Часы эти длились недолго. К счастью! Любить, спору нет, прекрасно; но, ей-Богу, друзья мои, не стоит ради любви умирать! Предоставим это рыцарям мечтательным и учтивым. Мы же, бургонцы, не годимся в герои сказочные. Мы живем, живем. Когда нас на свет производили, никто не спросил у нас, никто не осведомлялся – желаем ли жить; но раз я уже попал сюда, остаюсь я здесь, чорт возьми. Мир нуждается в нас... А может быть, и наоборот: он нам нужен. Хорош ли он или плох, – а выставишь нас только силой. Коль вино разлито – так пей. Выпью – еще выжму из виноградников сочных!

У нашего брата досуга нет помирать. А страдать и мы умеем, нечего вам этим кичиться. В продолжение нескольких месяцев я, как пес, скулил. Но время – перевозчик, слишком тяжелые горести наши оставляет на том берегу. И ныне сказать я могу:

– Это ведь все равно, как если б имел ты ее...

Ах, Ласка, Ласочка! Нет, на самом-то деле я ее не имел. Он, Блябла, этот требух, пузогной, мешок мучной, рожа тыквенная, подтыкает, ласкает ласицу мою вот уж тридцать лет... Тридцать лет!.. Уж теперь

он, пожалуй, вдоволь наелся. Впрочем, как мне говорили, пресытился он на второй уже день после свадьбы. Проглоченный кус стал казаться обжоре невкусным. Если б не кавардак ночной, если б кукушка в гнезде не попалась (и орал же Пинок!), блюдолиз никогда бы не сунул толстого пальца в колечко узкое... Ах, Гименей, Гименей! Вот и сидит в дураках! Ты тоже, Ласка: ибо мельник озлобленный на тебе вымещает досаду. Но как-никак я пострадал больше всех. Что ж, Персик, смейся скорей; смейся (забавно, ей-ей) над собою, над ним и над ней...

И, продолжая смеяться, вдруг я увидел в двадцати шагах от себя, при повороте просади (ужели болтал я два часа сряду, о Господи!), домик знакомый, с красною крышею, с зелеными ставнями, домик молочно-белый; виноградные лозы его наготу прикрывали змеиным извивом своих целомудренных листьев. И перед дверью открытой, под тенью орешника, над колодиной каменной, где шелестела, блестела вода, стояла склоненная женщина; узнал я ее (хоть многие годы были меж нами), узнал я и замер...

Ах, если б мог, убежал. Но меня увидала она, и вот в лицо мне смотрела, продолжая воду черпать. И я заметил, что вдруг и она меня вспомнила... Не подала она виду, слишком много было в ней гордости, но ведро из рук ее вылилось обратно в колодец. И сказала она:

– Бродяга беспечный, куда же ты вдруг поспешил? Постой...

Я же в ответ:

– Разве меня ты ждала?

– Я? Ничуть, очень мне нужен ты!

– Что же, и мне дела нет до тебя, а все-таки как-то приятно...

– Да и ты не мешаешь мне...

Торчали мы друг против друга, руками покачивая; и друг на друга глядели, хоть это нам было нестерпимо тяжело.

В колодце все булькало ведро.

– Входи же, – сказала она, – время-то ведь есть у тебя?

– Две-три минутки найдутся. Я тороплюсь немного.

– Незаметно что-то... Зачем же сюда ты пришел?

– Зачем? Да так, невзначай... – твердо ответил я, – прогуливаюсь.

– Разбогател, знать?

– Я богат – да не золотом, а мечтами.

– Перемены нет, – сказала она, – все тот же ты сумасброд.

– Кто родился безумным, безумцем помрет.

Вошли мы во двор. Она прикрыла дверь. Мы стояли одни среди кудахтавших кур. Все работники были в поле. Не то стараясь смущенье скрыть, не то привычке следуя, она нашла нужным затворить или отпереть (я уж точно не помню) дверь чердака и побранить пса. И я, чтобы развязным казаться, стал говорить о хозяйстве, о курах, о голубях, о петухе, о собаке, о кошке, об утках, о свинье. Перечислил бы я весь Ноев ковчег! Но она вдруг прервала:

– Персик!

У меня захватило дыхание.

Она повторила:

– Персик!

И мы друг на друга взглянули.

– Поцелуй меня, Персик...

Я просить себя не заставил. Когда стар уже, это вреда не приносит; хоть нет и отрады большой (нет, отраднo всегда). Глаза зачесались, когда я почувствовал у себя на щеке, на старой жесткой щеке, ее старую сморщенную щеку. Но я не заплакал, – вот еще глупости!.. Она мне сказала:

– Ты колешься.

– Что же делать, – я отвечал, – если бы мне утром сказали, что я поцелую тебя, я бы побрился. Борода моя мягче была – тридцать пять лет тому назад, когда мне хотелось (а ты не хотела), когда мне хотелось, пастушка моя (ах, тронь, тронь, тронь, девочка, огонь...), ее потереть о твою ладонь.

– Ты еще думаешь, видно, об этом? Да?

– Нет, нет, никогда...

Мы взоры скрестили, смеясь, – посмотрим, кто первый опустит глаза!

– Гордец, строптивец, упрямая башка! Как ты был на меня похож, – сказала она. – Но ты, серко, все не хочешь состариться. Что таить, друг мой Персик, не стал ты казистей, у тебя под глазами мешочки, нос твой раздулся. Но ты ведь всю жизнь был лицом непригож, нечего было терять тебе, ничего ты и не потерял. Ни одного даже волоса, жмотик ты этакий! Разве только щетина твоя посерела местами.

Я сказал:

– Голова шальная, ты знаешь, никогда не белеет.

– Эх, подлецы мужчины, вам все нипочем, вы прохлаждаетесь. Но мы

стареет, мы стареем за вас. Ведь я развалина! Увы, то тело, что было так крепко и нежно на вид, и еще нежнее на ощупь, те бедра, и грудь, и румянец, красота моя сочная, что нетронутый плод... где это все и где я сама, где потерялась? Разве в толпе ты узнал бы меня?

– Я, не глядя, узнал бы, среди всех.

– Да, не глядя, а если б глядел? Посмотри – щеки впали и выпали зубы, нос заострен, удлинен, глаза покраснели, шея поблекла, груди обрюзгли, живот изуродован...

Я сказал (хоть все это давно я заметил):

– Белая ярочка никогда не старится.

– Да разве не видишь?

– У меня глаза зоркие, Ласка.

– Ах, куда ж завернула ласочка, ласка твоя?

Я ответил:

– «Вот он юркнул, зверек, в веселый лесок». Он притулился, он скрылся – в самую глубь. Но я все вижу его, вижу тонкую мордочку, хитрые глазки, что следят за мной и манят в норку.

– Небось, ты в нее не войдешь, – сказала она. – Лис, разжирел ты на диво! Что-что – а любовное горе тебя похудеть не заставило.

– Горе нужно питать, – ответил я.

– Так пойдем же, покормим детище.

Мы вошли в дом и сели за стол. Хорошенько не помню, что ел и что пил – было сердце иным занято, но, как-никак, я не зевал. Облокотившись на стол, она наблюдала за мной; потом спросила, труня:

– Ну что ж, поубавилось горя?

– Песенка есть, – сказал я. – В теле пусто – душа тоскует; насмаковался – душа ликует.

Молчали ее тонкие и насмешливые губы, а я хлыщом таким представлялся, городил ералаш, но глаза наши встречались, полные прошлого.

– Персик! – вдруг сказала она. – Знаешь что? Никогда не говорила, а теперь скажу, раз это больше ничего не значит: ведь любила-то я – тебя.

– Знал, – ответил я, – всегда знал.

– Знал, негодяй? Что же ты не сказался?

– Из любви к спору перечила бы ты мне, отрицала.

– А тебе–то что? Ведь думала я иначе. Целовал бы ты губы мои, а не слушал, что говорят они.

– В том–то и суть, что твои–то губы не только слова говорили. Мне это узнать довелось, когда я, в ночи, Бляблу нашел у тебя на печи.

– Твоя вина, – отвечала она, – печь топилась не для него. Конечно, и я была виновата; но зато понесла наказание. Ты, всезнайка, однако, не знаешь, что мельника я оттого выбрала, что бегство твое разозлило меня. Ах, как сердилась я! Сердилась с тех пор, как (помнишь?) ты мной пренебрег.

– Я пренебрег?

– Да, повеса. Вошел ты в мой сад, чтоб плод сорвать, пока я дремала, а потом с презрением оставил его на сучке.

Заволновался я, стал объяснять. Она перебила:

– Поняла, поняла. Не старайся так! Глупая тварь! Я уверена, что если бы сызнала...

– Было бы то же, – сказал я.

– Дурень! Потому–то тебя и любила я. В наказание решила я мучить тебя. Я не думала, что ты (о глупость, о трусость) удержешь от крючка, вместо того чтобы его проглотить.

– Благодарю! – сказал я. – Рыбка любит приманку, да жаль живота.

Тогда, улыбаясь хитро, не мигая:

– Когда мне сказали, что вы деретесь и что он, эта скотина – как бишь его? – тебе голову отгрызает (я в это время белье полоскала на речке), из рук моих выскочил и поплыл по теченью валец (с Богом, челнок!), и, путаясь в мокром тряпье, расталкивая кумушек, я побежала, босая, понеслась, задыхаясь, и чуть не кричала тебе: «Персик, да что ты, с ума сошел? Я ведь люблю тебя! Что же будет, когда этот волк отхватит лучшую, может быть, часть твою? Не хочу я мужа такого – изрубленного, вывороченного. Хочу целого...» Ай, люли, люлюши–люли, ведь пока хлопотала я так, уж голубчик мой канул в кабак, как ни в чем не бывало, а потом позорно, позорно бежал от овечки под ручки с волком! Я тебя проклинала, Николка! Когда, старик, я вижу тебя, когда ныне вижу тебя и себя, мне все это кажется очень смешным. Но тогда, дружок, я б охотно тебя общипала, живым бы зажарила; вместо тебя я себя, злясь и любя, наказала. Подвернулся тут мельник. И, в сердцах, я взяла его. Не тот осел, так другой. Не пустовала б обитель. Ах, что за месть! О тебе я все думала, в то время как он...

– Да, я слушаю!

– ...в то время как он мстил за меня. Я думала: «Пусть вернется теперь. Трещит ли башка у тебя? Персик, доволен ли ты? Пусть возвращается, пусть!..» Увы, ты слишком скоро вернулся... Остальное известно тебе. С дурнем этим я на всю жизнь была связана. И осел (кто, он или я?) остался на мельнице.

Смолкла она. Я спросил:

– Ну что ж, хорошо ль там живется тебе?

Она плечом повела:

– Не хуже, чем всякому.

– Чорт возьми! – я воскликнул. – Тогда этот дом сущий рай!

Она рассмеялась:

– Ты прав, гультай.

Говорили потом о другом, о посевах, о людях, о семье, о скоте. Но, как ни старались, все к одному возвращались. Я думал было, что ей хотелось узнать мелочи жизни моей, домашние дрязги, но вскоре я понял (о любопытство женское!), что она на этот счет знала почти столько же, сколько и я. Так, помаленьку, болтали мы о том и о сем, вправо и влево, в гору и под гору, бесцельно, беспечно, лишь ради каляканья. Потом перешли на галушки шипучие, сальные: перебивали друг друга, сломя шею спешили. И нужды не было напирать на слова; не успевали они из печи выскочить, как уже были проглочены.

Насмеявшись вдоволь, я вытирал глаза, как услышал, что на колокольне бьет шесть.

– Однако, – сказал я, – мне пора.

– Посиди еще, Персик, время есть.

– Нет, того и гляди, муж твой вернется. Видеть его не хочу.

– А я–то! – подхватила она.

Из окошка видать было поле. Оно уже на ночь рядилось: пальцы вечернего солнца золотой пылью осыпали дрожащие шейки былинки бесчисленных. По гладким галькам прыгал ручей. Корова лизала ветловую ветку. Неподвижно две лошаденки мечтали в лучистой тиши: одна, вороная, со звездой на лбу, положила голову на спину к другой – серой в яблоках. Вливался в прохладный дом запах золотого навоза, солнца, сирени, травы неостывшей. И в сумерках комнаты, глубоких, сочных, слегка отдающих прелью, поднимался из каменной чаши, зажатой в руках моих, аромат задушевный бургонской наливки смородиновой. И воскликнул я:

– Как хорошо тут!

Она мою руку схватила:

– И могло бы так быть всякий день.

Но я отвечал (не затем я пришел, чтоб ее заставлять сожалеть):

– А знаешь, Ласка, в конце-то концов, лучше, пожалуй, что путь наш таков! Хорошо это на день. Но на всю жизнь... нет, и тебя и себя я знаю, тебе надоело бы скоро. Ты не можешь представить себе, каким я бываю несносным – негодяем, бездельником, бражником, болтуном, сумасбродом, упрямым, обжорой, хитрюгой, звездоглядом, брюзгой, бредой, пустомелей. Ты жила бы в вечном аду и мстила бы мне. Как об этом подумаю только, волосы дыбом встают у меня – с обеих сторон лба. Благо Господь все предвидел! Что случилось, – и ладно.

Лукавый и вдумчивый взгляд ее слушал. Она головой покачала:

– Твоя правда, Емеля. Я знаю, я знаю, ты плут в самом деле. (Она так не думала.) Да, конечно, ты бил бы меня и носил бы рога. Но что же поделаешь, раз все равно через это нужно пройти (так написано на небеси), не лучше ль пройти вместе?

– Конечно, – сказал я, – конечно...

– Ты не уверен как будто.

– Видишь ли, кажется мне, что без этого счастья двойного нужно уметь обойтись.

И, встав, в заключение сказал я:

– Прочь сожаленье, Ласка! Так ли иль этак, а ныне все было бы то же. Можно друг друга любить и обманывать можно, но когда, как теперь, книга дней уж дописана, – что было, то сгинуло, да и было ли?

Она мне ответила:

– Лжешь!

(И как верно сказала она!)

* * *

Поцеловал я ее, да и ушел. Она глазами меня провожала с порога, прислонившись к дверному косяку. Между нами тянулась тень высокого орешника. Я больше не оглядывался до тех пор, пока не свернула дорога, и тогда я уж знал, что ничего не увижу. Остановился я, передохнул. Воздух был полон благоуханья висячих глициний. Издали, с полей, доносилось мычанье белых волов.

Я продолжал свой путь; и, сокращая его, покинул тропину, по скату полез, сквозь виноградник пробрался и вышел на лес. Я, однако, все это проделал не для того, чтоб скорее вернуться. Нет, – с полчаса

прошло, а я все стоял на опушке, под ветками дуба, стоял неподвижно, считая ворон. Я был потрясен. Я грезил, я грезил. Небо румяное гасло. Отливы его умирали на лозах веселого бога, на маленьких новеньких листьях, блестящих, лощеных, виноцветных, позолоченных. Пел соловей. Со дна моей памяти, в сердце моем опечаленном, другой соловей отвечал. Вечер такой же, как этот. Я с подругою был. Мы бродили по склону среди лоз виноградных. Мы юны и радостны были, любили болтать, хохотать.

Внезапно над нами странное что-то скользнуло, дуновенье вечернего звона, дыханье земли, что струится с последним лучом и трепещет и шепчет: «Приди», печаль золотая, что с неба луна навевает... Приумолкли мы оба и вдруг взяли за руки – и так, бессловесно, друг на друга не глядя, стояли, застыв на месте. Тогда-то взвился с виноградного склона, к которому вешняя ночь прикоснулась, напев соловья. Боясь задремать среди лоз, чьи коварные нити росли, все росли, все росли, да лапки его опутать могли, боясь задремать, безумолчно взметал соловей-чародей вековую песню свою.

Лоза, лезь ввысь, ввысь, ввысь.

Не сплю я, – все пою.

И я почувствовал, что рука Ласочки мне говорит: «Я поймала тебя, и я поймана. Лоза, тянись, тянись и свяжи нас!»

Мы спустились с холма. Приблизившись к дому, разлучили мы руки. С тех пор никогда уже больше их не сплетали. Ах, соловей, запеваешь ты вновь. Для кого же поешь? Лоза, ты растешь. Для кого твои вязи, любовь?..

И разостлалась ночь. И, к небу подняв нос, опираясь на руки задом, а руками об палку, я стоял, как дятел на хвосте своем, и все глядел в лиственную высь, где зацветала луна. Я старался расторгнуть чары, сковавшие меня. Но тщетно. Верно, дуб околдовал душу свою тенью волшебной, заставляющей терять и дорогу, и желание ее найти. Дважды, трижды я обошел дерево, – всякий раз я возвращался к тому же месту, скованный.

Тогда решился я; на траве растянулся, да и проночевал так, в гостях у луны. Но не много я спал. Я с тихой тоской обдумывал длительно жизнь свою. Я думал о том, чем могла она быть, чем была, я думал о грезах своих распыленных. Господи, сколько грусти находишь в долинах былого, в эти ночные часы, когда душа обескрылена! Каким себе кажешься слабым и сирым, когда пред глазами обманутой старости всплывает юности образ, расцвеченный надеждой!.. Я пересчитывал снова приход и расход и мои богатства скудные: дурная жена, дурная <и> лицом, сыновья, живущие далече и во всем со мною несходные, – даром что плоть-то одна; измены друзей и людское безумье; кровавые веры и межусобные войны; раны отчизны; души моей вымыслы, создания

рук моих разворованные; жизнь моя – горсточка пепла, – и ветер смерти недалней... И, плача тихонько, губами прильнув к телу дерева, я поверил ему свои горести, прикурнув меж корней, как в объятьях отца. И я знаю – оно меня слушало. И, верно, потом в свой черед и оно зашептало, меня утешало. Ибо когда через час или два я проснулся (храпел я ничком на земле), от тоски моей горькой уже ничего не осталось – разве что смутное чувство ломоты в душе и такое же чувство в суставах.

Солнце очнулось. Дерево, полное птиц, распевало. Прыскали песни, как сок, когда жмешь виноградную гроздь. Павлик–зяблик, да Манька–зарянка, да серая, болтливая Маленочка–Малиновка, и дрозд, куманек, который всего мне милей, оттого что ему нипочем и холод, и ветер, и дождь, и всегда он доволен, раньше всех запеваает, позже всех умолкает, да и носик его так же ярко раскрашен, как мой. Ах, как усердно пищат они, птички–парняшки! От ужасов ночи они вот спаслись. Ночь, неверная ночь всякий раз над ними, как сеть, опускается. Мороки душевные... кто доживет до утра?.. Но, вири–вири–ра... как только завес ночной разрывается, как только улыбка бледная дальней зари оживлять начинает оледенелый лик и уста побелевшие жизни... ой–ти, ой–ти, ля–ля–и, ля–ля–ля, удери, удрала... каким криком, мой свет, каким взрывом любви они славят рассвет! Все, что мучило, все, что страшило, немое безумие, сон ледяной, сумрак, все–все, ой–ти, все позабыто. День, новый день! Посвяти меня, дрозд, в свою тайну, как с каждой зарей душой воскресать, веря в нее неизменно!.. Дрозд продолжал посвистывать. Насмешка его молодецкая меня освежила. На землю присев, я вторил ему. Кукушка в лесной глубине играла в прятки... «Ку–ку, ку–ку, чорт сидит в уголку!» Раньше чем встать, я кувыркнулся. Пробегающий зайчик передразнил меня. Он смеялся; губа рассклалась у него – так он смеялся. Я пустился в путь и пел во все горло:

– Все хорошо, друзья! Кругла земля. Все хорошо. Не умеешь плавать – идешь на дно. Распахнул я окна, распахнул я двери, я вижу, я верю, входи. Божий мир, вливайся ты в кровь мою! Стану ли я обижаться на жизнь, как дурак, за то, что не все получил от судьбы? Как начнем желать: «Ах, если бы да кабы...», остановиться уже невозможно. Всякий бывает в надеждах обманут, всякий мечтает о том, чего нет у него. Даже герцог Неверский. Даже Король. Даже сам Господь Бог. Всему есть границы, у каждого свой уголок. Стану ль беситься, стонать оттого, что мне выйти нельзя из него? Лучше ль мне будет в пределе ином? Это мой дом, и я здесь остаюсь, и останусь как можно подольше. И на что же мне сетовать? Мне, в конце–то концов, ничего не должны. Я бы мог не родиться. Как подумаю, Боже, мурашки ползут по коже. Этот славный маленький мир, эта жизнь без Персика! И Персик без жизни! Ах, друзья, как было бы здесь безотрадно! Что есть, то и ладно.

С опозданием на день я вернулся домой. Сами судите, какая мне встреча была уготована. Все равно, – не впервой. Я спокойно полез на чердак и, как видите, все записал, трясая головой, бормоча сам с собой, высунув косо язык, записал печали свои да утехи, утехи печалей моих...

О тяжело пережитом

поведать сладостно потом.

Птицы перелетные

Июнь

Вчера утром мы узнали о проезде через Клямси двух именитых гостей – графа Мальбоя с невестой. Они не останавливались, а продолжали путь свой к замку Ану<a>нскому, где должны были провести три или четыре недели. Совет старшин положил послать на следующий день отрядных, чтоб от имени общины поздравить этих важных птиц со счастливым прибытием (будто чудо какое, когда одна из этих скотин в своем бархатном рыдване, в тепле, из Парижа в Невер прикатит, не сбившись с пути и костей не сломав!). Продолжая следовать обычаю, совет порешил прибавить к приветствию несколько соблазнительных гостинцев, крупных засахаренных печений – гордость нашего города (мой зять пекарь Флоридор изготовил три дюжины! Старшины полагали, что будет достаточно двух; но наш Флоридор любит широкий размах: платит–то город).

Наконец, дабы очаровать сразу все телесные чувства, руководствуясь мыслью, что лучше кушается под музыку (хотя я лично глух, когда ем и пью), снарядили четырех отборных звукохватов, две виолы, два гобоя да бубен, послали их ко дворцу исполнить на своих брякушках приветственную песнь, в виде вступления.

И я со своею свирелью втесался без приглашения в шествие это. Не мог упустить я случая увидеть новые лица, особенно когда дело касалось этаких птиц (не дворовых, конечно, – дворцовых). Люблю оперение их нежное, их болтовню и движения, когда они перья приглаживают или идут переваливаясь, задом виляя, нос задирая, и лапками, крыльями дуги описывают. Впрочем, при дворе ли живут они или на заднем дворе, мне все равно, лишь бы мне подавали новизну, – вот тогда хорошо. Сын я Пандоры, поднимать люблю крышки всяких коробок, всяких душ человеческих, белых, загаженных, жирных или тощих, благородных иль низких; люблю я копаться в сердцах, узнавать, что в них происходит, справляться о том, что меня не касается, всюду соваться, обнюхивать, всасывать, пробовать. Из любопытства я бы на пытку пошел. Но я никогда не забуду – уж будьте спокойны – совместить с приятным полезное. У меня в мастерской был как раз выполнен графский заказ – пара стенных, резьбою покрытых щитов, и – благо провоз был бесплатен – они поехали на той же тележке вместе с послами, виолами и пирогами. Мы прихватили также Глашу, дочь Флоридора. Прокатиться даром всегда приятно; другой старшина взял с собою сына. Аптекарь же нагрузил на повозку бутылки сиропов разных да медов, банки варенья – все его собственные произведения, которые он намеревался поставить на счет города. Отмечу, что зять мой осудил этот прием,

говоря, что нет такого обычая и что если каждый мастер, сапожник, мясник, цирюльник, булочник так поступал бы, город пропал бы, вконец разорившись. Он, пожалуй, не так ошибался; но тот, как и он, – старшиной был: ничего не поделаешь тут. Малые мира сего подвластны законам; остальные же их издают. Городской голова, щиты, гостинцы, ребятишки, четверо музыкантов да четверо старшин – все они уехали на тележках двух. Я же пошел пешком. Пусть немощных возят – тух-тух, – как на бойню телят иль на рынок старух! По правде сказать, погода была неважная. Тяжкое, предгрозовое, мучнисто-белое небо; око жгучее, круглое Феба нас в затылок кололо. Пыль да слепни поднимались с дороги. Но кроме Флоридора, который боится загара не меньше, чем барышня, мы все были довольны: деленная неприятность – развлеченье.

Пока не исчезла вдали башня св. Мартына, щеголи наши имели вид сосредоточенный. Но как только мы оказались вне наблюдения города, все лица прояснились, и умы, как и я, скинули куртки. Сперва в виде закуски перекинулись словечками острыми. Потом один песенку затянул, другой подхватил. Мне кажется, прости Господи, что сам голова был запевалой. Я заиграл на свирели. Все остальные запели. И, пробивая хор голосов и гобоев, тоненький голос Глаши моей поднимался, порхал и чирикал, как воробей.

Мы не очень спешили. По воле своей ослы на подъемах останавливались, отдувались, стреляли, задрыв хвост. Мы дожидались, пока музыка их не иссякнет, и ехали дальше. В одном месте дороги наш маклер, Петр Деловой, заставил нас проделать крюк (мы ему отказать не могли: он один еще не просил ничего). Хотелось ему заехать к одному клиенту составить черновик завещания. Все мы одобрили его; но немножко было долго; и Флоридор, соглашаясь в этом с аптекарем, снова нашел предлог для укоров. Но Деловой дело свое докончил без спеха. И волей-неволей примирился аптекарь.

Наконец мы прибыли (этим всегда кончается). Птицы наши вставали из-за стола, когда появилось пирожное, принесенное нами. Пришлось им снова засесть. Птицы всегда могут есть. Господа отрядные, подъезжая к замку, не преминули еще разок привалить, дабы нарядиться в одежды праздничные, бережно сложенные, тайком от солнца, – в красивые, световые одежды, греющие глаз, ласкающие сердце, из зеленого шелка для городского старшины, из светло-желтой шерсти для его сподручников: скажешь – огурчик и четверо тыковок. Мы вошли с музыкой. На шум высунулись из окон холопы праздные. Шерстяные и шелковый взошли на крыльцо, у двери которого сообразовали показать (я различал плохо) на кружевных брыжах две головы завитые, лентами перевитые, словно барашки. Мы же, трын-трава, трынкали посередине двора. Потому я и не слышал чудной латинской речи, произнесенной нотариусом. Но я утешился: лишь один Деловой слушал ее. Зато я любовался крошечной Глашей моей, которая поднималась шажками мелкими по ступеням лестницы, точно Дева Мария, во храм вводимая, и прижимала к груди, обеими лапками, корзину печений, башню вздымающихся до самого носа ее. Она не сронила ни одного: она их глазами, руками лелеяла, – озорница, сластунешка, душечка... Господи! я так и съел бы ее...

Очарование младенчества словно музыка; она проникает в сердца вернее, чем та, с которой пришли мы. Самые черствые сразу смягчаются, становишься ребенком, на миг забываешь гордыню и сан. Невеста графская внучке моей улыбнулась ласково, поцеловала ее, на колени себе посадила, взяла ее за подбородочек и, разломив посередочке сладкий сухарь, сказала: «На, поделимся, клювик разинь» – и сунула большой кусок в крошечный круглый роток. Тогда во весь голос я радостно крикнул: «Да здравствует ясная, добрая, родины нашей цветок!» И выдул из дудки веселую погудку, и звук пронесся резвый, как с криком острым ласточка.

Все кругом рассмеялись, ко мне обернувшись; и Глаша в ладоши захлопала:

– Дедушка, дедушка!

А граф Ануанский сказал:

– Это Персик – безумец.

(Нашелся судья! Он такой же безумец, как я.) Подозвал он меня. Я подхожу со свирелью своей, по ступеням всхожу бойким шагом, кланяюсь.

(Шапка в руке, речь учтива, труд не велик, а ладно на диво.)

...кланяюсь направо, налево, кланяюсь вперед, назад, кланяюсь каждому, каждой. А меж тем скромным взглядом я наблюдаю и стараюсь кругом обойти барышню, висящую в облаке обширных фижм, будто язык в колоколе; и, раздевая ее (мысленно, конечно), я смеюсь, видя ее потерянной, худенькой, голенькой под своими уборами. Она была стройная и узкая, смугловатая, но убеленная пудрой; прекрасные карие глаза блестели, как камни самоцветные, нос был как рыльце поросеночка, юркого и жадного, пухло краснели поцелуйные губы, и на щеки спадали завиточки. Заметив меня, она спросила с видом снисходительным:

– Это славное дитя – ваше?

Я отвечаю тонко:

– Как знать, сударушка! Вот зятек мой. Он отвечает за это, не я. Во всяком случае, это наше добро. Никто его от нас не требует назад. Не то что деньги... «Дети – богатство бедных».

Она удостоила меня улыбкой, а граф Ан<уан>ский шумно расхохотался. Флоридор смеялся тоже; но смех его был кисловат. Я остался бесстрастным – простаком я прикидывался. Тогда мужчина в брыжах и дама в фижмах соблаговолили расспросить меня (они меня оба приняли за бродячего музыканта), много ли дохода приносит мое ремесло. Я ответил, как и полагалось:

– Да никакого.

Не сказал, впрочем, чем действительно я занимаюсь. Зачем говорить? Они меня об этом не спрашивали. Я ждал, я хотел видеть, я развлекался. Меня забавляла та надменность привычная и условная, с которой все эти пышные господа считают нужным обращаться с теми, у кого нет ничего. Всегда кажется, что они им дают урок. Бедняк – дитя малое, он умом недалек. И к тому же (не говорят так, но думают) он сам виноват: Бог его наказал – отлично; Господи, слава тебе!

Как будто и не было меня, Мальбой громко говорил своей невесте:

– Нам все равно нечего делать, воспользуемся же этим гольшом; вид у него юродивый! Он бродит там и сям, на свирели играя; он должен знать хорошо население кабаков. Порасспросим его о том, что здешний народ думает, если...

– Ш-ш!..

– ...если вообще он думает.

Тут-то меня и спросили:

– Скажи-ка, старик, каково настроенье в стране?

Я повторяю с видом совершенного одуренья:

– Строенья?

И подмигиваю толстому графу Ан<уан>скому, который поглаживал бородку и давал мне полную волю, посмеиваясь за широкой лапой своей.

– Ум не очень-то, кажется, в ходу в здешней стороне, – сказал тот насмешливо. – Я спрашиваю тебя, старик, что думают здесь, во что верят? Слушаются ли Церкви? Покорны ли королю?

Я говорю:

– Бог велик, и король очень велик. Их обоих любят.

– А о принцах что думают?

– Они тоже – важные господа.

– Так, значит, стоят за них?

– Да, ваша светлость, да.

– И против Кончини?

– И за него стоят тоже.

– Но как же, помилуй! Они ведь враги!

– Да, я что же... возможно... Стоят за обоих.

– Нужно выбрать, чорт подери!

– Нужно ли, сударь мой? Неужто нельзя обойтись? За кого я стою? Я вам это скажу на одной из семи моих пятниц. Пойду я подумаю. Но нужен мне срок.

– Чего же ты ждешь?

– Да хочу я узнать, кто сильнее окажется.

– Мерзавец, и не стыдно тебе? Ужели не можешь ты отличить солнца от облаков и короля от его врагов?

– Что ж, сударь мой, я уж таков... Слишком вы многого требуете. Я не слепой, вижу я небо–то. Но если уже выбирать между людьми короля и людьми голдовных[55] вельмож, оно, право, трудненько сказать, кто из них лучше пьет и больше убытка приносит. Я не виню их; ешь на здоровье. Вам желаю того же: люблю едоков хороших; я на их месте так же бы делал, но (зачем утаю?) друзей моих больше люблю.

– Ты, значит, не любишь, болван, ничего?

– Сударь, я люблю свое добро.

– Но ты разве его не отдашь своему господину, своему королю?

– Что ж, я готов, если так уже надо. Но все же хотел бы я знать, что попадало бы в рот королю, если бы не было в нашем краю несколько мирных людей, любящих лозы свои и луга. У всякого в мире свое ремесло. Одни нажираются. А другие... другие, увы, пожираются. Политика – это искусство есть. Мы, бедняки, что могли бы мы делать? Вам – управление, а нам – земля! Нам не годится иметь свое мнение. Мы ведь невежды. Что же, мы знаем одно только разве, что знал Адам, наш отец. (Он был и ваш, говорят; я–то не верю, простите, может быть, был он вам дядя.) Что ж мы умеем? Лишь только землю свою удобрять, чтоб была бы она плодородна, разрывать, бороздить ее тело, сеять, овес и пшеницу растить, прививать да подрезывать лозы, косить, колосья жать, веять зерно, гроздь попирать, давить вино, хлеб испекать, раскалывать дерево, камень гранить, сукно кроить, кожу сшивать, железо ковать, ваять, столярить, проводить дороги и воду, строить, вздымать города и соборы, с любовью увенчивать землю убранством садов, расплетать на стенах, на их латах дубовых волшебство световое; из камня, как из тугого чехла, извлекать обнаженного белого бога; ловить на лету среди лазури скользящие звуки, заключая их в грудь золотисто–коричневой стонущей скрипки или в полуэту свирель; владеть, наконец, всей французской землей, ветрами, огнем да водой и заставлять их служить вам в забаву... Что же еще мы умеем и смеем ли думать, что можем судить о делах управления, о ссорах вельмож, о затеях святых короля и о подобных тому чудесах? Сказано, сударь: не плюй выше носа. Мы животные вьючные, созданы мы для побоев... Согласен. Но чей кулак нам по вкусу, чья дубина приятнее тычет нас в спину... важный вопрос это, сударь, он для меня слишком труден. По правде сказать, кулак ли, иль палка – мне наплевать; чтоб ответить вам точно, пришлось бы дубину в руке подержать, взвесить,

сравнить. А нельзя – так терпенье! Страдай, страдай, наковальня. Страдай, пока ты наковальня. Ударь, когда молотом станешь...

Тот в нерешимости глядел на меня, сморщив нос, и не знал, смеяться ли ему или сердиться. Но тут один щитоносец, который видал меня некогда у покойного нашего герцога, сказал:

– Ваша светлость, я знаю его, чудака: он хороший работник, искусный столяр и большой говорун. По ремеслу он – ваятель.

Но граф, по-видимому, не изменил своего мнения насчет Персика, не выказал никакого любопытства по отношению к его маленькой личности (это из скромности сказано, дети мои, на самом-то деле вешу я около берковца [56]), пока щитоносец покойного герцога и граф Ан<уан>ский ему не поведали, что такой-то и такой-то вельможа дорожит моими твореньями. После чего он не меньше других восхищался фонтаном, который ему во дворе показали. На нем изваял я девицу босую, в переднике несущую двух уток бьющихся, клюв разинувших, крылом трепещущих. Потом он смотрел во дворце утварь работы моей. Граф Ан<уан>ский блаженствовал. Скотины богатые! Будто создали сами они то, за что заплатили! Мальбой, чтоб польстить мне, нужным нашел подивиться, что я остаюсь в своем уголке, прозябаю вдали от великих парижских светил и застываю на этих работах. В них, говорит, есть терпенье и правда, но нового нет ничего, есть прилежанье, но нет вдохновенья, есть наблюденье, но нет мыслей высоких, образов, иносказаний, нет баснословия, нет любомудрия, нет, одним словом, всего, что судью-знатока бы заставило это творенье великим считать. (Великие мира сего лишь в великом находят приятность.)

Я скромно ответил (смирен я, придурковат), что знаю, как мало я стою, что всякий в границах своих оставаться должен. Бедные люди, как я, ничего не видали, ничего не слышали, ничего и не знают; а потому проживаешь на ярусе нижнем Парнаса, где избегаются высокие, горние замыслы; и, боязливый взор отводя от вершины, над которой рисуются крылья коня священного, роешь да камни ломаешь внизу у подножья горы, чтоб из них можно было жилище построить себе. Бедностью ум наш придавлен, ничего он не может, ничего он не смыслит, кроме забот обиходных. Искусство полезное – вот наш удел.

– Искусство полезное? Эти два слова не вяжутся, – воскликнул мой дурень. – Прекрасно – только ненужное.

Я в ответ:

– Великая мысль! Как это верно! Так везде – и в искусстве, и в жизни. Нет ничего ведь прекрасней алмаза, вельможи иль розы.

Он отошел, очень мною довольный. Граф Ан<уан>ский меня за руку взял и шепнул:

– Проклятый шутник! Перестанешь ли ты издеваться? Да, валяй дурака, я ведь знаю тебя. Не отрицай. Забавляйся этой парижской розой сколько угодно, дружок! Но если ты, дерзкий, когда-нибудь вздумаешь и на меня так напасть, держись тогда, Персик! Поколочу тебя всласть.

Я отпирался:

– Как, ваша светлость, на вас нападать!.. На моего благодетеля–то, защитника! Ну можно ли Персика этак чернить? Пусть еще буду я черным, но не дай Бог быть глупым. Предоставляю другим. Мы этим, ей–ей, не грешим. Слишком я шкурой своей дорожу, чтобы не уважать шкуру того, кто может заставить себя уважать. Я не трону ее, не такой я дурак. Ведь вы же не только сильнее меня (это само собой), но гораздо хитрее. Куда мне! Пред вами, Улисс, я только лисенок. Сколько проказ в мешке у вас! Сколько юных и старых, осторожных и шалых попали в него!

Лицо его расплылось. Нам всего приятнее, когда хвалят в нас ту способность, которой в нас нет.

– Ладно, – сказал он, – ладно, болтун. Оставим мешок мой в покое; посмотрим–ка лучше, что скрыто в твоём. Мне сдается, что раз уж пришел ты, так, верно, недаром.

– Чудеса! Вы опять угадали! Все прозрачны для вас. Вы читаете в книге сердец, словно как Бог–отец.

Развернул я щиты свои, а также итальянское произведение (Фортуна на колесе, купленная когда–то в Манту<е>), которое, сам того не заметя, выдал я, ветреник старый, за свое. Похвалили их умеренно. Потом (ах, смущенье, смешенье) я показал им собственное творенье (головку девушки – стенное украшение), котор<ое> выдал я за итальянское. Крики, выкрики, охи да ахи. Все опьянели от восхищенья. Мальбой, который так и сиял, говорил, что в нем виден отсвет латинского солнца, земли, дважды благословенной богами, Христом и Юпитером. Граф Ан<уан>ский, который так и сиял, мне за него отсчитал тридцать шесть червонцев, а за другое – три.

* * *

Мы домой отправились на закате. Во время пути я рассказал, чтоб позабавить товарищей, как однажды герцог Бельгардий приехал в Клямси поохотиться. Душа моя не видела за четыре шага. Моя должность была опрокидывать деревянную птицу, когда раздавался выстрел, и вместо нее ловко и быстро подносить другую с простреленным сердцем. Очень смеялись, и после меня каждый по очереди что–нибудь да выболтал смешное касательно этих господ... Добрые люди! Когда в величии своем они так роскошно скупают, ах, если б знали, как они нас забавляют!

О путанице недавней я рассказал, только когда уже подходили к дому. Узнав о ней, Флоридор стал горько упрекать меня за то, что я так дешево сбыв итальянское произведение, раз они так оценили мое собственное. Я отвечал, что, хоть я и люблю над людьми подтрунить, мне обирать их не хочется. Он упорствовал, ядовито спрашивал, хорошо ли кормит такая односторонняя забава? На какой чорт людей морочить, если это прибыли не приносит!

Тут Марфа, мудрая дочь моя, сказала ему:

– В нашей семье, Флоридор, мы все таковы – большие и малые. Всегда мы довольны, всегда балагурим, всегда мы смеемся над тем, чем друг друга мы потчуем. Мой милый, не жалуйся очень-то. Ибо вот почему ты еще не олень с седьмой головой[57]. Мысль, что могу всякий миг тебе изменить, так меня тешит, что изменять-то не стоит. Но не гляди так сердито. Не сетуй, муж; ведь сводится это к тому ж. Спрячь рожки, улита, я вижу их тень.

Чума

Первые дни июля

Верно сказано было: «Беда уходит пешком, а приезжает верхом». К нам-то явилась она вершником орлеанских погонщиков.

В понедельник на прошлой неделе случай чумы был примечен в Фаробе. Зерна растений сорных произрастают быстро. К субботе случаев этих уже было десять. Потом, приблизившись к нам, чума вспыхнула в Кулигах Винных. Суматоха в луже утиной! Храбрецы опрометью бросились бежать. Мы уложили жен и ребятишек и отправили их в дальний городок Мутновулай. Чем-нибудь да полезна беда: в доме нет болтовни. Флоридор тоже уехал с дамами, отговорившись тем – ох, лицемер, – что Марфа на сносе. Всякие важные люди нашли очень важные предлоги, чтобы пойти погулять; запрягли повозку; показалось им нужным как раз в этот день осмотреть свои нивы.

Мы же, оставшиеся, бахвалились. Мы издевались над теми, которые предосторожности брали. Старшины поставили стражу у ворот городских, наказали им всех прогонять, бродяг и смердов, всех, кто войти бы попробовал. Остальные же, знать и те из мещан, у которых кошель был здоров, должны были подчиниться осмотру трех наших врачей: Ефима Пташкина, Мартына Теркина и Филиппа Телькина. Каждый из них налепил на себя в защиту от мора длинный нос, пропитанный мазью целебной, да большие очки. Это нас очень сместило; и Теркин (добрый он был человек) не выдержал. Сорвал он свой нос, говоря, что он не желает дурындиться, да и не верит в эту белиберду. Правда – остался он с носом. Впрочем, и Пташник, который верил в личину свою (и даже на ночь ее не снимал), помер с таким же успехом. И один только выскочил Телькин – самый догадливый: он бросил не нос свой, а службу...

Стой, я мчусь сломя голову и уже оказался на кончике сказки, хоть еще не успел округлить хорошенько вступленье. Начнем сызнава, сын мой, снова возьмем козла за бородку. Ну что, ухватился?..

Итак, мы притворялись бесстрашными рыцарями. Так все были уверены, что чума не почтит нас приездом! Говорят, у нее тонкое чутье; запах наших кожевен отогнал бы ее (всякий знает, что нет ничего здоровее).

В последний раз, когда посетила она наш край (это было в тысяча пятьсот восьмидесятом году, мне было – возраст старого быка – четырнадцать лет), она только приблизила нос к порогу нашей двери и, понюхавши, воротилась восвояси.

С хохотом вспоминали мы об этом – добрые малые, удалые, смелые, разумные. Чтобы показать, что мы далеки от таких суеверий, а также от предрассудков врачей и старшин, мы храбро отправились к городским воротам и там, через ров переговаривались с теми, кто остался на противном берегу. Даже одни, из озорства, выскальзывали наружу и шли промочить себе горло в ближний кабак с некоторыми из тех, для которых врата рая были заперты да блюдимы сторожевыми ангелами (и то сказать, они не очень-то строги были). Я поступал так же. Мог ли я оставить их одних? Мог ли я допустить, чтоб другие под самым носом моим веселились, резвились да смаковали вместе свежее вино и свежие вести? Я сдох бы с досады! Итак, я вышел, увидя старого съемщика, которого я знал, – деда Хлебоеда. Мы с ним чокнулись. То был благодушный толстяк, круглый, красный и коренастый, который так и сиял на солнце потом и здоровьем. Он молодцевал еще больше меня, презирал болезнь, объявляя, что все это выдумки врачей. Умирают, мол, одни только робкие голяки, да и то от страха. Он говорил мне:

– Вот мое лекарство, отдаю его бесплатно:

Ноги бережно кутай,
пей в меру, мой друг,
не видайся с Анютой, –
не тронет недуг.

Мы провели добрый час вместе, дыша друг другу в лицо. У него была привычка во время разговора похлопывать собеседника по плечу, мять его ляжку или руку. Я об этом тогда не думал, но припомнил на следующий день. Утром первое слово моего подмастерья было:

– А знаете, дед Хлебоед-то... помер.

Ох! невесело стало мне, холодок прошел по спине. Я сказал себе: «Мой бедный друг, можешь снять сапоги. Ты обречен, недолго ждать».

Иду к верстаку, принимаюсь строгать, дабы рассеяться; но уверяю вас, что не очень-то меня занимала работа. Я думал: «Глупец! Так тебе и надо...»

Но у нас в Бургундии не в обычае ломать себе голову над тем, что нужно было делать третьего дня. Живем мы сегодняшним. Эй, держись за него. Защищаться придется. Враг еще на меня не насел. Я думал было обратиться для совета к врачу. Но потом передумал. Я, несмотря на

волнение, еще мог рассуждать по-нашему:

– Сыне, лекарь столько же знает, сколько и ты. Они возьмут твои денежки и чего ради пошлют тебя маяться в чумник, где очумеешь вконец. Держи, не выдай им тайны своей. Ты ведь еще не совсем обезумел? Если дело стоит лишь за тем, чтобы душу отдать, мы ее отдадим и без них. И клянусь (так было и будет), «несмотря на врачей, мы проживем до кончины своей».

Но напрасно я себя разжигал, ободрял, – меня начинало поташнивать. Я ощупал себя тут, там... Ай! – вот она, наконец... И худшее то, что, когда наступило время обеда и я уселся перед полной тарелкой жирных красных бобов, варенных в вине вместе с ломтями просольной свинины (как вспомню я ныне, плачу слезами обиды), силы в себе не нашел я раздвинуть челюсти. Сжалось сердце мое. Я подумал: «Нет сомненья, я отхожу. Выть[58] пропала. Это начало... Посему надо хотя бы дела свои привести в порядок. Если я позволю себе здесь умереть, эти разбойники–старшины прикажут дом мой сжечь, под предлогом (бредни!), что другие в нем заболеют. Новый–то дом! Нужно же быть злодеем иль дураком! Нет, предпочитаю на навозе подохнуть. Мы их надуем! Не станем же время терять...»

Встаю, одеваюсь в самое ветхое платье, беру несколько хороших книг, несколько изречений прекрасных, сальные галльские сказки, апофегмы[59] римские, «Золотые слова» Катона, «Les fées»[60], «Шутки» Буше[61] да «Новый Плутарх» Жилия Коррозэ; кладу их в карман вместе со свечкой и краюхой хлеба; отпускаю подмастерья, запираю все двери и храбро отправляюсь в свой малый вертоград, лежащий на склоне холма вне города. Жилище неприхотливо. Лачужка. Угол для склада вручья[62], тюфяк соломенный да пробитый стул. Сожгут ее – не беда.

Не успел я прийти, как уже щелкал зубами, что ворона клювом. Меня трясла огневица, ломило в боку, желудок был точно выворочен... Что же тогда я сделал, добрые люди? О чем поведаю вам? О дивных ли поступках, о великодушии, достойном Рима, о стойкости перед судьбой вражеской и болью внутренней?.. Добрые люди, я был один, никто не видел меня. Поверьте, я и не пытался перед стеной разыгрывать Регула Римского! Упал я ничком на солому и давай выть! Неужто ничего не расслышали? Голос мой был очень ясен. Он дошел бы до самой луны.

– Ах, Господи! – хныкал я. – Ну можно ли так мучить кроткого человека, который не причинил тебе никакого зла?.. Ох! голова моя! Ох! бока! Как тяжело умирать во цвете лет! Горе мне, горе! Ужель непременно ты хочешь так скоро видеть меня? Ох – спина!.. Конечно, я был бы рад – польщен то есть – тебя посетить, но, раз встреча наша все равно неизбежна, к чему эта гонка? Ох, селезенка!.. Повременим. Господи, я только бедный червячок. Если уж выхода нет, – да святится воля твоя. Видишь, как кроток, покорен я... Мерзавец! Уберешься ли ты отсюда? Долго ли будет зверь этот грызть меня в бок?

Поорав хорошенько, я не то чтоб унял боль, но растратил все свое жалобное красноречие. Я подумал: «Пустое. Или нет у него ушей, или он слушать не хочет. Коль правда, что я – его образ, он поступит по-своему, напрасно вою я. Пощадим легкие. Жизни осталось–то, может

быть, на часок или на два, что же безрассудно тратить ее! Будем наслаждаться тем, что еще не ушло, этим добрым, старым телом, с которым придется расстаться (эх, дружище, не хочу, а надо!). Умираешь раз. Удовлетворим хотя бы любопытство свое. Посмотрим–ка, каким способом из шкуры вылезают. Когда я ребенок был, умел я лучше всех выделять из сучьев ивовых чудесные свистелки. Рукояткой ножа я бил по коре, пока она не растрескивалась. Мне думается, что Тот, который смотрит на меня с неба, тешится точно так же моим телом. Бей! тресну ли? Ай, удар был хорош! И не стыдно ему, пожилому такому, находить прелесть в мальчишеской забаве! Стой, Персик, не сдавайся, и, пока еще держится кора, понаблюдаем, запишем, что под ней происходит. Рассмотрим бочку свою, вспеним мысли, изучим, продумаем, упьемся соками, что в поджелудочной железе нашей переливаются, вращаются, вздорно ссорятся; просмакуем эти боли острые, взвесим, ощупаем кишки свои да почки...» [63]

Так, созерцаю себя. Порою же прерываю исследования, чтобы реветь. Ночь тянулась бесконечно. Зажигаю свечку, втыкаю ее в горлышко старой бутылки (нежно пахнет она смородиной, но далече наливка: образ того, чем предполагал я стать в ближайшем будущем! Тело ушло, оставался только дух). Извиваясь на соломенном своем тюфяке, я пытался читать. Возвышенные апофегмы римлян не имели никакого успеха. К чорту этих бахвалов! «Не всяк создан для того, чтобы в Рим попасть». Ненавижу глупую гордость. Желаю я посетовать всласть, коли резь у меня в животе... Но когда затихает она, коль могу, хочу я смеяться. И я смеялся. Вы не поверите? Да, хоть страдало тело мое, как зерно под жерновом, хоть зуб на зуб не попадал, – раскрыв наугад книгу «Шуток» доброго этого Буше, я нашел в ней одну такую крупную, хрустящую и золотистую... шут его побери! – что я захлебнулся от хохота. Я говорил себе:

– Вот дурень! Эй, перестань. Тебе же будет хуже.

И что ж: посмеюсь, а после повою, повою, опять засмеюсь. И мычу я, и ржу я... Чума и та хохотала. Ах! мой бедный мальчишечка, стону–то, смеху–то!..

Когда забрезжило утро, я уже годился в покойники. Не мог я стоять. Ползком дотащился я до единственного оконца. Выходило оно на дорогу. Дождавшись прохожего, его я окликнул слабым, надтреснутым голосом. Нужды не было слышать, чтобы понять. Он увидел меня и, крестясь, пустился бежать. Через четверть часа уже стояло – какая честь! – двое стражников перед домом моим; и запрещено мне было переступить порог оною. Увы! я и не пытался. Только просил я их послать в Дорнси за старым другом моим, нотариусом Ерником, дабы составить завещанье. Но они так трусили, что страшило их самое дуновенье голоса моего; и мне кажется, честное слово, что из боязни чумы они затыкали себе уши. Наконец поленичек–подкидыш, пастушок при гусях (доброе сердечко!), который меня полюбил после того, как я его однажды поймал, когда он поклевывал вишни в саду моем, и сказал ему: «Дрозденек, сорви–ка заодно и для меня», – пастушок подкрался к окну, подслушал и воскликнул:

– Господин Персик, я побегу!

...Что произошло потом, очень мне было бы трудно вам рассказать. Знаю только, что в продолжение долгих часов я в бреду валялся на соломе, язык высунув, как теленок. Хлопанье бича, звон бубенцов на дороге, могучий знакомый голос... Ну, думаю, приехал Ерник... Стараюсь приподняться. Ах! жизнь моя тяжкая! Мне казалось, что несу я св. Мартына на затылке и чорта на заду. Говорю себе: «Когда бы в придачу были еще скалы басвильские, все равно надо тебе встать...» Мне хотелось, видите ли, узаконить (ночью–то я успел многое передумать) некоторые намеренья, сделать в пользу Марфы и Глаши оговорку в завещанье, которую не могли бы оспаривать мои четыре сына. Я взвалил на подоконник голову свою; весила она не меньше нашего огромного городского колокола, падала вправо, влево... Увидел я на дороге двух милых толстяков, которые глаза тарачили с выраженьем ужаса. То были Антон Ерник и поп Шумила. Верные мои друзья примчались во весь дух, чтоб успеть застать меня в живых. Должен заметить, что, когда увидели они меня, пыл их остыл. Они оба шагнули назад (верно, для того, чтобы лучше судить о картине). И проклятый этот Шумила, в виде утешенья, повторял:

– Господи, как ты гадок! Ах! мой бедный друг! Ты гадок, гадок... Гадок, как сало желтое...

Я же сказал (запах здоровья их ободрял телесные мои чувства):

– Что же вы не войдете? Вам, должно быть, жарко.

– Нет, спасибо, нет, спасибо! – воскликнули они в один голос. – Очень нам здесь хорошо.

Ускорив отступленья, остановились они под прикрытьем повозки; Ерник для вида тряс удила ослика своего, который и так изнемог.

– Как поживаешь? – спросил Шумила, привыкший беседовать с умирающими.

– Эх, мой друг, кто болен, тот не спокоен, – отвечал я, головой качая.

– Как мало мы стоим! Вот, Николка–бедняга, что тебе я всегда говорил? Бог всемогущ. А мы только дым, навоз. Сегодня пляшу, а завтра – в гробу. Сегодня в цветах, а завтра в слезах. Ты не хотел мне верить, все шуткой казалось тебе. Было сладко, дошел до осадка. Что ж, Персик, не горюй. Бог отзывает тебя. Ах, что за честь, мой сын! Но надо для этого быть прилично одетым. Давай, душу вымою. Приготовься, грешник.

Я в ответ:

– Сейчас. Еще есть время, поп.

– Несчастный! Перевозчик не ждет.

– Ничего, я пойду пешком.

Он рукой замахал:

– Персик, дружок, братец! Ах! Ты явно еще прикован к сомнительным благам земли. Что же в ней такого хорошего? Все-то в ней суета сует, бедствие, ложь, лукавство, коварство, глупость, кривда, боль, увяданье. Что мы тут делаем?

– Ты меня приводишь в отчаянье, – говорю, – я не в силах оставить тебя здесь.

– Мы увидимся там.

– Да почему же не пойти вместе? Ну, ладно, – прохожу вперед. За мной, честные люди!

Они притворились, что не слышат. Шумила возвысил голос:

– Время тает. Персик, и ты таешь вместе с ним. Лукавый, некошн<о>й[64] подстерегает тебя. Неужели ты хочешь, чтобы жадный зверь схапал твою измызанную душу? Не упрямясь, Николка, покайся, приготовься, сделай это, мой мальчик, сделай это ради меня, куманек.

– Я это сделаю, – говорю, – сделаю ради тебя, ради себя и ради Него. Боже меня упаси отнестись ко всем вам без должного вниманья! Но, пожалуйста, я хочу сперва два слова сказать господину нотариусу.

– Потом скажешь.

– Никаких. В первую голову – Ерник.

– И не стыдно тебе, Персик, ставить Вечного после маклера?

– Вечный может подождать или пойти погулять, если хочет: я с ним все равно встречусь. Но земное меня покидает. Вежливость требует, чтобы я посетил на прощанье того, кто принял меня, прежде, нежели идти в гости к тому, кто меня примет... может быть.

Он стал настаивать, умолять, кричать. Я не сдался. Антон Ерник достал свой прибор письменный и, сидя на межевом камне, составил в кругу зевак и собак мое всенародное завещанье. После чего я с кротостью очистил душу свою. Когда все было кончено (Шумила продолжал свои увещеванья), я сказал умирающим голосом:

– Поп, передохни. Все, что ты говоришь, прекрасно. Но соловья баснями не кормят. Ныне, когда душа моя готова к отъезду, я хотел бы по крайней мере выпить на прощанье. Друзья, бутылку!

Ах, молодцы! Хоть жили по завету Божьему, оставались они истыми бургонцами, и верно они угадали мое последнее желанье! Вместо одной бутылки они притащили целых три: шабли, пуи, иранси. Из окна моего, точно с лодки, готовой к отплытью, я кинул веревку. Поленичек подвязал старую корзинку, и я из последних сил втянул последних своих друзей.

Снова упал я на солому; все удалились, но я чувствовал себя уже менее одиноким. Не попытаюсь вам рассказать, как прошли следующие за этим часы. Странное дело, я никак не могу их найти. Верно, кто-нибудь под шумок своровал штук восемь, а не то – десяток. Знаю только, что я был поглощен обширной беседой со святой троицей бутылок; и ничего не помню из того, что говорилось. Теряю Николку Персика: куда он мог улизнуть? Около полночи я снова вижу себя. Сажу в своем саду, распластав зад на грядке земляники, сочной, влажной, свежей, и гляжу на небо сквозь ветки маленькой сливы. Сколько огней там в вышине, сколько теней здесь внизу! Луна мне казалась рожки. Поодаль видел я ворох старых лоз виноградных, черных, кривых и когтистых, как змеи, кишели они и, чудовищно корчась, за мной наблюдали. Но кто объяснит мне, что я здесь делаю?.. Кажется мне (все перепуталось в мыслях моих слишком пышных), что сказал я себе:

– Встань, христианин. Император Римский не должен, Николка, в постели своей умирать. В бутылках пусто. Больше нечего делать нам здесь! Пойдем просвещать капусту!

Мне кажется тоже, что я собирался нарвать чесноку, ибо он, говорят, очумляет чуму. Помню ясно лишь то, что, когда я ногу поставил (и тут же плюхнулся) на мать-землю сырую, меня охватило внезапно очарование ночи. Небо, словно огромный орешник, круглый и темный, надо мной расширялось. На ветвях его тысячи тысяч плодов повисало. Колыхаясь мягко, блистая как яблоки, звезды зрели в сумраке теплом. Плоды моего вертограда мне казались звездами. Все наклонялись ко мне, чтобы видеть меня. Чувствовал я, что тысяча глаз за мною следит. Шушуканье, смех пробегали в земляничных кустиках. На сучке надо мной груша маленькая, краснощекая и золотистая, голосом тонким, светлым и сладким мне напевала:

Вкоренись, вкоренись,

человечек седой!

Чтобы в рай вознестись,

за меня зацепись,

стань ползучей лозой.

Вкоренись, вкоренись,

человечек седой!

И со всех ветвей сада земного и сада небесного хор голосков,
шепчущих, трепетных, песенных, вторил:

Вкоренись, вкоренись!

Тогда погрузил я руки в землю и сказал:

– Хочешь ли меня? Я–то хочу.

Земля моя добрая, мягкая, сочная! В нее я по локти вошел; как грудь, она таяла, и мял я ее коленями, пальцами. Я к ней прижался вплотную, запечатлел в ней свой след с головы до пяток; в ней постлал я постель себе, лег; во всю длину растянувшись, я глядел на небо, на грозди звезд, рот разинув, как будто я ожидал, что одна из них мне на язык вот–вот упадет. Июльская ночь заливалась Песней песен. Безумный кузнечик кричал, кричал, кричал во все нелегкие. Часы св. Мартына внезапно пробили двенадцать, или четырнадцать, или шестнадцать (поистине это был звон необычный). И вот уже звезды, звезды на небе и звезды в саду моем перезвон затевают... Что за музыка, Господи! Сердце мое чуть не лопалось; грохотало в ушах, как грохочут оконные стекла в грозу. И я видел со дна своей ямы, как восходило дерево райское: лоза виноградная, гроздьями увешанная, из пупа моего выростала. Вместе с нею и я поднимался. И весь мой сад сопровождал меня, распевая. На самой высокой ветке звезда висячая плясала как шалая, и, запрокинув лицо, чтобы видеть ее, лез я, тянулся я к ней и во все горло орал:

Виноградинка моя,

Подожди, молю я!

Лезу я, сорву тебя!

Аллилуйя.

Я лез, вероятно, большую часть ночи. Распевал не умолкая в продолжение целых часов, как передавали мне после. Пел я на все лады, духовное, светское, песни похоронные и песни свадебные, кондаки и тропари рождественские, погудки охотничьи и плясовые, песни наставительные и другие – веселенькие, и наигрывал я то на гитаре, то на волынке, бил в барабан, трубил. Сбежавшиеся соседи надрывали себе животики и говорили:

– Ну и гомон! Это Николка дух испускает. Он спятил с ума, спятил с ума!..

На следующий день я, так сказать, не соперничал с солнцем: оно встало раньше меня. Было за полдень, когда я проснулся. Ах, как приятно было мне, друже, снова увидеть себя в яме своей земляной. Не то чтобы мягкостью ложе мое отличалось, по правде сказать, чертовски

болела спина. Но как сладостно знать, что спина еще есть! Итак, не ушел ты, Персик, милый дружок. Дай – поцелую тебя, мой сынок. Дай – ощупаю я это тельце, это славное личико! Да, это ты. Как я рад! Если б меня ты покинул, никогда я, Николка, не мог бы утешиться. Здравствуй, о сад мой! Дыни мои улыбаются радостно мне. Зрите, касатики.

Прервал мое созерцание рев двух ослов, раздавшийся вдруг за стеной:

– Персик! Персик! Ты умер?

То Ерник и Шумила, которые, не слыша больше моего голоса, горюют на дороге и уже, вероятно, возносят мои добродетели. Я встаю (ах! поясница проклятая!). Подхожу тихонько и, вдруг высунувши голову из дырки оконца, кричу:

– Ку-ку, вот и он!

Они так и отпрянули.

– Персик, ты, значит, не умер!

Они от радости разом смеялись и плакали. Я показал им язык:

– Человечек живехонек!..

Поверите ли вы, что эти скоты меня оставили в продолжение двух недель в чертоге моем под замком, пока не уверились в том, что я выздоровел! Впрочем, я должен сказать, что я благодаря им не ощущал недостатка ни в манне небесной, ни в воде ключевой (разумею вино я – водицу Ноя). Даже вошло у них в привычку по очереди приходить, чтобы, сидя под окном моим, поведать мне новости дня.

Когда я в первый раз вышел, Шумила сказал мне:

– Друг дорогой, видишь – святой Рок тебя спас. Пойди же отблагодари его. Сделай это, прошу!

Я в ответ:

– Не он – а скорее святой Иранси, святой Шабли или П<у>и.

– Ну ладно, Николка, поступим мы так: пойдя ко святому Року ради меня, я же, ради тебя, пойду на поклон к святой Бутылке.

Пока совершали мы это двойное паломничество (взяли мы также и Ерника), я заметил:

– Сознайтесь, друзья, что вы с меньшей охотой бы чокнулись в день, когда я на прощанье хотел с вами выпить? Вы не казались особенно рады за мною последовать.

– Люблю я тебя, – сказал Ерник, – люблю я, клянусь; но что же поделаешь? Себя я тоже люблю. Верно сказано: «Своя рубашка ближе к

телу».

– Грешен я, грешен, – гремел Шумила и бил себя в грудь, как в барабан, – я трус, такова уж природа моя.

– Куда же, Ерник, ты дел уроки Катона? А ты, поп, к чему послужила тебе вера твоя?

– Ах, мой друг, как сладостна жизнь, – оба сказали они со вздохом глубоким.

Поцеловались мы тут, рассмеялись и вместе сказали:

– Добрый человек не дорого стоит. Брать его нужно как есть. Бог его сделал. Он правильно сделал.

Смерть старухи

Конец июля

Я принялся вновь наслаждаться жизнью. Мне не стоило это большого труда, как вы понимаете сами. Даже, Бог весть почему, мне казалась она еще слаще, воложней [65], чем прежде, – нежной, пухлой и золотистой, на диво поджаренной, сочно-хрустящей в зубах и тающей на языке. Ненасытность воскресшего! Лазарь, должно быть, здорово ел!

Однажды, как после работы радостной, бой мы с друзьями вели на оружие Самсона, входит крестьянин, пришедший из дальней деревни.

– Сударь, – он мне говорит, – я третьего дня видел вашу хозяйку.

– Ишь ты! Везет же тебе, – говорю, – ну как поживает старуха?

– Прекрасно. Она отправляется.

– Куда же?

– Она отправляется, сударь, бежит со всех ног в лучший мир.

– Он это свойство утратит, – заметил какой-то шутник.

Другой подхватил:

– Отходит она; но ты остаешься. За твое здоровье, Николка. Было счастье одно, а вот и второе.

Я же, чтоб им подражать (встревожился я, как-никак):

– Чокнемся! Бог человека любит; Он у него отнимает жену, когда уж не знает, что с нею делать.

Но вино показалось мне вдруг горьковатым, не мог я стакан свой допить; тогда, взяв дубинку, я встал и ушел, ни с кем не простившись. Они закричали мне вслед:

– Что за муха тебя укусила?

Но я уже был далеко, не ответствен я, сердце сжималось... Видите ли, можно старуху свою не любить, можно друг друга пилить ночью и днем, в продолжение четверти века, – но когда безносая смерть приходит за нею, за тою, которая, плотно прижавшись к тебе в слишком узкой постели, потея, грела тебя столько лет и в своем тощем теле взлелеяла семя твое, – чувствуешь что-то вот здесь; подступает к горлу комок; это как будто часть от тебя отделяется; и хоть она некрасива, хоть тебе она вечно мешала, все же больно тебе за нее, за себя, жалеешь ее... Прости, Господи! любишь...

Я прибыл на следующий день, когда уж темнело. Мне стоило только взглянуть, чтоб увидеть, как хорошо поработал великий ваятель. Из-под ветхой завесы сморщенной кожи лик смерти, угрюмый, глядел. Но еще более верным предвестием скорой кончины было то, что, когда я вошел, она мне сказала:

– Мой бедный старик, ты не слишком устал?

Заботливость эта глубоко меня умилила. Я подумал: «Сомневаться нельзя. Умирает старушка. Она подобрела».

Сел я подле постели, взял ее руку. Слишком ослабнув, чтобы говорить, она глазами благодарила меня за то, что пришел я. Стараясь ее подбодрить, стараясь шутить, я рассказал ей, как я только что надул поторопившуюся чуму. Она ничего об этом не знала. Так взволновал ее мой рассказ (эх, косолапый!), что ей сделалось дурно, чуть не скончалась она. Когда же она очнулась, у нее вернулась способность говорить (слава те, Боже, слава те, Боже). И злость вернулась тоже. Вот начинает она, заплетаясь и дрожа (слова не хотели выходить или выходили совсем не те: это ее бесило), начинает она меня осыпать бранью, говоря, что с моей стороны было грешно ее не оповестить, что нет у меня сердца, что я хуже пса, что, как пес, я должен был бы подохнуть тогда, катаясь от боли на своем навозе. Выслушал я много еще таких нежностей. Старались ее успокоить. Говорили мне:

– Уходи! Видишь, ты причиняешь ей боль. Удались на мгновение.

Но я, я смеюсь, нагнувшись над ее постелью, и говорю:

– Вот и ладно. Я тебя опять узнаю. Еще есть надежда. Ты все так же бранчлива.

И, взяв ее голову в свои толстые лапы, поцеловал я ее, от всего сердца, дважды, в щеки. И она вдруг заплакала.

Неподвижные, безмолвные, остались мы с ней одни в спальней, где за обоими сухо тикал буравец, словно маятник роковой. Другие удалились в соседнюю комнату. Она мучительно хрипела, ей, видно, говорить хотелось.

Я сказал:

– Не утомляйся, жена. За эти двадцать пять лет мы все успели друг другу высказать. Мы понимаем друг друга без слов.

– Мы не высказали ничего, – упорствовала она. – Я должна говорить, Николка; иначе рай... куда мне не попасть...

– Да что ты, что ты...

– Иначе рай мне покажется горше яда адова. Я была, Николка, резка и сварлива...

– Да нет же, нет же, – сказал я. – Немного горечи для здоровья полезно.

– Брюзглива, ревнива, придирчива, вспыльчива. Злобой своей наполняла я дом; я тебе досаждала во всем.

Легонько пошлепал я руку ее:

– Дело не в том... У меня шкура твердая.

Она продолжала, еле дыша:

– Все оттого, что тебя я любила.

– Еще бы, не сомневался я в этом. Всякий любовь выражает по-своему. Ты выражалась темно.

– Я любила тебя; а ты – ты меня не любил. Вот почему ты был добр, а я так несносна: я мстила тебе за эту твою нелюбовь; ты же и в ус не дул. У тебя был смех свой, Николка, тот же смех, как и ныне... Господи, как он помучил меня! Ты кутался в нем от дождя; и сколько угодно могла я дождить, не в силах была я тебя промочить, разбойник. Ах! Сколько ты зла причинил мне! Сколько раз, Николка, я околеть собиралась!

– Бедняжка, ты знаешь, я ведь воды не люблю.

– Ты смеешься, бесстыжий! Что ж! Ты прав. Смех согревает. Ныне, как холод земли уже ноги сковал мне, я смех твой лучше могу оценить; одолжи мне свой плащ. Смейся досыта, муж; я на тебя перестала сердиться; и ты, Николка, прости мне.

– Ты была хорошей женой, – сказал я, – честною, бодрою, верною. Не всегда ты, пожалуй, любезна бывала. Но нет среди людей совершенства: непочтительно было бы это по отношению к тому, кто один – совершенство (говорю понаслышке). И в черные часы (не в часы ночи,

когда серы все кошки, а в годы бедствий и тощих коров) ты не была так плоха. Ты работала бодро, не жалуясь; и угрюмость твоя мне даже прекрасной казалась, когда ты боролась против злобной судьбы, не уступая ни пяди. Не станем же ныне мучить себя из-за прошлого. С нас довольно того, что мы уж разок несли, не сгибаясь, его и не запятнали себя унижением принятым. Что сделано – сделано, и переделать нельзя: ноша лежит на земле. Может, хозяин теперь взвесит ее, если хочет! Это нас не касается. Ух! Отдохнем, старина. Нам только осталось ремень отстегнуть, который впился нам в спину, да потереть закоснелые руки, избитые плечи да выкопать яму в земле, где бы спать мы могли, рот разинув, храпя, как орган (Requiescat![66] Мир вам, поработавшим много!), сладостно спать, беспробудно...

Она слушала, закрыв глаза, скрестив руки. Когда я кончил, она глаза открыла, руку протянула:

– Друг мой, спокойной ночи. Ты завтра разбудишь меня.

Опустилась рука.

Тогда, любя до конца порядок, она вытянулась во всю длину на постели своей, подвела под самый подбородок простыню так, чтобы ни единой не было складки, и прижала к худой груди распяты; после чего, с решительным видом, сморщив нос, устремив в одну точку взгляд, она, готовая к отбытию, стала ждать. Но, видно, старые кости ее до того, как покой обрести, должны были для очищения пройти сквозь горе – огонь земли (таков наш удел). Ибо в тот же миг дверь распахнулась, и, в комнату стремительно влетев, хозяйка прерывающимся голосом закричала:

– Сюда, сюда, скорей, сударь!

Я спросил, не понимая:

– Что случилось? Говорите тише.

Но та, которая уже пустилась в великое странствие, могла, казалось, с вышины дорожной повозки обернувшись, видеть через головы наши то, что не видел я; она приподнялась на смертном одре, выпрямилась, как пробужденный Христом, протянула руки и закричала:

– Моя Глаша!

В свою очередь понял и я, потрясенный возгласом этим и хриплым кашлем в соседней комнате. Побежал я туда, нашел мою бедную синичку, которая старалась лапками своими разжать руку, взявшую ее за горло, и, красная вся, горячая, молча молила, раскрыв непонимающие глаза, трепеща, как раненая птичка...

Как прошла эта ночь – и рассказать я не в силах. Ныне, через пять дней точно отсчитанных, при воспоминании одном у меня отнимаются ноги; должен я сесть. Ох! Дайте мне отдышаться... Надо ж, чтобы был на небесах некий Хозяин, которого бы забавляло длительно мучить крошечных этих зверьков, ощущать, как в пальцах его детская тонкая

шейка хрустит, видеть, как бьются они! Как может он переносить упрек удивленный их взгляда! Я понимаю, что можно бить таких старых ослов, как я, боль причинять тому, кто защищаться умеет, – крепким гусям, самкам спинастым. Да, приятно тебе заставляя нас кричать, коли можешь, ну что же, Господи, жарь! Человек – подобье твое. Да, ты, как и он, не всегда благодушен бываешь. Иногда ты причудлив, лукав, вредишь из желанья сломать, силу свою испытать иль потому, что ты раздражен, встал с левой ноги, а не то – просто так – от нечего делать... Да, я это еще понимаю. Мы достаточно взрослые, можем за себя постоять. Если уже надоедаешь ты нам чересчур, мы высказать это умеем. Но целиться в бедных ягнят, у которых еще молоко на губах не обсохло, – нет, стой! Нет, это слишком жестоко, мы не позволим! Ни Бог, ни король не должен злоупотреблять своим правом. Предупреждаем мы, Господи, если будет так продолжаться, нам, к сожаленью, придется тебя развенчать... Но не хочу я думать, что все это дело рук твоих, я слишком тебя уважаю. Чтобы объяснить такие преступления, Отче наш, допустить надо, что либо нет у тебя глаз, либо не существуешь ты вовсе. Ай! Вот словцо непристойное, беру его назад. Доказательство быта твоего – это то, что мы сейчас беседу с тобою ведем. Сколько споров бывало у нас! И, между нами говоря, сколько раз, Господине, я заставил тебя замолчать. В эту злосчастную ночь, ах, как я звал тебя, звал, поносил, устрашал, отрицал, умолял, заклинал! То к тебе я протягивал сжатые руки, то показывал сжатый кулак... Все ни к чему, ты и не дрогнул. По крайней-то мере, ты не можешь сказать, что я не старался! И раз ты и слушать не хочешь, чорт с тобой! Мы знаем других, мы к другим обратимся!

Мы бодрствовали, я да старая хозяйка (Марфа, которая почувствовала в дороге родильные боли, остановилась в Дорнси, поручив Глашу бабушке). Когда мы заметили поутру, что маленькая наша мученица вот-вот отдаст душу, тогда приняли мы решительные меры. Я на руки поднял ее прелестное бедное тельце, легкое, как перышко (у нее даже не хватало сил биться; свесив вздрагивающую головку, она чуть трепетала, как воробушек). Посмотрел я в окно. Был ветер и дождь. Роза склонялась на стебле у самой оконницы, как будто желая войти. Предвестие смерти. Я перекрестился и дверь распахнул. Буйный ветер влажный вметнулся в комнату. Я рукой прикрыл головку птенчика моего, боясь, как бы буря не задула огонька его. Мы вышли. Впереди шла хозяйка с подарками. Вглубились мы в лес, окаймлявший дорогу, и вскоре увидели на краю трясины дрожащую осину. Над толпою камышей гибкойных царствовала она, высокая и стройная, как башня. Трижды мы кругом ее обошли. Маленькая моя стонала, и ветер в листве, как и она, щелкал зубами. К ручке ребенка мы привязали один конец ленты, другой же – к суку этого старого, дрожащего дерева; и мы оба, я да хозяйка беззубая, повторяли:

Трепет, милая осина,

Отними ты у меня.

Именем Отца и Сына,

Именем Святого Духа

Заклинаю я тебя.

Если ж ты мольбу мою

Из упрямства не поймешь,

Дрожь мою не заберешь,

Берегись! Тебя срублю.

Потом старуха между корней вырыла ямку, выплеснула в нее кружку вина, два зубка чеснока, ломтик сала и сверху положила грош. Трижды мы обошли вокруг лежащей шапки моей, полной камышей. И на третий раз в нее плюнули, приговаривая:

– Да задушит вас жаба, гниючие жабы, поджавшие лапы!

На обратном пути, у опушки леса, мы встали на колени перед кустом шиповника, опустили девочку к его подножью и через него обратились к Сыну Божьему с молитвой.

Когда мы домой воротились, казалась она бездыханной. По крайней мере, мы сделали все, что могли.

Меж тем жена–то моя все умереть не решалась. Любовь к внучке ее не пускала. Она бесновалась, кричала:

– Нет, я не уйду. Господи Боже, Иисусе, Мария, пока не узнаю, что с нею хотите вы сделать, переживет ли она или нет. Переживет, так хочу я, хочу я – и всё тут.

Видно, это было не все, – досказав, она вновь начинала! А я–то думал было, что она вот–вот испустит последний вздох. Коль это последний, – здоров же голубчик... Персик, гадкий мальчишка, ты опять зубоскалишь... и не стыдно тебе? Что поделаешь, друг мой! Я уж так создан. Смеяться – мне не мешает страдать; но страдать – никогда не помешает бургундцу смеяться. И смеется он или хнычет, первым делом должен он смотреть во все глаза!..

Итак, мне от этого было не легче слушать, как дышит и задыхается моя старушка; и хотя мне было не менее больно, чем ей, я старался ее успокоить, я ей говорил те слова, которыми детей утешаешь, я ласково кутал ее в одеяло. Но она вырывалась, сердито кричала:

– Пустоколп! Будь ты мужчиной, ее удалось бы спасти. Сам ведь ты спасся, небось. А на что ты годишься? Тебе б умереть, а не ей.

Я в ответ:

– Да что ж, я с тобою согласен, жена, ты права. Если кто–нибудь

хочет шкуру мою – отдаю. Но, верно, там в небесах спроса нет на нее; слишком она ведь поношена. На что мы с тобою годимся? Только на то, чтоб страдать. Будем же мучиться молча. А ей-то, невинненькой, может быть, лучше, может быть, легче, мало ли что ожидало ее.

Тогда прижалась старушка щекою к щеке моей, и наши слезы лились и сливались. Вокруг ощущалась тяжкая тень крыльев ангела смерти...

И вдруг он исчез. Свет вернулся опять. Кто сотворил это чудо? Бог ли небесный, лесные ли боги, или Христос мой жалостивый, или земля угрозная, льющая, пьющая зло? Было ли это действие наших молитв, или страха жены моей, или же старой осины, которой я лапку подмаслил? Никогда не узнаем. И, пребывая в сомненье, благодарю я (это вернее) всех их да еще прибавляю тех, с которыми я не знаком. (Быть может, они-то и есть наилучшие.) Как бы то ни было, самое важное то, что с этого дня жар у нее стал спадать, заструилось дыхание из крошечных легких, как ручеек легкий; и покойница малая, вырвавшись вдруг из объятий ангела, чудом воскресла.

Сладко растаяло старое сердце наше. Оба запели мы: «Nunc dimittis[67], Господи!» И старуха моя, ослабев, слезами счастья рыдая, уронила тогда на подушку тяжелую голову (камень, идущий ко дну) и шепнула:

– Наконец-то уйти я могу!..

Тотчас потух ее взгляд, щеки впали, как будто ветер с налету сорвал ее душу. И я, наклонясь над постелью, на которой ее уже не было, я смотрел, как смотришь в омут речной, где вогнутый след потонувшего тела остается на миг и, вращаясь, стирается. Я прикрыл ей глаза, поцеловал ее лоб восковой, сложил ее руки, жесткие руки, при жизни не знавшие роздыху, и, беспечально оставя лампаду погасшую, сел я возле нового пламени: дом отныне оно осветит. Я стерег его сон, я глядел с умиленной улыбкой и думал (нельзя запретить себе думать): «Не странно ли, что можешь так привязаться к этакой маленькой штучке? Без нее ничего нам не любо. С нею – все хорошо, даже – самое худшее. Да, я вполне бы мог умереть, чорт меня подери! Только б жила она, только б жила, – остальное все пустяки!.. Это, однако, уже чересчур! Как, я здесь, я живу, я здоров, я хозяин пяти своих чувств (да еще многих других в придачу, из коих самое лучшее – чувство здравого смысла), никогда не роптал я на жизнь; чтобы быть в состоянии всегда нажираться, в брюхе несу я десяток аршин кишок пустых, крепок, ясен мой разум, искусна рука, ляжка крепка, я хороший работник, бодрый бургундец, и все это, все это готов я пожертвовать ради крошечной твари, которой я даже не знаю! Ибо кто же она, наконец? Смешной кочешок, игрушечка нежная, попугайчик, поршок... Она еще ныне ничто, но будет, быть может... И вот ради этого “может быть” я расточил бы свое: “Я есмь, и я – здесь, и мне здесь хорошо?..” Да! ведь это “быть может” – мой лучший цветок, отрада жизни моей. Когда закишит червями тело мое, когда растает оно на скудельнице, Господи, я буду жить, я воскресну в другом, прекрасней, счастливей, добрее... Да, как знать? Почему же он, этот “другой”, будет лучше меня? Потому что он встанет на плечи ко мне, на могилу мою, и дальше увидит... О вы, из меня возникшие, вы, которые станете

солнечный свет впивать, когда уже я, так любивший лучи, не буду обласкан ими, знайте: через ваши глаза наслаждаюсь багряными жатвами дней и ночей грядущих, вижу, как годы чредятся, годы, века, упиваюсь я тем, что предчувствую, и тем, что я знать не могу. Все проходит вокруг, вернее – то, я прохожу; иду я все дальше, все выше, поддержанный вами. К землице своей я уже не прикован. Дальше, все дальше, за жизнью, за полем моим, тянутся борозды; мир обнимают они, через небо стремятся, как Млечный Путь расширяясь, узорят они весь лазоревый свод. Вы – желанье мое, упование и горсти семян, которые щедро я рассыпаю в пространствах бездонных».

Сожженный дом

Середина августа

Отметим ли день сей? Жесткий кусок... Он еще не совсем переварен. Смелее, старик, смелее! Это будет лучший способ заставить его растаять.

Говорят: летний ливень – мешок гривен. В таком случае я должен был стать богаче Креза: дождь все лето хлестал меня по спине, без передышки; однако я наг и бос, как юродивый. Только успел я пройти сквозь двойное испытанье (Глаша вылечилась, и жена моя тоже, одна от болезни, другая от жизни), как я получил от сил, управляющих миром (должно быть, на небесах есть женщина, которая сердится на меня; что я ей сделал?.. Меня любит она, чорт возьми!), такой яростный удар, что ныне я гол, избит, ноет все тело, но (что ж, это главное) кости целы.

Хотя и оправилась внучка, я все же не торопился вернуться восвояси; я оставался возле нее, наслаждаясь ее выздоровленьем еще больше, чем она сама. Когда ребенок так воскресает, это как будто видишь сотворенье мира; вселенная кажется свежеснесенной и млечно-белой. Итак, я бродил без дела, рассеянно слушая вести, которыми угощались, отправляясь на рынок, кумушки. И вот однажды мимолетное слово заставило меня наострить уши (...старый ослик, чувствующий близость дубины хозяйской). Говорили, что вспыхнул пожар в Клямси, в предместье Бевронском, и что дома пылают как хворост. Ничего больше я узнать не мог. Начиная с этой минуты я стоял (из сочувствия) как на угольях. Напрасно говорили мне:

– Будь покоен! Дурные весточки быстры, как ласточки. Если б дело касалось тебя, ты уже знал бы. Кто говорит о твоём доме? Мало ль ослов в Бевроне...

Но я места себе не находил, я бормотал:

– Это он... Он пламенеет. Пахнет горелым.

Взял я посох, отправился в путь. Я думал: «Ну и дурак! Впервые я покидаю Клямси, ничего не спрятав». Я, бывало, всегда, завидя врага, уносил под защиту стен, на другую сторону моста, свои пенаты, деньги, те созданыя искусства моего, которыми я всего более горжусь, вручье и утварь, да всякие безделушки: уродливы они, громоздки, а не отдам их за все золото мира, ибо они святые останки наших бедных радостей. В этот раз я о них не позаботился...

И слышалось мне, как старуха моя с того света кричит, корит за глупость. Я же отвечал ей:

– Виновата ты, из-за тебя ведь я так поспешил!

Повздоривши вдоволь (это заняло по крайней мере часть пути), я попробовал себя и ее убедить, что тревога напрасна. Но поневоле назойливая мысль возвращалась, садилась, как муха, мне на нос; я видел ее беспрестанно; и холодный пот щекотал мне спину. Я шел быстрым шагом. Прошел полдороги и начал подниматься по длинному лесному склону, как увидел на косогоре кибитку, едущую мне навстречу, и в ней осельника Жожоха, который, узнав меня, остановился, поднял к небу кнут и вскричал:

– Мой бедный дружок!..

Это было как в брюхо пинок. Я замер, разинув рот, на краю дороги. Он продолжал:

– Куда ты спешишь?.. Воротись-ка, Николка. Не иди ты в город, что толку? Горе одно. Все скошено, все сожжено. Ничего не осталось.

Каждое слово скотины мне надрывало нутро. Я попробовал было храбриться, проглотил я слюну, понатужился:

– Поди, я-то знаю давно.

– Так зачем же, – спросил он с досадой, – туда ты идешь?

Я отвечал:

– Взять обломки.

– Да я же тебе говорю, ничего не осталось, ну ничего, ни соломки.

– Жожох, не поверю: ужели же оба мои подмастерья и добрые соседи смотрели, как дом мой горел, не пытаюсь извлечь из огня хоть что-нибудь, ради меня, по-братски...

– Несчастный! Соседи твои? Да ведь это они твой дом подожгли!

Тут я опешил. А он, торжествуя:

– Вот видишь, ты ничего и не знаешь!

Не хотелось мне сдаться. Но он, уверенный в том, что он первый о беде мне поведал, стал, довольный и сердобольный, мне про жареху рассказывать.

– Виновата чума, – говорил он. – Все они спятили с ума. И вольно же было господам городского совета, шеффенам, стряпчему нас покидать? Ушли пастухи! Овцы взбесились. А тут объявилась зараза в предместье Бевронском; стали кричать: «Сжигайте дома зачумленные!» Сказано – сделано. Ты был далек, вот и начали с твоего. Работали рьяно, всякий делал что мог: думали – это во имя общего блага. Ну и, конечно, друг друга задорили. Когда разрушать начинаешь, странное что-то творится. Хмелеешь, рубишь сплеча, нельзя перестать... Вспыхнул дом, и они стали кругом плясать. Это было безумье какое-то... Если б ты их увидел, ты, пожалуй бы, сам заплясал. Доски в твоей мастерской пылали, трещали... Словом, мой друг, все сгорело дотла!..

– Хотел бы я видеть. Верно, славное зрелище было, – сказал я.

И это я думал. Но думал я также: я убит! Они добились меня. Эти чувства я скрыл от Жожоха.

– Так, значит, тебе все равно? – Он спросил с недовольным видом. (Конечно, любил он меня и жалел; но порой мы не прочь – проклятое племя людское! – видеть соседа в слезах – хотя бы затем, чтобы иметь удовольствие его утешать.)

Я сказал:

– Жаль, что они с этим пышным пожаром не подождали до праздников.

Я двинулся.

– И ты все-таки в город идешь?

– Иду. Будь здоров, Жожох.

– Ну и чудак ты!

Подстегнул он лошадку.

Я шел или, верней, притворялся идущим, пока не исчезла повозка за поворотом. Десяти-то шагов я пройти бы не мог, мне ноги въезжали в живот; я сел с размаху на камень, как на горшок.

Проходили мгновенья – скверные были мгновенья. Не стоило больше бахвалиться. Я мог горевать, горевать сколько душе угодно. Я не лишил себя этого. Думал я: «Все я утратил, жилище и даже надежду построить себе новый дом, мои сбереженья, которые я накопил по капле медленным, сладким трудом, воспоминанья жизни моей, пропитавшие стены, тени былого, подобные светочам. И еще больше того, – я утратил свободу. Куда же теперь я денусь? Придется мне поселиться у одного из детей моих. Я люблю их, еще бы; они любят меня, все так. Но я не дурак, я знаю, что всякая птица в своем гнезде оставаться должна, и старики стесняют юных, да и сами они стеснены. Каждый

печется о яйцах, снесенных им же, и забывает о тех, из которых он вылупился. Старик, не желающий сдохнуть, докучает, как незваный гость, если при этом пристанет он к новому племени; тщетно стараешься быть незаметным; долг остальных – относиться к тебе с уважением. На кой чорт уважение! Вот причина всех зол: ты им не ровня. Я приложил все усилия к тому, чтобы дети мои не уважали слишком меня; как будто достиг я успеха; но что б ты ни делал и как бы они ни любили тебя, ты будешь всегда им казаться чужим: страны, откуда пришел ты, неведомы им, а сам ты не знаешь тех стран, куда они тянутся; так как же возможно друг друга понять? Ты им в обузу, и душно тебе, раздражает все это... И к тому же (это больно сказать) человек, другими любимый, должен как можно меньше искушать любовь своих близких; какая б беда ни случилась, не надо от рода людского просить невозможного. У меня хорошие дети; вот и ладно. Они были бы лучше еще, если бы не приходилось к ним прибегать. Словом, у всякого гордость своя. Не люблю отнимать я у тех, которым я дал. Это как будто ты требуешь плату. Незаработанный хлеб застрекает в горле; чудится тысяча глаз, замечающих каждый твой кус. Нет, я зависеть желаю только от друга–труда. Мне свобода нужна, хочу у себя быть хозяином, входить, выходить по воле своей.

Горе мне, старому! Хуже просить подаянье у близких, чем у прохожих просить. Первые принуждены тебе дать; никогда ты не знаешь, от всей ли души помогают они; и лучше в сто крат околеть, чем знать, что они стеснены».

Так стонал я, мучился, чувствуя, что задеты душевная моя гордость, привязанности, личная свобода, все, что любил я (...воспоминанья прошлого, растаявшего как дым...), все, – и лучшее и худшее, что было во мне; и знал я, что волей–неволей, а придется мне, придется избрать самый горький путь. Сознаюсь, что я не разыгрывал бесстрастного мудреца. Я чувствовал себя жалким, словно дерево, которое подпилили бы по уровню земли, да и свалили. Но вот, сидя на камне своем, как на горшке, ища вокруг чего–нибудь, за что уцепиться, вдруг заметил я невдалеке полускрытые кудрявой листвою просади зубчатые башни знакомого замка... И вспомнил я внезапно о всех тех красивых произведеньях, которыми я за двадцать пять лет наполнил его, вспомнил я утварь, безделушки, резную лестницу, все то, что хозяин, добрый Филберт, мне заказывал. Вот был чудак! Иногда он меня в бешенство приводил. Однажды, помнится, он вздумал заставить меня изваять его любовницу в уборах Евы, а себя в латах Адама, Адама разудалого, резвого, – после внушений змия. И в гербовой зале я, по прихоти его, должен был так изваять оленьи головы на щитах, чтобы они походили на благодушных рогачей наших краев! Смеху–то было! Но чорту трудно угодить. Кончил одно, принимайся за другое... И деньги его видел я редко... Ничего! Он способен был любить прекрасное, будь это дерево или тело, и в обоих случаях он любил одинаково (так и следует: люби произведение искусства как женщину, сладострастно, всей душой, всеми чувствами), и хотя он мне и не платил, скупец, зато спас он меня! Тут я дышу, там – я погиб. Дерево моего былого срублено; но плоды его остались; они защищены от огня и от стужи. И мне захотелось их повидать, облизать их как можно скорее, дабы снова почувствовать сладость жизни.

Вошел я в замок. Там хорошо меня знали. Хозяин отсутствовал; но поднимным предлогом снять мерку для новых работ я направился туда, где я знал, что найду своих детей. Уже несколько лет я их не видел. Пока художник все еще чувствует крепость в чреслах, он творит и забывает о сотворенном. Впрочем, в последний раз, когда хотел я войти, хозяин мне путь заградил со странным смешком. Я подумал, что он прячет там потаскушку какую-нибудь, жену чужую; и, будучи уверен, что она – не моя, я не настаивал. И к тому же не стоит спорить с причудами этих дородных скотин... Челядь тамошняя и не пытается понять господина: он-де слегка того...

Итак, я стал храбро подниматься по лестнице огромной. Но не сделал я и пяти шагов, как, подобно жене Лота, я замер, окаменел. Виноградные грозди, персиковые ветки, цветущие лианы, которые свивались вокруг перил резных, были искромсаны размахистыми ударами ножа. Я глазам не поверил, я охापал ладонями бедных калек: почувствовал я под пальцами глубокие раны их. Застонав, задохнувшись, я взбежал очертя голову по ступеням: меня потрясло страшное предчувствие. Но то, что увидел я, превосходило всякое воображение.

В столовой, в зале гербовой, в опочивальне, у всех выпуклых истуканчиков на хоромном наряде были отрезаны у кого рука или голень, а не то – фиговый листок. На пузах баулов, вдоль чувалов, на длинных бедрах столбов узорчатых зияли глубокие надписи, выкроенные ножом, – имя хозяина, какая-нибудь мысль дурацкая или же день и час этого геркулесова труда. В глубине просторного покоя моя тонкая, голая русалочка, опирающаяся коленом о шею львицы мохнатой, послужила мишенью: живот ее был пробит пищальными выстрелами. И везде, где попало, дыры и вырезы, отстроганные щепки, пятна чернил и вина, усы приклеенные или похабные шуточки... Словом, все то нелепое, что скука, и одиночество, и дурость, и глупость могут внушить богатому болвану, который в замке своем уж не знает, что выдумать, и только и умеет, что разрушать. Будь он рядом, я, пожалуй, убил бы его. Я мычал, тужился. Долго не мог я говорить. Шея была багровая, и вздулись жилы на лбу. Вращал я глазами, как рак. Наконец двум-трем ругательствам удалось пройти. Пора!.. Еще немножко, и я бы лопнул... Втулка выскочила, и уж я, братцы мои, ух как разошелся! В продолжение десяти минут я, дыханье не переводя, поминал всех богов и выблеывал свою злобу.

– Ах, пес, – кричал я, – для того ли привел я в берлогу твою моих дивных детей, чтоб ты мог их ломать, истязать, осквернять, растлевать!

Увы, мои кроткие крошки, рожденные в радости, думал я, будете вы моими наследниками, создал я вас здоровыми, крепкими, пухлыми, не было в вас недостатков телесных, вы созданы из дерева, живущего тысячу лет, – а ныне, о горе, искалечены вы, изуродованы – снизу, сверху, спереди, сзади, с кормы до носа, с погреба до чердака, покрыты ранами, как шайка старых грабителей по окончанию похода! Неужели же я отец всех этих уродов!.. Господи, внимли, позволь мне (тебе, быть может, молитва моя излишней покажется) не в твой рай идти после смерти, а в ад, где жарит Дьявол грешные души, – в ад, где буду я сам вертеть, вертеть на огне убийцу детей моих, на вертел

его посадив, как на кол!

Пока я так плакал, ко мне подошел знакомый слуга, старый Антоша, и попросил меня перестать... Толкая меня к двери, добряк старался по пути утешить меня.

– Ну можно ли, – говорил он, – приходиться в такое состояние из-за кусков дерева? Что б ты сказал, если пришлось бы тебе, как нам, жить бок о бок с этим безумцем? Пускай забавляется он (это и право его) досками, им же купленными. Хуже было бы, если б он так поступал с честными людьми, со мной или с тобой...

– Эх, – отвечал я, – пусть он дубасит тебя! Неужели ты думаешь, что я бы не согласился быть высеченным ради одного из этих кусков дерева, оживленного моими пальцами? Человек – ничто; творчество – вот что свято. Трижды преступен тот, кто убивает вымысел!..

Многое еще мог бы я сказать, и все с тем же красноречием; но увидел я, что слушатели мои ничего не поняли и что я казался Антоше не менее безумным, чем господин его. И когда я обернулся с порога, чтобы в последний раз обнять взором поле сраженья, смешная сторона положенья (вид моих бедных безносых богов и глупо-спокойные глаза Антоши, сочувствия полные, и я сам, дурень, сетующий, разглагольствующий один среди бревен) – вспыхнула передо мной; и, сразу забыв гнев свой и печаль, я расхохотался в лицо Антоше остолбеневшему – и был таков.

Я очутился опять на дороге. Я говорил:

– Уж теперь они взяли у меня все. Я гожусь в покойники. Осталась одна шкура... Да, но в ней, чорт возьми, есть кое-что. Некий осажденный, отвечая тому, который угрожал, если не сдастся он, перебить всех его детей, сказал: «Как хочешь!.. У меня здесь есть орудие для создання новых». Так и я не всего еще лишен, одного у меня отнять они не могли. Мир – равнина бесплодная, но кое-где колосятся нивы, нами, художниками, взлелеянные. Твари земные и небесные клюют, жуют, топчут их. Не в силах творить, они только и делают, что разрушают. Грызите, губите, животные, попирайте мои колосья, – я взращу иные. Созрели ли они или зачали, – что мне жатва? В лоне земли пухнут новые зерна. Я грядущее, а не прошедшее. И если настанет день, когда сила моя угаснет, отуманятся глаза и не будет у меня ни этих ноздрей мясистых, ни той бездны, в которую вино вливается, ни языка моего неугомонного, – когда у меня уже рук не будет, и ловкость пальцев и живая бодрость моя исчезнут, когда я буду очень стар, без жара в жилах, без здравого смысла... в тот день, Персик мой, меня не будет в живых. Нет, будьте покойны! Можете ли вы вообразить себе Персика, который бы не чувствовал, не творил, Персика, который не смеялся бы, не жил полной жизнью? Не можете, а не то – выскочил он из шкуры своей. Тогда сожгите ее. Оставляю вам свое лоскутье...

Продолжал я идти по направлению к Клямси. И вот, достигнув вершины холма (шел я поступью молодецкой, играя палкой; по правде сказать, я чувствовал себя уже утешенным), увидел я белокурого человечка,

который, плача, бежал мне навстречу; это был Шутик, мой маленький подмастерье, мальчуган лет тринадцати; он, бывало, во время работы обращал больше внимания на мух порхающих, нежели на труд, и на дворе был чаще, чем дома; там попрыгивал он да косился на икры проходящих девиц. Я его, беспечного, угощал подзатыльниками день-деньской. Но он ловок был, как мартышка, пальцы его были так же хитры, как и он сам, работали искусно; и я любил, несмотря ни на что, его вечно разинутый рот, острые зубки, впалые щеки, лукавые глаза и вздернутый нос. Он это знал, нахал. Напрасно я кулак поднимал, громыхал: он видел смех в глазу у Юпитера. Получив удар, только встряхивался, равнодушный, как ослик, и потом начинал снова, лай не лай. Это был совершенный негодяй.

Поэтому я был немало удивлен, видя, что плачет он, как водометный тритон; крупные, грушевидные слезы вытекали, капали из глаз его, из носа. Вот бросается он ко мне, целует куда попало, воя и обливая слезами грудь мою. Я ничего не понимал.

– Эй, пусти, что с тобою. Пусти же меня. Нужно сморкаться, сопляк, раньше чем лезть целоваться.

Но вместо того, чтобы перестать, он, обхватив меня, соскальзывает, как по стволу сливному, к ногам моим и заливается пуще прежнего. Я начинаю тревожиться:

– Будет, будет, мальчишечка! Вставай! Что случилось?

Беру его за руки, поднимаю.. гопки!.. и вижу, что рука у него перевязана; кровь выступала сквозь тряпки, ресницы его были опалены, одежды изорваны. Я сказал (уже забыл я о своем горе):

– Проказник, что ты еще натворил?

Он простонал:

– Ох, хозяин, беда какая!

Посадил я его рядом с собой на откосе, спросил:

– Ответишь ли наконец?

Он воскликнул:

– Все сожжено.

И снова брызнули водопады слез. Тогда только я понял, что все это большое горе было из-за меня, из-за пожара, и несказанно тепло стало на сердце.

– Бедняжка, вот из-за чего ты плачешь!

Он сказал (показалось ему, что не понял я):

– Мастерская сгорела!

– Вестимое дело! Знаю я, знаю новость твою. За один час мне о ней уши прожужжали. Что же реветь? Беда как беда.

Он облегченно взглянул на меня. Но, видно, очень было ему грустно.

– Ты, значит, любил свою клетку, дрозд, мечтавший только, как бы вылететь из нее? Э, да я подозреваю, что ты сам, мошкара, плясал с другими вокруг костра? – (Я и первому слову не верил.)

Он с возмущением ответил:

– Это неправда, это неправда! Дрался я. Мы сделали все, что могли, чтобы огонь потушить, но было нас только двое. И Канат [68], больной (это был мой другой подмастерье), соскочил с постели, хотя его и трясла горячка, и встал вместе со мной перед дверью. Поди ж, устой! Экие звери! Они налетели толпой, смели нас, сшибли, растоптали, смяли. Мы напрасно лягались, кулачились; они перешли через нас, как река, когда открыто творило. Канат на ноги встал, побежал за ними: они его чуть не убили. Я же, пока боролись они, шмыгнул в мастерскую горящую... Господи, что за огнище!.. Там сразу все занялось, это было как светоч смоленный, который кажет язык свой белый и красный, свистящий, и в лицо плюется вам дымом да искрами. Плакал я, кашлял, уж тело мое начинало шипеть. «Шутик, сказал я себе, ты пойдешь на жаркое! Чего там, посмотрим еще!» Я разбежался и, как в Иванову ночь, прыгнул... скок! Штаны прожжены, поджарен бок... Падаю я в трескучую кучу щепок... Так! Подскачил, боднулся и растянулся, головой уткнувшись в верстак. Оглушило меня. Но очнулся я скоро. Слышал я, – пламя вокруг так и храпит, а на улице эти разбойники пляшут. Подняться пробую, падаю снова, – ушибся я здорово; на четвереньки встаю и в пяти шагах вижу маленькую вашу святую Магдалину: огонь уже лизал ее тоненькое, голенькое тело, волосы распущенные на плечиках пухленьких... «Стой!» – крикнул я и побежал, схватил, погасил ее чудные, вспыхнувшие ноги, прижал ее к сердцу; я уж не знаю, не знаю, что делал, целовал ее, плакал, шептал: радость моя, я держу, я держу тебя, нет, ты не бойся, я крепко держу, ты не сгоришь, даю тебе слово. И ты тоже должна мне помочь. Мы спасемся, милая... Дольше мешкать нельзя было... Грох! рушится потолок. Невозможно вернуться тем же путем. Мы стояли у оконца круглого, выходящего на реку; пробиваю стекло кулаком, мы проходим насквозь, как через обруч: как раз места хватило. Я скатываюсь, я ныряю на дно Беврона. По счастью, дно от поверхности недалеко, и, так как жирно и мягко оно, Магдалина, упав, шишек себе не наделала. Я был менее счастлив: ее не выпустил я, я барахтался, в иле захлебывался. Выпил, наелся я больше, чем нужно. Словом, я вылез, вы видите нас. Хозяин, простите, что всего я не спас.

Развязав благоговейно свой узел, из свернутой куртки вытащил он Магдалину; ноги ее обгорели, но улыбались, как прежде, глаза невинно-задорные. Я так умилен был, что слезы (хоть я не рыдал ни над мертвой женой, ни над внучкой больной, ни над потерей добра и слепым избиением творений моих), слезы брызнули.

И, обнимая обоих, о третьем я вспомнил, спросил:

– А Канатик?

Шутик ответил:

– С горя он помер.

На колени я встал, посреди дороги, землю поцеловал.

– Спасибо, мой сын.

И, взглянув на ребенка, слепок державшего в раненых сжатых руках, я сказал небесам, на него указав:

– Вот из работ моих самая лучшая: души, которые я изваял. Их не возьмут у меня. Дерево можете сжечь! Душа – навеки моя.

Бунт

Конец августа

Когда прошло волнение, я сказал Шутику:

– Ну те-ка! Что сделано – сделано. Посмотрим, что остается сделать.

Я заставил его рассказать все, что в городе произошло за те две недели, пока я отсутствовал.

– Говори ясно и коротко, без лишней болтовни: что прошло, то прошло; главное, знать настоящее наше положение.

Я узнал, что над Клямси царят чума и страх, страх пуще чумы: ибо последняя, по-видимому, уже отправилась искать счастье в иных краях, уступив место разбойникам, которые, привлеченные запахом, поспешили вырвать у нее добычу. Они были хозяева положения. Сплавщики, проголодавшись и обезумев от страха заразы, не мешали им или же поступали так же. Законы онемели. Те, которые должны были их блюсти, рассеялись.

Из четырех наших шеффов один умер, двое бежало; стряпчий задал лататы[69]. Начальник замка, старик смелый, но одержимый подагрой, однорукий, со вспухшими ногами и телячьими мозгами, достиг лишь того, что на шесть кусков разорвали его. Оставался последний шеффен – Ракурн; под напором этих вырвавшихся зверей он, вместо того чтобы их отбить, решил (из страха, из слабости, из хитрости), что благоразумнее будет им уступить; и к тому же он, не признаваясь себе в этом (я знаю его, я разгадал), норовил натравить свору поджигателей на тех, счастье которых злило его, или на тех, которым

он хотел отомстить. Я понимал теперь, отчего дом мой избрали в первую голову!.. Я спросил:

– А другие, мещане–то, что они поделявают?

– Бебекают, – отвечал Шутик, – они ведь овцы; ждут у себя, чтоб пришли их резать. Нет у них больше ни пастуха, ни собак.

– А я–то, Шутик, на что? Посмотришь–ка, дружок, остались ли у меня зубы. Пойду к ним, малыш.

– Хозяин, что может сделать один?

– Отчего же не попробовать...

– А коль мерзавцы эти поймут вас?

– Больше нет у меня ничего. Наплевать мне на них. Поди ж, причеши облысевшего дьявола!

Он заплясал:

– Весело–то как будет! Финти–фирюльки, люльки, пульки, таратарарусы, вот как, вот как!

И, на бегу вскинув обожженные руки, он перекувырнулся и чуть не растянулся на дороге. Я принял вид строгий.

– Эй, мартышка, – сказал я, – не дело этак вертеться, уцепившись хвостом за ветку! Стой! остепенимся... Надо слушаться.

Он слушал с горящими глазами.

– Ты недолго будешь смеяться. Вот: иду я один в Клямси, иду теперь же.

– А я! А я!

– Тебя же я посылаю в Дорнси предупредить господина Николу, нашего шеффена, человека осторожного, с добрым сердцем и с еще лучшими ногами, любящего себя нежней, чем сограждан своих, но больше себя самого любящего свое добро, – что завтра утром собираются пить его вино. Далее, склонив путь в Сардий, ты найдешь в голубятнике своем Василия Куртыгу, стряпчего, и передашь ему, что в Клямси дом его будет непременно сожжен, разграблен и прочее, если не вернется он до ночи. Он вернется. Вот и все. Ты сам найдешь, что сказать, и без уроков моих знаешь, как врать.

Мальчик почесал у себя за ухом:

– Трудность не в том. Не хочется мне вас покидать.

– Спрашиваю ли я тебя, что хочешь ты и чего не хочешь? Я хочу, я. Ты должен слушаться.

Он упорствовал. Я сказал:

– Будет!

И видя, что он, малыш, беспокоится о судьбе моей:

– Я тебе не запрещаю бежать бегом. Когда все исполнишь, ты сможешь меня нагнать. Лучший способ помочь мне – это подвести подкрепление.

– Я приведу их, – сказал он, – будут нестись они, Куртыга и Никола, сломя голову, обливаясь потом, задыхаясь; коль нужно будет, привяжу им к хвосту кастрюлю!

Он полетел как пуля, потом остановился опять.

– Хозяин, скажите мне толком, что хотите вы предпринять!

С важным, таинственным видом я отвечал:

– Я уже знаю! – (Душа вон, ничего я не знал!)

* * *

Вечером около восьми я прибыл в Клямси. Под золотыми облаками село красное солнце. Ночь только-только начиналась. Что за славная летняя ночь! Но некому было наслаждаться ею. Ни зевак, ни сторожей у городских ворот. Входишь как на пустую мельницу. На большой улице тощая кошка грызла корку; увидя меня, ошетилилась, потом улепетнула. Дома, зажмурясь, казали деревянные мертвые лица. Ни звука. Я подумал: «Все они умерли. Я пришел слишком поздно».

Но вот почувал я, что за ставнями слушают уши звон шагов моих. Я стал стучать, кричать:

– Отворите!

Дверь и не дрогнула. Подошел я к другому дому. Постучал снова ногой и дубиной. Изнутри мне послышалось – будто шурк мышиный. Тогда я понял.

– Зарылись они, несчастные! Шут их дери, покусая им ляжки!

Кулаком, каблуком я стал барабанить по ставням книжной лавки:

– Эй, братец! Эй, Денис Сулой, сукин сын! Все раскатаю, коль не откроешь. Открой, каплун, я – Николка Персик.

Тогда (как будто от прикосновения феиной волшебной палочки) все ставни растворились, и я увидел на подоконниках, по бокам улицы, словно ряды луковиц, растерянные лица, уставившиеся на меня. Они глядели, глядели, глядели... Я и не знал, что я так прекрасен; ощупал я себя. Расплылись сморщенные их черты. Они, казалось, довольны были.

«Добрые люди! Как любят они меня!» – подумал я, не признаваясь себе в том, что радость их была внушена моим успокоительным присутствием в сей час, на сем месте.

Тогда-то завелась беседа между Персиком и лукавцами. Все говорили сразу; и, один против всех, я держал ответ.

– Отколе? Что делал? Что видел? Что хочешь? Как мог ты войти? Где ты пролез?

– Стойте, стойте! Не горячитесь. Я рад заметить, что язык-то у вас остался, хоть душа ушла в пятки, а пятки – в землю вросли. Эй, что вы там делаете? Выходите-ка, полезно вдыхать свежесть вечернюю. Штаны, что ли, украли у вас, что вы сидите дома?

Но вместо ответа они спросили:

– Персик, на улицах, пока шел ты сюда, кого ты встретил?

– Дураки, кого же я встретить мог, раз вы все взаперти?

– А буяны?

– Буяны?

– Они грабят, сжигают.

– Где же?

– В Беяне.

– Так пойдем задержать их! Что же вы притаились в курятне?

– Мы свой дом сторожим.

– Коль хотите свой дом оберечь, помогайте чужим.

– Мы в первую очередь, ибо спешим. Всякий свое добро защищает.

– Да, я знаю погудку: люблю я соседей своих, но нет мне дела до них. Слепцы! Вы играете на руку разбойникам. После соседей вы попадетесь. Каждый пройдет через это.

– Шеффен Ракун нам сказал, что лучшее в данном случае – притулиться до тех пор, пока порядок не будет восстановлен.

– Кем?

– Господином Невером.

– До тех пор немало воды протечет под мостами. Господин Невер занят своими делами. Когда он вспомнит о ваших, то будет уже поздно. Вперед, дети, вперед. Тот права на жизнь не имеет, кто ее защищать

не умеет.

– Они вооружены, неисчислимы.

– Не так черен чорт...

– У нас нет вождей.

– Будьте ими.

Они продолжали болтать, из того, из другого окна, как птицы на жердочке; пререкались они, но – ни с места. Я выходил из терпенья.

– До зари, что ли, вы заставите меня здесь простоять, посередине улицы, нос задирать, шею вывертывать? Я не пришел сюда затем, чтобы распевать у вас под окнами, пока вы там зубами щелкаете. То, что хочу вам сказать, спеть нельзя, и кричать о нем тоже не следует! Отворите! Отворите мне, ради Бога, а то подожду я всю улицу. Эй, выходите, самцы (коль еще таковые остались); довольно и кур, чтобы насест беречь.

Полусмеясь, полубранясь, одна приоткрывалась дверь, потом и другая; осторожно высунулся нос, потом и весь зверь, и как только вышел один, все, как овцы, последовали. Всяк норовил заглянуть мне в глаза.

– Ты вылечился?

– Здоров, как вода.

– И никто на тебя не напал?

– Никто, разве стадо гусей, шип пустивших мне вслед.

Увидя, что эта двойная беда с меня сошла как с гуся вода, они свободней вздохнули и нежней полюбили меня.

Я сказал:

– Вглядитесь же: тело–то цело. Части все налицо. Нет, ни одной не пропало. Хотите очки мои?.. Цыц, будет с вас. Завтра яснее увидите. Время не ждет, вперед, полно дурачиться. Где бы могли мы переговорить?

Гайно сказал:

– У меня в кузнице.

В кузнице у Гайна, где пахло копытом, где почва была лошадьми утоптана, мы скучились в ночи, как стадо.

Заперли двери. На полу мерцал огарок, и огромные, перегнутые тени наши плясали по своду, черному от копоти. Все молчали. И внезапно, все разом, заговорили. Гайно взял молот и ударил по наковальне. Звук

этот прорвал гул голосов. Сквозь пройму вошла назад тишина. Я ею воспользовался:

– Пощадим легкие. Я уже знаю, в чем дело. Разбойники – у нас. Ладно! Выставим их.

Те сказали:

– Они слишком сильны. За них – сплавщики.

– Сплавщиков томит жажда. Им не нравится смотреть, как пьют другие. Я вполне понимаю их. Никогда не нужно искушать Бога, и тем более сплавщика. Раз вы допускаете грабеж, не удивляйтесь, что иной – будь он и не тать – может предпочитать, чтобы плод воровства был у него, а не у соседа в кармане. К тому же повсюду есть добрые и злые.

– Но ведь шефен Ракун запрещает нам двигаться: в отсутствие остальных, наместника, стряпчего, надлежит ему оберегать город.

– Оберегает ли?

– Он говорит...

– Оберегает ли, да или нет?

– Стоит только взглянуть!

– Ну, так мы примемся за это.

– Шефен Ракун обещал, что, если мы притулимся, нас пощадят. Бунт останется в пределах предместий.

– Откуда он это знает?

– Пришлось ему заключить с ними союз, вынужденный, насильный.

– Но ведь союз – это преступление!

– Этак-де лучше, проведу их.

– Кого ж он проведет, вас или их?

Гайно снова стукнул по наковальне (такая уж была у него привычка, он, так сказать, шлепал себе по ляжке) и сказал:

– Персик прав.

У всех был вид пристыженный, пугливый и злобный. Денис Сулой нос повесил:

– Если б все говорить, что думаешь, многое можно было бы рассказать.

– Что ж, говори, зачем молчать? Все мы здесь братья. Чего ж вы боитесь?

– Самые стены слышат.

– Ах вот как! Ну-ка, Гайно, возьми-ка молот, стань-ка перед дверью, дружище... Первому, кто захочет войти или выйти, вдвинь череп в живот! Слышат ли стены или нет, клянусь я, ничего они не передадут. Ибо когда выйдем мы, то сразу же выполним решение, которое примем сейчас. А теперь говорите! Кто молчит, тот предатель.

Славный был гомон! Вся ненависть и страх затаенный так и хлынули. Они вопили, кулаки показывали.

– Он держит нас, лгун, мерзавец Ракун. Продал нас, Иуда, нас и добро наше. Что делать-то нам? Связаны мы по рукам. Все у него – сила, стража, закон...

Я спросил:

– Где скрывается он?

– В городской думе. Там он таится, ночью и днем, безопасности ради, и окружен толпой негодяев, которые блюдают его или, скорее, наблюдают за ним.

– Словом, он пленник! Ладно. Мы тотчас же пойдем освобождать его. Гайно, отвори дверь!

Они еще, казалось, не убеждены.

– За чем дело стало? Рассуждать не время.

Но Сулой сказал, почесывая темя:

– Шаг опасен. Драки мы не боимся. Но, Персик, в конце-то концов, права нет у нас. Человек этот – закон. Идти против него значит брать на себя, как-никак, тяжелую...

Я прервал:

– ...от-вет-ствен-ность? Что ж, я беру ее. Не беспокойся. Когда я вижу, Сулой, что подлец подличает, я начинаю с того, что его оглушаю; а уж потом спрашиваю, как зовут его, будь он стряпчий иль Папа, все равно. Друзья, поступайте так же. Когда порядок в беспорядке, последний должен порядок восстановить и тем спасти закон.

Гайно сказал:

– Я с тобой.

Он шел, вскинув на плечо молот, согнув огромные руки (только четыре пальца на шуйце, указательный был оттяпан); одноглазый, смуглый, высокий, широкий – он походил на движущуюся башню. А за ним спешили остальные, под защитой его спины. Каждый побежал в лавочку свою

взять пицаль, а не то секач или боек. И, признаться, я не могу поручиться, что вернулись все: иной остался у себя, не найдя (бедняга!) своих доспехов. По правде сказать, нас оставалось немного, когда достигли мы главной площади. Тем лучше: остатки сладки.

По счастью, дверь городской думы была открыта: пастух был так уверен в том, что овцы его, не бекая, дадут себя остричь, что, пообедав вкусно, он и его собаки спали крепким сном праведных. В приступе нашем, что и говорить, ничего геройского не было. Голыми руками взяли мы подлеца, из норки вытянули мы его, беспорточного, как зайца ободранного.

Ракун был жирен, с круглым розовым лицом, с мясистыми подушечками на лбу, над самыми глазами; вид у него был слащавый, не глупый, но и не добрый. Он это доказал на деле. С первых же мгновений он знал совершенно точно то, что ему угрожало. Только мелькнула молния страха и ярости в глазах его серых, закрытых под комочками век. Тотчас же он спохватился и властным голосом спросил нас, по какому праву мы хлынули в обитель закона.

Я сказал:

– Мы пришли, чтоб очистить твою кровать.

Он стал пуще негодовать. Тогда Сулой:

– Не время, Ракун, угрожать нам. Вы здесь обвиняемый. Послушаем–ка оправданье ваше. Начинайте.

Тот внезапно иную песенку затянул:

– Дорогие мои сограждане, я просто не понимаю, что вы от меня хотите. Кто жалуется? И на что? С опасностью для жизни не остался ли я, чтоб охранять вас? Все другие бежали, мне пришлось одному отбивать и воров, и чуму. В чем укоряют меня? Почему? Я ли виновен в беде, которую я же устранить стараюсь?

– Знаем, – сказал я, – знаем: усопшему мир, а лекарю пир. Ты, Ракун, врач, врун, откармливаешь крамолу, упитываешь чуму, а потом выжимаешь вымя обеим твоим скотинам. Соглашаешься ты с ворами. Поджигашь наши дома. Тех предаешь, которых ты должен хранить, тех направляешь, которых ты должен бить. Но скажи нам, изменник, из трусости или из скупости творишь ты эти дела? Что на шею подвесить тебе? Какую надпись? «Вот человек, продавший свой город за тридцать сребреников?» Тридцать сребреников? Что за счеты! Поднялись цены со времен Искарюта. А не то: «Вот старшина, который, желая шкуру спасти, пустил в оборот шкуры сограждан».

Он опять пришел в ярость и сказал:

– Я поступил как нужно, это право мое. Все те дома, где харчевала чума, я сжег. Таков закон.

– И ты навечаешь заразу, ты отмечаешь крестом жилище всех тех, кто тебя называет врачом. «Кто хочет собаку свою утопить, говорит, что взбесилась она». Но ты ведь позволил мятежникам грабить дома зачумленные? Так-то с чумой ты воюешь?

– Я не мог удержать их. Вам же лучше, если грабители эти потом околеют, как крысы. Двойной удар. Полная чистка!

– Ишь ты, – значит, ты с вором идешь на чуму, а с чумою на вора! И так, помаленьку, дойдешь до того, что останешься ты победителем в разрушенном городе! Я же говорил! Умер больной, и болезнь умерла, один только лекарь все здравствует... Полно, Ракун, мы с этого дня постараемся как-нибудь, друг, обойтись без твоих услуг, будем сами лечиться; но так как за всякую помощь должно заплатить, мы для тебя приготовили...

Гайно прогремел:

– Постель на погосте.

Это было как будто в свору кинули костью. Бросились все на добычу, с воем; и один закричал:

– Уложим младенца!

Младенец, по счастью, забился в куток, и, прислонившись к стене, бледный, смотрел он на морды, готовые цапнуть. Я удержал собак:

– Цыц! Дайте мне...

Они сделали стойку. Несчастный, затравленный, голодный, розовый, как жижка, дрожал <он> от страха и от холода. Мне его жалко стало:

– Ну-ка, натяни порты! Достаточно мы любовались, дружок, твоим задом.

Смеялись друзья до упаду. Я воспользовался мигом затишья, чтобы их образумить. Зверь меж тем влезал в свою шкуру; зубы у него говорили, и взгляд был недобрый: чувствовал он, что опасность миновала. Он оделся и, уверенный в том, что еще не сегодня зайчишку затравят, прибодрился и принялся нас поносить; он называл нас бунтовщиками и угрожал покарать нас за оскорбление начальства.

Я сказал:

– Ты уж не начальство. Шефен, тебя я свергаю.

Тогда-то обрушился он на меня. Желанье отомстить взяло верх над осторожностью. Он сказал, что знает меня насквозь, что я советами своими вскружил голову этим полоумным буянам, что на меня падет вся тяжесть их преступленья, что я негодяй. В своей ярости он резким, свистящим голосом ругал меня, вываливал за кучей кучу крепких словечек. Гайно спросил:

– Прикончить его, что ли?

Я сказал:

– Ты хитро сделал, Ракун, что меня разорил. Ты хорошо знаешь, что я не могу повесить тебя, не навлекая на себя подозренья: отомстил-де за сожжение дома своего. Однако тебе, подлецу, пеньковый ошейник был бы к лицу. Но мы другим предоставим право тебя им украсить. Подождешь, с тебя не убудет. Главное то, что мы держим тебя. Ты ничто. Мы срываем с тебя твою пышную ризу. Мы отныне беремся за руль и за весла.

Он сказал:

– Персик, знаешь ли ты, что в ставку идет?

– Знаю, братец, – моя голова. И я ставлю ее. Коль проиграю – выиграш городу.

Повели его в тюрьму. Он нашел в ней теплое местечко, недавно занятое старым сержантом, которого засадили за неисполнение его приказанья. Пристав и привратник городской думы теперь, когда дело сделано было, наш поступок одобрили, сказав, что они всегда думали, что Ракун – предатель. Не думай, а действуй!

* * *

До сих пор замысел наш исполнялся гладко, будто скользил рубанок по ровной доске, узлов не встречая. Это меня удивляло.

– Где же разбойники?

Вдруг пронесся крик:

– Пожар!

Вот оно что! Грабили они в другом месте. От запыхавшегося человека мы узнали, что они всей шайкой растаскивали склад Петра Пуляхи, жгли, били, пили, били-били-бом. Я сказал спутникам:

– Пойдем! Им скрипки нужны, чтобы плясать!

Мы побежали на Мирандолу. С вершины холма виден был нижний город, и оттуда, среди ночи, поднимался неистовый гул. На башне св. Мартына, задыхаясь, гремел набат.

– Друзья, придется спуститься, – сказал я, – туда, в этот ад. Жаркое будет дело. Все ли готовы? Да, ведь нужно вождя! Сулой, не избрать ли тебя?

– Нет, нет, нет, – залепетал он, отступая, – не хочу. С вас довольно того, что я в полночь по улицам принужден разгуливать с этим старым пукалом. Что нужно, выполняю, но какой же я вождь? Прости, Господи, нет у меня своей воли...

Я спросил:

– Кто же возьмется?

Но те – ни гугу. Знал я их, молодцов! Говорить, ходить – это туда–сюда. Но вот действовать – тут уж беда. Привыкли они, мелюзга мещанская, с судьбою хитрить, колебаться, торгуясь, ощупывать сто раз подряд полотно на прилавке, а там, глядь, и случай прошел, и полотно полиняло! Случай проходит, я руку вытягиваю.

– Коль не хочет никто, что ж, я за это берусь, я!

Они воскликнули:

– Да будет так!

– Только должны вы слушаться меня, не рассуждая! Иначе – погибли мы. До утра я предводитель. Завтра – судите. Решено?

Отвечали все:

– Решено!

Мы по склону сошли. Я шел впереди. Слева шагал Гайно. Справа – Бардашка, городской глашатай, со своим барабаном. У входа в предместье, на площади, мы уже стали встречать необычайно веселые толпы, целые семьи, жены, мальчики, девочки, которые по простоте душевной устремлялись туда, где грабили. Скажешь – праздник. Иная хозяйка захватила с собою корзинку, будто на рынок шла. Остановились они, чтобы полюбоваться нашим полком; и ряды их вежливо сторонились перед нами; они не понимали и слепо следовали сзади. Один из них, паричник Паршук, бумажный фонарь мне поднес под самый нос, узнал и сказал:

– А, Персик, друг сердечный, ты вернулся... Что ж – как раз!.. Вместе выпьем.

– На все есть время, Паршук, – отвечал я. – Выпьем мы завтра.

– Ты стареешь, друг мой Николка. Пить можно всегда. Завтра вина уж не будет. Они разливают его. Скорей! Или, быть может, сентябрьская дань тебе стала противна теперь?

– Мне противно краденое.

– Краденое? Да нет – спасенное. Когда горит дом, нужно ведь быть дураком, чтоб оставить все лучшее в нем!

Я его отстранил:

– Вор!

И прошел.

– Вор! – повторили Гайно, Бардашка, Сулой, все остальные.

Прошли они. Тот был сражен; потом я услышал гневные крики его; и, обернувшись, увидел, что бежит он, кулак показывая. Мы притворились глухими, слепыми. Нас обогнав, он внезапно замолк и стал рядом шагать.

Достигнув берега Ионны, мы увидели, что по мосту невозможно пройти. Народ так и кишел. Я приказал бить в барабан. Ряды раздвинулись, не очень понимая, в чем дело. Мы вошли кабаном, но тут же застряли. Я увидел двух знакомых сплавщиков, короля Калабрийского и Гада. Они сказали мне:

– Стой, стой, господин Персик! На кой чорт вы влезли сюда со своей телячьей шкурой и всеми этими ряжеными, важными, как ослы? Шутку ли шутите или впрямь в поход собрались?

– Ты угадал, Калабрия. Смотри, я до зари предводитель и иду город свой защищать от врагов.

– Враги? Что ты, с ума сошел! Кто же они?

– Да те, кто там поджигает.

– А тебе–то что? Твой дом ведь давно уж сожжен (сожалею; это, знаешь, ошибка была). Но дом Пуляхи, этого повесы, разжиревшего на счет трудящихся, этого вертуна, гордящегося шерстью, которую он состриг с нашей спины, дом Пуляхи, оголившего нас, презиравшего нас с высоты своей добродетели, – это иная песенка. Обворовавший его попадет прямо в рай. Не мешай! Тебе–то что? Не хочешь – не грабь, но не смей нам мешать! Терять нечего, а выгоды – ух!

Я сказал (тяжело мне было бить этих жалких олухов, не постаравшись их сначала образумить):

– Нет, потерять можешь все, Калабрия. А вот честь нашу нужно спасти.

– Нашу честь! – сказал Гад. – Это что за диковина? Пьется ли? Жрется ли? Может, завтра помрешь. Что от тебя останется? Ничего не останется. Что о тебе будут думать? Ничего не подумают. Честь – гостинец для богатых, для скотин, которых хоронят с эпитафиями, мы же кучей будем свалены в общую яму, как помои. Поди разбери, что пахнет честью и что дерьмом!

Не ответив Гаду, я обратился к другу его:

– Всякий сам по себе ничто, это правда, король Калабрии; но все вместе взятые – сила. Сто малых составят большого. Когда исчезнут нынешние богачи, когда испепелятся, с их эпитафиями, ложь их гробниц да имя их рода, будут еще поминать сплавщиков города Клянси; они в летописях останутся, благородные по–своему, с руками жесткими, с головой крепкой, как их кулаки, и я не хочу, чтобы назвали их мерзавцами.

Гад сказал:

– Чхать мне на это.

Но король Калабрии, сплюнув, воскликнул:

– Коль так, ты подлец! Персик прав. Знать, что так говорят, меня бы тоже обидело. И, видит Бог, это не скажется. Честь не одно достоянье богатого. Мы ему это докажем. Кто бы он ни был – он нас не стоит!

Гад сказал:

– Что там стесняться! Они–то стесняются разве? Не сыщешь бóльших обжор, чем все эти герцоги, принцы – Кондэ, Суассон и сам наш Невер, – которые, пузо набивши, как свиньи, еще натрескиваются до отвала золотом и, когда король умирает, растаскивают казну! Вот их честь, как они понимают ее! Право, мы были бы глупцами, если б не подражали им.

Король Калабрии выругался:

– Да, они – хрюки. Когда–нибудь добрый наш Генрих восстанет из гроба, чтобы взять их за горло, или ж сами мы их зажарим, набитых, подправленных золотом. Коли знать свинячится – в жилу ее пырнем, кровь пустим; но в их свинячестве мы подражать им не будем. Больше доблести в ляжке сплавщика, чем в сердце вора дородного.

– Итак, мой король, ты идешь?

– Иду; и вот те крест, Гад тоже пойдет.

– Нет, чорт ты дери.

– Ты пойдешь, говорю, а то – реку видишь: я те бух, ты плюх: эй, шевелись. Посторонись, дурачье, я прохожу!..

Он прошел, расталкивая народ, и мы следом за ним плыли в зыби, как мелюзга за громадной рыбой. Встречные были слишком пьяны, чтобы с ними можно было рассуждать. Все в свое время: сперва языком, потом кулаком. Мы старались только их тихонько наземь посадить, не слишком их разрушая: пьянчуга – это святое!

Наконец мы очутились у дома Петра Пуляхи. В нем грабители кишели, словно вши в шерсти. Одни выволакивали сундуки, тюки; другие нарядились в тряпье наворованное; бесшабашные шутники кидали, смеху ради, чашки и горшки из окон. Посреди двора катали бочки. Я видел одного, который пил, присосавшись к дырке, пока не плюхнулся вверх тормашками, под красно бьющей струей. Вино выливалось в лужи, и тут же дети его лакали. Дабы лучше видеть, воры во дворе навалили гору утвари и подожгли ее. В глубине погребов слышно было, как бойки разбивали бочки, бочонки; доносились вопли, стоны, кашель задыхающихся: весь дом так крякал, как будто у него в брюхе было стадо хрюшек. И уже там и сям из отдушин возникали языки дыма да

лизали решетки[70].

Мы проникли во двор. Ни один вор нас не заметил. Всякий занят был делом своим. Я сказал:

– Бей, барабан!

Затрещал Бардашка, провозгласил права, данные мне городом; и, в свою очередь голос возвысив, я приказал грабителям разойтись. Заслыша треск барабанный, они собрались, как мушиный рой, когда стукнешь по котелку. И только звук этот утих, все они начали вновь яростно жужжать и кинулись на нас, свища, гогойкая, осыпая нас камнями. Я принялся было ломать двери погреба; но из окошек они роняли черепицы и балки. Мы все же вошли, оттесняя этих мерзавцев. Гайну оторвало еще два пальца, а у короля Калабрии вытек левый глаз. Я же, отталкивая закрывающуюся дверь, застрял, как лиса в западне, угодив большим пальцем в щель. У, стерва! Я размяк, как женщина, чуть с души не скинуло. По счастью, заметил я пробитый бочонок водки; я окунул в него палец и всполоснул нутро. После чего, клянусь, мне уж не хотелось белки вывертывать. Но зато я тоже разъярился. Горчица в нос ударила.

Мы теперь боролись на ступеньках лестницы, ведущей в погреб. Пора было кончить. Эти рогатые черти разряжали в лицо нам пищали свои – так близко, что бородачи Сулого вспыхнула. Гад задушил огонь в мозолистых своих руках. Добро, что у этих пьяниц в глазах двоилось, когда они целились; не то ни один из нас живым не вернулся бы. Нам пришлось отступить и засесть у входа. Тут я заметил лукавый огонь, скользкий с одного крыла на другое по направленью к внутреннему жилью, где находился погреб, и приказал заставить выход камнями, обломками разными, образовавшими крепкую ограду; и над нею торчали наши копья и строгии, подобно колючей спине свернувшегося ежа.

– Разбойники, – крикнул я, – ах, так вы огонь любите! Ладно же, ешьте его!

Большинство пьяниц на дне погреба опасность поняло слишком поздно. Но когда чудовищное пламя растрескало стены и перегрызло бревна, со дна поднялась неистовая кутерьма; целый поток голяков (из коих некоторые уже пламенели) хлынул, как пенное вино, выбившее втулку. Первые шлепнулись об нашу стену, а следующие, прижавши их, плотно заткнули выход. Изнутри слышно было, как рычал огонь и скрежетали грешники. И могу вас уверить, что музыка эта не очень-то услаждала нас! Невесело слушать мычання мучимой плоти. И будь я частным лицом, всегдашним Персиком, я воскликнул бы:

– Спасем их!

Но ратный вождь не имеет права слушать и чувствовать: глаз да разум, зренье да воля – вот главное. Действовать нужно безжалостно. Спасти негодяев значило бы город погубить: ибо по выходе они оказались бы многочисленнее и сильнее нас; созревшие для виселицы, они, однако, не дали бы себя сорвать с дерева.

– Осы – в гнезде; пусть они там и останутся!..

И я увидел, как оба крыла огня сближались и над средним жильем замыкались, свиристая и раскидывая вокруг себя летучие перышки дыма...

И вот в этот самый миг я заметил – над первыми рядами тех, которые скучились у входа в погреб и так слиплись, что могли шевелить только бровями, глазами да орать во все горло, – я заметил моего старого куманька, негодяя не злого, но пьющего (как он попал туда, Господи, в это осье?), который теперь смеялся и плакал, не понимающий, ошеломленный. Гультай, лентяй, заслужил он это! Но все-таки было невмочь мне смотреть, как он жарится... Мы детьми вместе играли и в храме св. Мартына, вместе ели тело Господне: были мы братья по причастью первому...

Я отстранил рогатины, перепрыгнул через ограду, пошел по головам яростным (кусались они!), шагая по этому дымящемуся человеческому тесту, добрался до того места, где торчал Гамзун, которого схватил за шиворот.

«Дело дрянь! Как я его вытащу из этих тисков? – подумал я. – Придется, пожалуй, срубить его...»

По странной, счастливой случайности (я сказал бы, что есть Бог для пьянчуг, если б друг мой один был пьян), Гамзун оказался на краю ступеньки и клонился назад, когда те, которые поднимались, на плечи подхватили его таким образом, что он уж земли не касался, а наполовину выскочил, как косточка сливы, сжатая меж двух пальцев. Действуя ногами, чтобы раздвинуть справа и слева чужие плечи, защемившие ребра его, мне удалось, не без труда, вырвать кость из пасти толпы. Как раз успел! Огонь вихрем вздымался из отверстия лестницы, как из трубы. Я слышал – потрескивали тела в глубине печи, и, нагнувшись, широко шагая, не глядя, куда погружались подошвы мои, я воротился, волоча Гамзуна за жирные волосы.

Мы вышли из ада и удалились, предоставляя огню окончить дело свое. И меж тем, чтобы волнение свое задуть, мы тумачили Гамзуна, эту скотину, которая хоть и чуть не околела, удержала, прижав их к сердцу, два блюда эмалевых и миску расцвеченную, Бог весть где наворованные!.. И Гамзун, отрезвившись, шел, рыдая, раскидывая свои посудины, останавливался на ветру, выпуская крутую струю, и кричал:

– Все, что накрал, все отдаю!

На рассвете стряпчий, Василий Куртыга, прибыл в сопровождении Шутика, который гнал всюду. Тридцать ратников да кучка вооруженных крестьян дополняли шествие. В продолжение дня пришли еще другие, которых привел Николка[71]. На следующий день наш добрый герцог послал еще подкрепления. Они ощупали теплую золу, составили перечень повреждений, сосчитали убытки, прибавили к этому стоимость своего путешествия и – поминай как звали...

Смысл всего сказанного: «Помоги себе, король поможет тебе».

Как мы надули герцога

Конец сентября

Восстановился порядок, пепел остыл, и о заразе никто уже не говорил. Но город сперва был как будто придавлен. Жители пережевывали свой ужас. Они почву ощупывали; не были еще уверены, стоят ли они на ней или она над ними находится. В большинстве случаев в норках таились, а если и выходили на улицу, то семенили вдоль стены, развесив уши и хвост поджав. Да что ж, нечем было гордиться; смотреть в глаза друг другу и то не смели, и не радовало видеть лицо свое в зеркале: слишком хорошо осмотрели они друг друга, раскусили; человеческую природу застали врасплох, в одной рубашке, – вид неприятный! Они пристыжены были и недоверчивы. Я тоже, со своей стороны, неважно себя чувствовал: мысль об избиении, гарь пожара, а пуще всего воспоминанья о подлости, трусости, жестокости, обезобразившие знакомые лица, преследовали меня. Они это знали и втайне на меня досадовали. Понимаю: я был еще больше смущен; если б я мог, то сказал бы им: «Друзья, простите, я ничего не ведал...» И душное сентябрьское солнце тяготело над городом измученным – жар и застой последних летних дней.

Наш друг Ракун уехал под верной стражей в Невер, где герцог и король оспаривали друг у друга честь судить его, так что, пользуясь этим недоразумением, он, вероятно, рассчитывал проскользнуть у них меж пальцев, сквозь которые они, добрые люди, глядели на мои проступки. Оказывается, что, спасая Клямси, я совершил два или три крупных преступления, пахнувших каторгой. Но так как не случилось бы этого, если б не скрылись законные наши вожди, то ни я, ни они не стали настаивать. Не люблю на глазах правосудия проветривать шкуру свою. Вины за собой не чувствуешь – а как знать? Как пальцем попадешь в это чертовское колесо, – прости, рука! Отрубай, отрубай, не мешкая, если не хочешь быть съеденным...

Итак, заключили мы молчаливое условие: я ничего не сделал, они ничего не видели, а то, что произошло в ту ночь под моим руководством, то было ими же совершено. Но как ни старайся, а сразу стереть прошлое нельзя. Вспоминаешь кое о чем, и вот совестно. Боялись меня: я читал это во всех глазах; и я боялся себя тоже, боялся того Персика незнакомого, нелепого, который такие совершил подвиги. К чорту этого Цезаря, Аттилу, грозу эту! Грозы хмельные – это люблю. Но военные – нет, не мое это дело!.. Словом, мы были пристыжены, телом разбитые и утомленные; ныло сердце, и ныло под ложечкой. С жаром мы за работу принялись вновь. Труд впитывает стыд и горести, как губка. Труд обновляет душу и кровь. Работы было много: сколько развалин повсюду! И тут нам пришла на подмогу – земля. Никогда не бывало такого обилья плодов, урожая такого; и под конец высшей наградой ее оказался сбор винограда. Можно было

подумать, что матушка наша земля хотела вернуть нам вином всю кровь, поглощенную ею. Отчего бы так, в самом деле? Ничего не теряется; не должно потеряться. Если б терялось, куда же девалось оно? Вода льется с небес и туда же потом возвращается. Не так ли вино в сделках наших с землей нам за кровь отдается? Сок – то один. Я – лоза, или был я лозой, или ею когда-нибудь стану. Мне любо так думать; я хочу ею быть и не ведаю вечности лучшей, чем претвориться в лозу, в вертоград; тело мое разбухает и выливается в чудные, круглые, сочные ягоды, в черные, бархатно-нежные грозди, они раздуваются, лопаются в летних лучах, а потом (это слаще всего) их едят.

Как бы то ни было, сок винограда в этот год бил отовсюду, бил через край, земля истекала кровью. Глядь, и бочек уже не хватило; за недостатком сосудов пришлось виноград оставлять в давящем чане, а не то в стирной лохани, даже его не сжимая! Да что! Дивное диво случилось: старик Кулиман, не зная, как быть, продал за тридцать копеек излишек за бочку, с условием только, что сами пойдут виноград собирать. Посудите, каково было наше волнение! Можно ль смотреть хладнокровно, как Господа Бога теряется кровь!

Нечего делать, пришлось ее выпить! Мы собою пожертвовали, мы совестливые. Но был труд геркулесовый, и не раз Геркулес бухался наземь. Однако хорошо в деле этом было то, что перекрасились мысли наши; разошлись морщины, просветлели лица.

А все-таки какая-то горечь оставалась на дне стакана, осадок, вкус ила; мы чуждались друг друга; исподлобья следили. Правда, мы расхрабрились слегка (убив муху); но сосед соседа дичился еще; пил в одиночку, в одиночку смеялся: это очень вредно... Так продолжалось бы долго, не видать было выхода; но судьба с хитрецей. Она умеет найти тот единственный потешный способ, который бы прочно людей связал, а именно: она нас сплочает против кого-нибудь. Любовь тоже соединяет. Но то, что из тысячи рук выливает единый кулак, – это враг. Кто же враг? – Господин наш!

Случилось, что в эту осень герцог Неверский вздумал нам запретить хороводы вести. Однако! Чорт подери! Даже седые, хромые и те почувствовали в икрах мурашки. Как всегда, предметом спора был Голдовый луг. Это вечный тупик, не выйти никак. Этот прекрасный луг находится у подножья горы, у ворот городских, и близ него, как небрежно брошенный серп, серебрится Беврон излучистый. Вот уж триста лет, как его вырывают друг у дружки огромная пасть герцога и наша – более скромных размеров, но зато умеющая удержать схваченное. Впрочем, никакой вражды ни с той, ни с этой стороны; смеемся, соблюдаем вежливость, говорим: «Друг мой, други мои, повелитель наш...»

Но только поступаем мы по-своему, и ни мы, ни он не хотим уступить ни пяди земли. По правде сказать, в наших тяжбах мы никогда не одерживали верх. Суд окружной, суд местный, высшая ведомость – все выносили приговор за приговором, устанавливающие, что наш луг – не наш... Правосудие, как известно, – корыстное искусство называть черным то, что на вид белое; нас это не очень тревожило. Судиться – ничто, иметь – все. Бела ли корова или черна, оставь ее у себя, старина. Мы

так и сделали; оставались на своем лугу. Так удобно! Подумайте! Это единственный луг, которым бы не владел только один из нас: принадлежа герцогу, он принадлежит нам всем. Посему мы, без всяких угрызений совести, можем портить его. И видит Бог, мы не стесняемся! Все, что нельзя делать дома, делаем мы там: работаем, чистим, выколачиваем тюфяки, выбиваем старые ковры, сорим, играем, гуляем, коз пасем, пляшем под скрипку, упражняемся в стрельбе из пищалей, бьем в барабан, а ночью любимся там, в траве, бумажками расцветенной, на берегу шелестящего Беврона, которого ничем не удивишь (видал он виды)!

Пока здравствовал герцог Людовик, все шло хорошо: он притворялся слепым. Это был человек, который умел, чтобы лучше держать в руках своих подданных, отпускать поводья. Пускай-де покажется им, что они на свободе, пускай накудесят они, все равно... на деле хозяин-то я! Но сын его, глупый гордец, который предпочитает казаться чем-то, нежели чем-нибудь быть (это понятно, он – ничто), и хватается за нож, как только икнешь. А нужно, однако, чтобы пел француз и смеялся над властью. Когда не смеется он, то восстает. Ему невтерпех послушанье, если его господин во всем требует этого; смех нас равняет. Но этот птенчик вздумал нам запретить играть, плясать, топтать, портить траву на Голдовном лугу. В добрый час! После всех наших бед он нас лучше избавил бы от податей!.. Да, но мы ему доказали, что жители Клямси не из дерева, годного для топки, а скорее из крепкого дуба, в который туго входит топор: врезавшись, он еще с большим трудом вырывается. Не пришлось друг друга под локоть подталкивать. Галдеж был отменный. Отбирают наш луг! Отбирают подарок, нам данный или который мы сами присвоили (все одно: добро украденное, но триста лет сохраненное, – трижды святое имущество вора), добро тем более для нас дорогое, что было нашим оно, а мы пядь за пядью упорством и долгим терпеньем его покорили, единственное добро, нам не стоившее ничего, кроме усилий забрать его! Этак опротиветь может даже и такое усилие! К чему жить тогда? Если б мы уступили, сами мертвые из могил возопили бы! Честь города всех нас объединила.

Вечером того же дня, когда бирюк с барабаном провозгласил роковое постановление (он словно сопровождал преступника на шибеницу[72]), все люди с весом, предводители братств и общин да палочники собрались на рыночной площади. Разумеется, и я там был, представляя я мою покровительницу, бабушку Господню святую Анну. Насчет порядка действия мнения расходились; но что действовать нужно – на этом согласились все. Гайно и Калабрия были сторонники решительных мер: их замысел был – поджечь городские ворота, разбить ограды и стражников и начисто скосить луг. Но пекарь Флоридор и садовник Маклай – люди кроткие, мягкие, разумно стояли за то, чтобы продолжать войну на пергаменте: целомудренные воззвания и прошения, обращенные к герцогу (сопровожденные, вероятно, бесплатными произведениями природы – из сада и из печи). По счастью, нас было трое: я, Иван Бобыль да Евмений Пафура, которые равно не желали, дабы герцога образумить, как лизать, так пинать его в зад. Добродетель *in media stat*[73]. Истый галл, когда хочет над людьми посмеяться, умеет это делать спокойно, открыто, не пуская в ход рук, а главное – ничего не платя. Мало что мстишь, надо еще позабавиться. Итак, вот что решили мы... Но должен ли я наперед рассказывать вам

славную шутку, которую я придумал? Нет, нет, это значило бы ее обезвкусить. Достаточно заметить, нам в честь, что эта великая двухнедельная тайна была всему городу известна и свято им хранима. И хоть начальная мысль и принадлежит мне (горжусь), однако всякий прибавил к ней украшение какое-нибудь, локон, ленту: таким образом, дитя оказалось хорошо обеспеченным; отцов было у него сколько угодно. Шеффены скромно, тайком, справлялись ежедневно о здоровье ребенка; и Деловой еженощно, скрывая нос под плащом, приходил для переговоров, разъяснял, как можно закон переступить, оказывая ему должное почтение, и торжественно вытаскивал из кармана какую-нибудь витиеватую записку по-латыни, которая прославляла герцога и наше послушанье, а вместе с тем могла выражать как раз обратное.

* * *

Наконец великий день наступил. На площади св. Мартына ждали мы, вожди и собратья, чисто выбритые, расфуфыренные, ровно расположившись вокруг наших жезлоносцев. Ждали шеффенов. Когда часы пробили десять, зазвонили все башенные колокола. Тотчас же на обоих концах площади двери городской думы и двери храма широко распахнулись, и на обоих порогах показались (словно выпускные куклы часобоев) с одной стороны попы в белых рясах, с другой – шеффены, желтые и зеленые, как яблоки. Увидя друг друга, они через наши головы обменялись величавыми приветствиями. Потом спустились они на площадь: первым предшествовали расцвеченные служки, красные одежды и красные носы, вторым – пристава, увешанные всякой всячиной; и звенели их нагрудные цепи, подпрыгивали по мостовой их длинные палаши. Мы же стояли на краю площади, вдоль домов, образуя широкий круг; и власти, столпившиеся как раз посредине, олицетворяли пуп. Никто не опоздал, все были тут: приказные сутяги, подьячие, нотариусы, аптекари, знахари да врачи, тонкие знатоки мочи (у всякого свои причуды) – окружали голову и дряхлого архиерея, как священная стража из гусиных перьев и стеклянных sprays. Из господ городского сословия не появился, кажется, только один: стряпчий – представитель герцога, однако честный гражданин, муж дочери одного из шеффенов. Узнав о задуманном и боясь высказывать свое мнение, он накануне разумно решил удалиться.

Довольно долго мы топтались на месте, кипя от нетерпенья. Площадь напоминала чан, в котором бродит сок виноградный. Что за радостный гул! Все смеялись, говорили, скрипки пиликали, собаки лаяли. Ждали... Кого? Терпенье! И вот она грядет, радость-то. Еще до появления ее рой голосов вылетает вперед и ее возвещает; и все шеи повертываются, как жестяные ветреницы при дуновеньи. Показалась из-за угла Рыночной улицы – и на плечах восьми дюжих парней ходуном заходила над толпой – пирамидальная деревянная постройка, – три неравных стола, поставленные один на другой, с ножками, пестрой тесьмой перевитыми, нарядные, в светлых шелковых штанишках, а на верхушке, под пышно расшитым балдахинном, с которого спадали потоки цветных лент, высилась завешанная статуя. Никто и не подумал удивиться: все были посвящены в тайну. Каждый, шапку сняв, поклонился ей; но мы, хитрые черти, смеялись в кулак. Как только сооружение это выдвинулось на самую середку, между городским головой и архиереем, все общины с музыкой прошествовали, сперва обращаясь вокруг неподвижной оси,

потом углубляясь в переулок, который, окаймляя портал храма, спускается к Бевронским воротам. Впереди, как и полагается, выступал св. Никола, король Калабрии, облаченный в ризу, с золотым солнцем, вытканым на спине; скажешь – пестрый жук. Держал он в черных, узловатых руках жезл, согнутый на концах, в виде той лады, с которой Никола благословил трех детишек, сидящих в плавучей лохани. Четверо старых моряков сопровождали его, неся четыре желтых свечи, толстых, как бедра, и крепких, как дубины, коими они готовы были действовать в случае надобности. И Калабрия, насупив брови и подняв к своему святому свой единственный глаз, шагал, широко раздвигая ноги и выпячивая остаток брюха.

Следовали товарищи Жестяного Горшка, сыновья святого Ильи, кожевники, слесари, тележники, кузнецы; им предшествовал Гайно, держа над головой в двупалой руке, словно в клещах, крест с резьбой на подножье, изображающей молот и наковальню. И гобои играли: «У короля Дагобера штаны наизнанку».

За этими шли бондари, виноделы, поющие гимн вину и его святому – Викентию, который, стоя тычком на конце жезла, сжимал в одной руке кружку, в другой – сочную гроздь. Столяры, плотники, св. Иосиф и св. Анна, зять и теща, все люди с широкими глотками, следовали за святым покровителем кабаков, языком пощелкивая и косясь на водку. Далее пекари, жирно убеленные мукой, на остроге вздымали, как римское знамя, круглую булку в бледно-золотом венце.

После белых шли черные – сапожники смоленые; плясали они и хлопали потягами[74] вокруг своего святого. Наконец в виде сладкого – св. Фиакр, весь в цветах. Садовники, садовницы несли на носилках ворох гвоздик; на шляпах колебались вереницы роз, в руках – заступы, грабли.

На их красных шелковых знаменах, зыблемых осенним ветром, изображен был сам Фиакр с голыми икрами: высоко подоткнув полы, он скрючил большой палец ноги на ребре воткнутой лопаты.

Вслед тронулась занавешенная постройка. Девочки в белом семенили впереди и мяукали песнопенья. Городской голова и трое шеффенов шли с обеих сторон, держась за желуди лент, свисающих с балдахина. Сзади шествовал привратник, как петух, выпятив грудь колесом; и архиерей, сопровождаемый двумя попами (один – длинный, как день без хлеба, другой – плоский, как хлеб без дрожжей), напевал глубоким басом каждые десять шагов обрывок молитвы, но не утомлял себя, давал петь другим и спал на ходу, шевеля губами и сжав руки на брюхе.

Наконец толпище народа цельным куском катилось сзади, как тесто густое и мягкое, как жирный поток. А мы были – творило.

Вышли мы из города. Прямо на луг отправились. Ветер кружил листья яворов. По дороге полки их мчались на солнце. И медленная река увлекала их золотые латы. У ворот три стражника и новый начальник замка притворились, что нас не хотят пропустить. Но кроме последнего, только что прибывшего в город наш и все принимающего за чистую монету (несчастный прибежал из замка сломя голову и теперь

яростно тарасил глаза), все мы, словно воришки на рынке, действовали по соглашенью. Все–таки побранились мы, потолкались: это входило в наш уговор, мы играли честно; но очень было трудно смех удержать. Однако не следовало слишком растягивать шутку: Калабрия и вправду начинал кипятиться; св. Никола на кончике своего жезла становился угрожающим; и свечи так и тряслись в руках, притягиваемые спинами стражников. Тогда голова выступил, снял колпак и крикнул:

– Шапки долой!

В тот же миг упала завеса, скрывающая статую под балдахином.

– Сторонись! Идет герцог!

Сразу шум затих. Святые Никола, Илья, Викентий, Иосиф и Анна – все в струнку вытянулись; стражники и дебелый начальник, без шапки, растерянный, уступили дорогу; и тогда выдвинулся, покачиваясь над носителями, увенчанный лаврами, в ухарской шапке, со шпагой на брюхе – подобие герцога нашего. Надпись, составленная Деловым, так нарекала его во всеуслышанье; но по правде сказать (и это самое смешное), мы, не имея ни времени, ни средств придать сходство портрету, просто–напросто взяли с чердака ратуши старую статую (так никто и не знал, кого она изображала и кем была изваяна); на подножии можно было только прочесть полустертое имя: Вальтазар). Но не все ли равно? Вера спасает. Изображенья святых Ильи, Николы или Иисуса Христа – точны ли? Стоит только верить, чтобы видеть во всем то, что хочешь видеть. Нужен бог? Для меня достаточно, пожалуй, куска дерева, где бы мог я его поселить – его и веру мою. Нужен был герцог в этот день. Мы его и нашли. Меж склоненных знамен прошеествовал он. Луг ему принадлежал, он на него и ступил. А мы все, отдавая ему должное, сопровождали его; развевались знамена, трещали барабаны, гремели трубы, пели попы. Что ж тут дурного? Один только х<о>луй герцога, жалкая душонка, ни рыба ни мясо, стоял в стороне, но и ему пришлось решиться. Он должен был либо задержать герцога, либо присоединиться к его свите. Избрал он второе.

Все шло хорошо, как вдруг у самой цели дело чуть не рухнуло. При входе св. Илья толкнул Николу, а св. Иосиф огрызнулся на свою тещу. Каждый пройти хотел первым, не думая ни о возрасте, ни о вежливости. И так как в этот день все были готовы к бою и настроены воинственно, руки у нас зачесались. По счастью, я, преданный разом и св. Николе по имени, и св. Иосифу с Анной по ремеслу, не говоря уже о молочном брате моем, св. Викентии, который виноград сосет, – я, стоящий за всех святых, с условием, чтобы они стояли за меня, я заметил телегу, нагруженную гроздьями багряными, и куманька моего Гамзу<n>a, шатающегося подле, и крикнул:

– Друзья! Главного–то и нет между нами. Поцелуемся! Вот тот, который всех нас объединит, наш единственный, наш хозяин (после герцога, конечно). Он грядет. Приветствуйте его! Да здравствует Вахх!

И, за ягодицы взяв моего Гамзуна, я взвалил его на телегу, и заскользил он, перекувыркнулся среди благодати раздавленного винограда. Потом схватил я поводья, и на Голдовый луг выехали мы

первыми; Вакх, купая гузлу в красном соку, дрыгал ногами и хохотал, увитый гроздьями. Все святые, все святые, за руки взявшись, плясали позади зада Вакха торжествующего. Славно было на траве! Там, вокруг доброго герцога, скакали мы, ели, играли, отдыхали день-деньской... И поутру луг был подобен свиному загону. Не осталось ни былинки. Подошвы наши отпечатались в нежной почве, и следы эти свидетельствовали об усердии, с которым город чествовал властителя своего. Он, верно, очень доволен был. Да и мы тоже, чорт подери! По правде сказать, стряпчий, вернувшись на следующий день, нашел нужным возмутиться, укорять, угрожать. Угроз он не выполнил, нашли дурака! Да, но открыл он следствие; впрочем, он не закрыл его: полезнее оставлять двери открытыми. Никто не стремился что-либо найти.

* * *

Таким-то образом мы доказали, что граждане Клямси могут быть покорными подданными герцога своего и короля и, одновременно, действовать в свою голову: она у нас дубовая. И это вернуло бодрость городу претерпелому. Мы себя чувствовали воскресшими. При встрече перемигивались, обнимались, думали: «Мы еще не выпотрошили свой мешок хитростей. Лучшего-то у нас не взяли. Все хорошо».

И воспоминанье несчастий наших улетучилось.

Под чужим кровом

<Октябрь>

Наконец мне пришлось подумать и о жилище будущем. Я откладывал как можно дольше. Пятишься, чтобы дальше прыгнуть. С тех пор как дом мой испепелился, я кочевал, приваливая то здесь, то там. Очень многие мне охотно давали приют на одну, две ночи. Пока воспоминание об ужасе пережитом тяготело над всеми, собирались мы в стадо, и всякий чувствовал себя у чужих как дома. Но так не могло продолжаться долго. Опасность удалялась. Тело каждого вползало обратно в свою раковину. Но у тех не было тела, у тех – скорлупы. Не мог же я расположиться в харчевне! У меня четыре сына и дочь, люди степенные, они бы мне этого не позволили. Не то чтоб мои молодцы очень расчувствовались бы! Но что станет город говорить?.. Однако они не спешили меня приютить. Я тоже не торопился. Моя откровенность слишком не ладит с их святошеством. Кто уступит из двух? Бедные малые! Они были, как и я, в замешательстве. Но им повезло: славная Марфа моя вправду любит меня. Ты придешь, говорит, во что бы то ни стало... Да, но что скажет зять? Не очень-то хочет меня он принять, я вполне понимаю его.

И вот с этих пор все они стали за мной следить глазами сердитыми, исподтишка. А я избегал их; мне казалось, что старое тело мое

продают с молотка.

Я поселился на время в лачужке своей среди виноградников. Там-то в июле (озорнишка ты мой!) шашни завел я с чумой. И вот что забавно: полоумные эти, ради общего блага, здоровый мой дом-то сожгли, а не тронули тот, в который смерть заглянула. Я-то ее не боюсь, безносой барыни этой, и потому был очень доволен найти лачужку свою, где валялись еще на полу земляном осколки предсмертного пира. Но не мог я себе не признаться, что в этой дыре зимовать мудрено. Разъехалась дверь, разбито окно, сыро, капает с крыши, как с полки для сыра. Но сегодня дождика нет, а завтра – о завтрашнем дне я успею подумать. Не люблю я ломать себе голову над сомнительным будущим. И когда не могу я удачно распутать вопроса, я его до конца недели откладываю. «К чему это? – мне говорят. – Все равно ведь придется тебе проглотить пилюлю». – «И то, – отвечаю. – Но как знать, может быть, через восемь-то дней мир погибнет? Как мне будет досадно, что я поспешил, если тут загремят трубы архангелов! Мой друг, ни на миг не откладывай счастья! Пьетса оно в свежем виде. Но неприятные хлопоты могут пождать. Лопнет бутылка – тем лучше».

Итак, стал я ждать, иль, вернее, заставил я ждать то решенье скучное, которое мне все равно пришлось бы назавтра принять. И чтобы ничто до тех пор меня не тревожило, запер я дверь и загородился. Не тягостны были думы мои. Я копался в своем огороде, расчищал тропинки, прикрывал сеянцы под упавшими листьями, артишоки трепал, врачевал болячки старых деревьев пораненных – словом, расчесывал косы земли-сударушки пред тем, как свернется она под периной зимы. Потом, вознаграждая себя, я ощупывал щечки какой-нибудь маленькой груши рыжей иль желто-рябой, забытой на ветке... Господи! что за блаженство, когда набирается в рот и течет себе вниз, вдоль по глотке течет, душистый и сладостный сок!.. Решался я в город идти только запасы свои обновлять (съестное, питье и новости). Избегал я встречаться с потомством своим. Я им сказал, что собираюсь в чужие края. Не ручаюсь, что мне они так и поверили; но, как послушные дети, они не посмели во лжи уличить меня. Мы словно в прятки играли, как те ребятишки, которые робко аукают: «Волк, ты здесь?» – и долго еще мы могли бы игру продолжать, отвечая: «Волка здесь нет». Но мы упустили из виду Марфу: коль женщина станет играть, не преминет она плутовать. Марфа знала меня; Марфа перехитрила отца своего. Не шутит она, когда дело касается кровных уз.

Как-то я вечерком выхожу на порог, глядь, она по дороге идет. Я вернулся в лачужку и заперся. Прижавшись к стене, не двигался я. Она подошла, постучалась, окликнула. Как листик завялый, я замер, дыханье тая (как назло, мне хотелось прокашляться). Она не сдавалась:

– Откроешь ли ты, наконец? Я знаю, ты там.

И кулаком, и башмаком она дверь колотила. Я же думал: «Ишь расходилась! Если сломается дверь, мне крепко достанется». И я уж хотел отворить и Марфу расцеловать. Но это игру бы испортило. А когда я играю, всегда я выиграть хочу. Я упорствовал. Она еще покричала, потом плюнула. Я слышал уже, как шаги ее удалялись, шаги

нерешительные. Тогда я вылез из норки своей и стал хохотать, хохотать и кашлять... Задыхаться от хохота. Нахохотался я всласть, глаза вытирал, как вдруг за собой, с вершины стены услышал голос:

– И не стыдно тебе?

Я чуть не упал. Подпрыгнув, я обернулся и увидел: дочь моя на стене повисла и строго в глаза мне глядела.

– Старый шут, я поймала тебя.

Растерявшись, ответил я:

– Да, я попался.

И оба давай хохотать. Пристыженный, дверь я открыл. Она, словно Цезарь, вошла, встала передо мной и, взяв меня за бороду:

– Проси прощенья.

Я сказал:

– Mea culpa[75].

(Это как на духу: знаешь, что завтра же снова начнешь.) Она все держала меня за бородку, бородушку и ее дергала да причитала:

– Стыдно! Стыдно! Седень, с таким белым хвостом на подбородке, а не умней сосуночка.

Дважды, трижды она, как звонарь, потянула ее, влево, вправо, вверх, вниз, потом по щекам потрепала меня и поцеловала:

– Что ж ты не шел ко мне, гадкий? Ты ведь знал, что я жду тебя!

– Дай мне, дочка, тебе объяснить.

– Объяснишь у меня. Ну-ка, пошел!

– Э! Стой! Я еще не готов. Дай мне вещи собрать.

– Вещи! Экая важность. Давай уложу их.

Она мне кинула на спину старый мой плащ, нахлобучила на голову мне поблекшую шляпу, перевязала меня, встряхнула.

– Вот и ладно! Теперь вперед!

– Обожди минутку, – сказал я. И сел на ступеньку.

– Как! – возмущенно воскликнула Марфа. – Ты упираешься? Ты не хочешь идти ко мне?

– Не упираюсь я, что там! Придется-то ведь все равно идти к тебе –

некуда больше.

– Однако любезен ты! Вот любовь твоя какова!

– Очень люблю я тебя, моя милая, очень люблю. Но я предпочитал бы видеть тебя у себя, чем себя у чужих.

– Я, значит, чужая!

– Ты половина чужого.

– Вот еще. Ни половина, ни четверть. Я целиком с головы до ног – я. Я жена его: это возможно! Но зато он – мой муж. Я исполняю желанья его, если он исполняет мои. Будь спокоен: он с радостью примет тебя. Посмел бы он быть недоволен!

– Верно вполне. Город наш тоже бывает ведь рад, когда герцог Неверский размещает у нас свой отряд. Приютил я немало солдат. Но я не привык быть на месте тех, которым дают приют.

– Привыкнешь. Не возражай. Пошел!

– Ладно. Но только условие.

– Условие уже? Быстро ты привыкаешь!

– Я сам себе выберу комнату.

– Хочешь ты быть самодуром, я вижу! Ну уж ладно!

– По рукам.

– По рукам.

– И потом...

– Довольно, болтун. Пошел!

За руку она меня – цоп! Ну и хватка! Волей-неволей пришлось зашагать. Достигли дома, она показала мне комнату, мне предназначенную: уютную, с ней по соседству, за лавкой. Добрая Марфа со мной обращалась как с младенцем грудным. Постель была постлана: пуховка нежнейшая, свежие простыни. А на столе в стакане пучок цветущего вереска. Я смеялся в душе, умиленный, развеселенный; отблагодарить ее надо, подумал я себе. Уж тебя как помучаю, Марфинька... И объявил я сухо:

– Не подходит.

Она, досадуя, мне показала другие, нижние комнаты, – я качал головой и наконец, подметив каморку под самой крышей, сказал:

– Вот мой выбор.

Она на меня замахала руками, но я стоял на своем:

– Как хочешь, красавица. Бери, не бери. Комнатка эта мне нравится, в ней поселюсь либо назад возвращусь.

Ей пришлось уступить. Но с этих пор ежедневно и ежечасно она приставала ко мне:

– Ты не можешь здесь оставаться, внизу тебе будет удобней; что тебе не понравилось? Скажи, башка деревянная, отчего ты не хочешь там жить?

Я отвечал лукаво:

– Не хочу, вот и все.

– Ты сведешь меня в гроб! – кричала она в возмущенье. – А я знаю причину. Гордец! Гордец! Не хочешь ты быть должником у детей своих. Эх, избить бы тебя.

Я отвечал:

– Ты бы этим меня заставила принять от тебя хоть заушины.

– Сердца нет у тебя, вот что, – сказала она.

– Девонька...

– Да, юли... прочь лапы, урод.

– Моя умница, моя душенька, красавица ты моя.

– Ишь, набрал меду в рот, увивается! Лъстец, пустобай, обманщик! Долго ль ты будешь, скажи, мне смеяться в лицо, брыла свои выворачивать?

– Посмотри на меня... Ты смеешься ведь тоже.

– Нет.

– А смеешься ведь...

– Нет, нет, нет.

– Вижу я, вижу: смешки–то вот здесь.

И надавил я пальцем щеку ее, которая вздулась и лопнула.

– Как это глупо, – сказала она. – Мне обидно, я тебя ненавижу, а вот поди же, не могу я даже сердиться. Старая эта мартышка, как начнет корчить рожи, меня поневоле смешит! Да, я тебя ненавижу. Голыш, ни гроша за душой, а пред своими нос задирает! Скажи, по какому праву?

– У меня прав других нет.

Она мне сказала немало еще слов заостренных. И я ее попотчевал другими, не менее тонкими. У нас у обоих язык, как точильщик, проводит слова по вороницу [76]. Благо, что в миг высшей злобы скажешь словечко смешное и хошь не хошь, а хохочешь. И начинай все сначала. Почесав язычок хорошенько (я давно уж не слушал ее), она примолкла.

– Теперь отдохнем, – сказал я, – завтра снова начнем.

– Спи спокойно. Итак, ты не хочешь?

Но я ни гугу.

– Гордец! Гордец! – повторила она.

– Послушай, голубушка. Да, я гордец, бахвал, павлин, все что хочешь. Но ответь мне по совести: будь ты на месте моем, ты бы как поступила?

Подумав, она ответила:

– Так же.

– Ну, вот видишь! Теперь поцелуй меня. Спокойной ночи.

Она меня нехотя чмокнула и, уходя, бормотала:

– На кой чорт подарило мне небо этих двух дурандасов?

– Так, так, – подхватил я, – поучай его, милая, не меня, а его.

– Так и будет, – сказала она. – Но и тебе достанется.

Мне и досталось. С утра она сызнава начала. Не знаю, что пришлось на долю неба, но моя доля была здоровенная.

В первые дни я был как сыр в масле. Все холили меня, баловали. Сам Флоридор старался мне угодить и мне оказывал больше вниманья, чем нужно. Марфа следила за ним недоверчиво. Глаша меня угощала своей болтовней. Дали мне лучшее кресло. За столом подавали мне первому. Когда я говорил, все внимательно слушали. Было очень уютно... Ух! не выдержу... Мне было не по себе; и не мог усидеть я на месте; я сходил, поднимался по сто раз в час по чердачной лестнице. Всех это бесило. Марфа, безмолвная и раздраженная, так и вздрагивала, заслыша скрипучий мой шаг. Будь это летом, я бы по крайней мере баклуши бил на дворе. Я их бил, но дома. Осень была ледяная; широкий туман занавесил поля, и дождик крапал, крапал ночью и днем. А я был к месту прикован. Да к тому же к месту чужому, чорт их дери! У бедного Флоридора чувство изящного не Бог весть какое, убого оно и жеманно; Марфа не замечает; а мне-то все в доме, утварь и мелочи, глаз раздражало; страдал я; хотелось мне все переделать и переставить по-своему, – руки так и чесались. Но хозяин на страже; если кончиком пальца я только касался одной из вещей его, целая буря вздымалась.

Главный мой враг был в столовой – кувшин, на котором представлены были два целующихся голубка и слащавая барышня рядом с пресным возлюбленным. От них мне претило; я просил Флоридора хотя бы убрать эту вещь со стола, за которым я ел; куски застревали в горле, я задыхался. Но скотина (что ж, он был вправе) отказался. Он гордился своим миндальником. Для него это высшее было искусство. И мои ужимки сердитые только народ смешили.

Что поделаешь? Я правда смешон был: дуралей, да и только. Ночью я на постели вертелся, словно котлета, меж тем как на рашпере, то есть на крыше, дождь шипел безумолчно. И я не смел по чердачнику расхаживать: пол дрожал под моими шагами тяжелыми. И вот однажды, когда я сидел на кровати, болтая ногами голыми и сам с собою болтая, «Милый мой Персик, – сказал я себе, – не знаю как и не знаю когда – но дом я выстрою снова». С этой минуты стало мне легче: я составлял заговор. Конечно, я скрыл от детей решение свое: они бы сказали, что в смысле жилища мне богадельня подходит как раз. Но где денег достать? Со времен Орфея и Амфиона камни уже не ведут хороводы[77], не строят, друг друга подсаживая, стены, дома, разве что только под песнь кошеля; мой-то давно утратил свой голосишко...

Я обратился за помощью к карману приятеля Ерника. Добряк, по правде сказать, не предлагал мне ее. Но если приятно мне у друга просить услуги, мне кажется, что и ему приятно мне услужить. Когда прояснилось немного, я отправился в путь, в Дорнси. Было небо низко и серо. Ветер влажный, усталый пролетал, как большая промокшая птица. К ногам прилипала земля, и желтые листья орешника реяли через поля.

С первых же слов Ерник прервал меня и, беспокойный, стал сетовать на отсутствие дел и денег, на худых клиентов; так он ныл, что сказал я:

– Ерник, что ж, я могу одолжить тебе грош?

Я был обижен. Он еще пуще. И друг на друга мы дулись, говорили мы холодно о том и о сем, – я разъяренный, он пристыженный. На скупость свою он досадовал. Бедный старик был не злой человек; любил он меня, разумеется; он с радостью дал бы мне денег, если бы это ему ничего не стоило; и даже, будь я настойчивей, получил бы я что хотел; не его вина, что он носит в себе девять колен жидоморов[78]. Можно, конечно, быть и богатым и великодушным. Но истый мещанский достаточник, если мошну его тронешь, сперва-наперво «нет» говорит. Друг мой Ерник в эту минуту много бы дал, чтоб ответить мне: да; но я не упрашивал, в том-то и штука. Есть у меня своя гордость; когда о чем-либо друга прошу, он должен быть очень доволен; а если колеблется он, ничего мне не нужно, тем хуже тогда для него! Итак, друг с другом говорили мы: голос сердитый, тяжелое сердце. Я отказался обедать (вконец я его огорчил). Я встал, чтоб уйти. Повесив голову, он проводил меня до порога. Но перед тем, как дверь отворить, я не выдержал, обхватил я дряблую шею его и безмолвно поцеловал. Он отвечал мне тем же. Робко спросил он:

– Николка, Николка, хочешь?..

Но я :

– Забудем, – (упрям я).

– Николка, – повторил он жалким голосом, – отобедай хотя бы.

– Это дело другое, – сказал я. – Друг Ерник, за стол!

Мы ели за четверых, но я оставался каменным, не изменил я решенья. Знаю, что этим себя я наказывал. Но и он был наказан.

Я в Клямси воротился. Надлежало выстроить дом без работников и без денег. От этого дело не стало. То, что вбил я в башку, меня по ногам уж не свяжет! Я начал с того, что прилежно осмотрел место пожара, отбирая все, что могло впрок послужить: балки подгнившие, кирпичи подгоревшие, оковки старые; стены шатались, черные, как трубочисты. Потом тайком я пробрался в Шеврошки, в каменоломню, и помню, копал там, тесал, разбивал самую кость земли, – камень красивый, жаркого цвета, с багровыми жилами, словно обрызганный кровью. И даже возможно, что я, проходя по тропине лесной, помог какому-нибудь утомленному, старому дубу покой обрести. Это против закона? И то. Но если бы делать только то, что дозволено, жизнь была бы слишком трудна. Леса городу принадлежат, ими можно пользоваться. Всякий так поступает, тихонько, конечно. И не жадничаешь, говоришь себе: «После меня другие». Взять-то легко. Еще нужно доставить. Благо соседи пришли мне на помощь; тот телегу свою одолжил, этот – волов, а иной саморучно помог, что ему стоило? Можно все попросить у ближнего, даже жену, все, кроме денег. Я понимаю: деньги – все то, что можешь иметь, что будешь иметь, что имел бы за деньги, все то, о чем ты мечтаешь; остальное имеешь: т. е. нет у тебя ничего.

Холода уже наступили, когда я да Шутик начали ставить леса. Меня называли безумцем. Дети пилили меня день-деньской; а те, кто был поспасительней, мне советовали подождать до весны. Никого я не слушался. Страсть я люблю раздражать людей, королей... Я знал, дуралей, что сам-друг, да к тому же зимою не могу я жилище построить. Но мне достаточно было бы крыши, лачужки, кроличьей клетки. Я общежителен, да, но с условием быть таковым, когда я хочу, и не быть им, когда не желаю. Я болтлив, люблю я лясы точить, да; но порою мне хочется говорить в одиночестве: сам Персик лучший мой собеседник; и ради этого друга я бы отправился в путь босиком, без штанов, под вьюгой.

И вот почему продолжал я строить упорно, невзирая на общее мнение и смеясь над благим красноречьем чад своих...

Эхма! Последним смеялся не я... Как-то утром, в конце листопада (заиндевел город, и лоснилась на мостовой серебристая пена наледицы), я, в вышине, по бревнам карабкаясь, вдруг поскользнулся и – бух! – слез я скорее, чем влез.

Шутик вскричал:

– Он убит!

Подбежали ко мне и давай поднимать. Я на себя был сердит.

– Э, да что, – говорю, – я это сделал нарочно...

Попробовал встать. Ай! лодыга, лодыжка! Снова упал я. Лодыжка была переломлена. На носилках меня унесли. Рядом шла Марфа, руки ломая; и кумушки сопровождали меня, охая и о событье толкуя; все это напоминало святую картину: сын Божий в гробу. И Марии слез не щадили, суетились, кричали. Они разбудили бы мертвого. Мертвым я не был, но таковым притворялся, иначе свалилось бы все это на спину мне.

И, кроткий на вид, неподвижный, лицо запрокинув и вытянув бороду клином, я злобой кипел под казистой личиной.

Чтение Плутарха

Конец октября

Ну вот, теперь я привязан за лапку. За лапку! Господи Боже, неужто не мог ты сломать мне (если тебя это так забавляет) ребро или руку вместо подставок моих? Я не меньше бы ныл, но ныл бы я стоя. Ах, злой, ах, проклятый (да святится имя твое!). Он словно из сил выбивается, чтобы как-нибудь мне досадить. Он знает, что выше всех благ земных, работы, довольства, любви, дружбы ставлю ту, которую я покорил, дочь не богов, а людей – свободу. Вот почему он за ножку (ах, как смеется, лукавец!) держит меня в этой норке. На спине лежу я, как жук, и с вниманьем гляжу на паутины, на балки чердачные. Вот она, воля-то!.. Нет, ты еще не совсем, голубчик, держишь меня! Свяжи мою тушу, опутай, скрепи, окрути, вот так, еще раз, верти ты меня, верти, как на вертеле куру! Что, теперь держишь меня? А душу – забыл ты? Глядь, и полетела она вместе с воображеньем моим. Ищи ветра в поле! Надо быстрые ноги иметь, чтобы догнать ее... Воображение мое, ух, как несется! Ну-ка, беги за ним, друг мой!..

Должен признаться, что сперва я был зол как чорт. Язык у меня оставался, я им пользовался, чтоб ругаться. Не советовалось ко мне подходить в эти дни. Однако я знал, что бранить я мог только себя самого. Эх! Отлично я знал это. Все мои посетители уши мне прожужжали:

– Ведь говорили же тебе! Зачем тебе было по крышам разгуливать? Тебе, старику-то! Предупредили тебя, а ты в ус и не дул. Хочется, мол, порыскать. Вот и рыскай теперь! Поделом!

Хорошо утешенье! Когда ты пришиблен, друзья доказать тебе силятся, что в придачу еще ты дурак! Марфа, мой зять, приятели, люди с улицы

– все утверждали то же. И я должен был выносить их укоры, неподвижный, пойманный и разъяренный. Даже Глаша – и та говорила:

– Ты не послушался, дедушка, и поделом!

Я метнул в нее ночным колпаком:

– Вон! Убирайтесь все вон!

С тех пор я один оставался, но веселее не было. Добрая Марфа настаивала, чтоб перенесли мой тюфяк в нижнюю комнату. Признаться, мне было бы это очень приятно; но если я говорю «нет», значит, чорт вас дерит, нет! И к тому же несладко недужному людям показываться. Марфа без устали снова и снова на приступ шла, назойливая, как могут быть только мухи и женщины. Если б она не так много жужжала, я б уступил ей, пожалуй. Она была слишком упряма: согласись я – она бы с зари до заката победу свою разглашала. Прогнал я ее. И кончилось тем, что остался один я на грустном своем чердачишке. Не сетуй, Николка, ты сам виноват!..

Но главной причины, почему я артачился так, я не высказывал. Когда живешь у чужих, боишься стеснять их. Расчет этот плох, коли хочешь, чтоб они любили тебя. Нет глупости худшей, как заставить забыть себя... Меня и забыли. Не видели, не посещали меня. Даже Глаша мне изменила. Я слышал, как внизу смеялась она; и, слушая, сердце мое тоже смеялось. Но и вздыхал я: больно хотелось мне знать, что же ее рассмешило... Неблагодарная! Я укорял ее, но, верно, будь я на месте ее, поступал бы я так же... «Веселись, моя радость!» Только затем, чтобы мысли занять, я, изнуренный и хмурый, подражал Иову, который бранится, валяясь на вшивой шкуре.

И вот однажды Ерник пришел. Что таить, не очень радушно я принял его. Он стоял предо мной, у изножья кровати. Держал он благоговейно книгу завернутую. Он пытался разговор завести, предмет за предметом ощупывал. Я всем им свертывал шею, безгласно, безжалостно, с яростным видом. Он уже не знал, что сказать, покашливал да по грядке постели постукивал пальцами. Я просил его перестать. Тогда он замолк и шевелиться не смел. Я втайне смеялся. Я думал: «Эге, братец, теперь тебя мучит совесть. Если б ты деньги мне одолжил, когда я просил, не пришлось бы мне каменщика разыгрывать. Я себе ногу сломал: выкуси! Сам виноват! Скупость твоя загнала меня в эту дыру». Не мог он вымолвить слова; я же старался держать язык за зубами, но терзался желаньем дать ему волю. Наконец я грянул:

– Говори же, ну, говори. Или ты думаешь, я умираю? Чорта с два! Не приходят людей навещать, чтобы только молчать! Эй, говори или вон убирайся. Не верти ты глазами. Оставь эту книгу. Что это ты мнешь?

Бедняга привстал.

– Я вижу, Николка, что раздражаю тебя. Я ухожу. Принес я книжицу – видишь, это Плутарх, «Жизнь знаменитых людей», перевел на французский Жак Амио. Мне казалось (он еще не совсем был уверен)... что, может быть, ты... (Господи! Как это было трудно) найдешь

удовольствие, то есть, хочу я сказать, утешенье в обществе книжицы этой.

Я, зная, как этот старый скупяга, еще больше червонцев любящий книги свои, страдал (стоило только тронуть на полке одну из них, чтобы сразу принял он вид оскорбленный, словно влюбленный, который бы видел, что пьяный за груди схватил его милую), я умилен был величием жертвы его. Я сказал:

– Старый товарищ мой, ты лучше меня, я скотина, я обидел тебя. Подойди же, дай поцелую.

Я обнял его. Взял из рук его книгу. Он еще отобрал бы ее с радостью.

– Ты будешь с ней обходиться бережно, да?

– Будь спокоен, – ответил я, – под голову положу.

Ушел он нехотя, еще не совсем убежденный.

* * *

И вот с глазу на глаз остался со мною Плутарх Херсонесский [79]; небольшая пузатая книжка, поперек себя толще, тысяча триста страниц, частых и туго набитых; насыпаны были слова как зерна в мешок. Я сказал себе: если три года подряд тройка ослов бы тут ела, – и то бы хватило.

Сперва забавлялся я тем, что разглядывал долго головки в витых, закрученных оправах в начале каждой главы, – лики великих людей в густых лавровых венках. Недоставало им только щепотки петрушки на самом носу. Я подумал: «Что мне до этих греков и римлян? Они умерли, умерли, а мы – мы живем. Что нового могут они рассказать мне? Что человек – зверь презлой, но забавный, что вино чем старше, тем лучше – в отличие от женщины, и что во всякой стране большие трескают меньших, а эти над ними смеются. Все римские бахвалы на диво витийствуют. Я очень люблю красноречье, но предупреждаю, что они не одни будут баить; я им глотку заткну...»

Так поразмыслив, я снисходительно стал перелистывать книгу, в белые волны закинув рассеянный взгляд, будто удочку в реку. И сразу попался я, други... ах, други, улов же какой! Поплавок не успел прикоснуться к воде, как уже он тонул, и каких я не вытащил только волшебных карпов да щук! Рыб неведомых, рыб золотых и серебряных, радужных, бисером пестрым обрызганных и рассыпающих тысячи искр... И жили они, плясали, перегибались, прыгали, жабрами так и дышали, били хвостом! А я – то считал их за мертвых! С этого мига так я увлекся, что, рухни земля, не заметил бы я ничего: я следил за лесом: клюет ведь, клюет! Что за чудовище выйдет из вод? И хлыс! – чудесная рыба летит на крючке, белобрюхая, в латах чешуйчатых, либо как колос зеленая, либо как слива лиловая и на солнце лоснящаяся!

Дни, проведенные так (дни иль недели?), жемчужины жизни моей. Да святится моя хромота!

И вас я благословляю, мои глаза: через вас просочилось в меня виденье волшебное, скрытое в книгах! Глаза ведуна, которые могут из кружева знаков жирных и частых, чье темное стадо бредет между белесых полей по страницам, вызвать погибшие войска, сгоревшие грады, римлян речистых, ратников рьяных, героев, красавиц, ведущих их за нос, и ветер свободный в степях, озаренное море, и небо Востока, и все голубое бывшее!..

Предо мною являются: Цезарь, бледный, хилый и тонкий, распростертый на пышных носилках, среди дряхлых, ворчливых солдат; и брюхоня Антоний, который плетется полями со своими походными кухнями, девками, чашами всякими, чтобы жором жрать, пировать на опушке рощи зеленой; Антоний, который съедает за ужином восемь кабанов зажаренных и выуживает старую рыбу соленую; и Помпей рассудительный, Флорой ужаленный; и Полиоркет в своей шляпе широкой, в плаще золоченом, украшенном шаром земным и кругами небесными; и великий Артаксеркс, царящий, как бык, над стадом белым и черным своих многочисленных жен; и Александр прекрасный, наряженный Вакхом, на высоком помосте, влекомый восьмеркой коней; Александр на высоком помосте, покрытом свежей листвой да коврами багряными, из Индии едущий вспять под звуки скрипок, дудок, гобоев; и его воеводы веселые с цветами на шляпах, и войско его позади охмелевшее, и толпы женщин, по-козьему скачущих... Не чудо ли это? Клеопатра – царица, свирельница Ламиа и Статира, такая прекрасная, что больно смотреть на нее, – они все мои; под носом Антония иль Артаксеркса наслаждаюсь я ими, владею, вхожу в Экбатан, пирую с Таисой, ложе с Роксаной делю, уношу на шее, в связке тряпья, закутанную Клеопатру. С Антиохом, давно в Стратонису влюбленным, страстно, стыдливо пылаю любовью к теще своей; уничтожаю (дивное диво!) галлов, прихожу, гляжу, побеждаю, и все это (как славно!) без капли пролитой крови.

Я богат. Каждый рассказ – каравелла, везущая мне из Берберии или из Индии золото, медь, старые вина в мехах, чудесных зверей, полоненных рабов... эх, молодцы! Что у них за грудище! Что за спина! Все это мое, мое... Царства жили, росли и умирали ради моей забавы.

Экое ряженье! Я надеваю одну за другою личины героев. Влезаю в их шкуру, пригоняю их члены, их страсти, и пляшу. Одновременно я и плясун, и песенник, я сам добрый Плутарх, да, да, это я записал (удачно, не правда ли?) все эти шуточки... Как любо чувствовать музыку слов и круговую их пляску, тебя уносящие вдаль, и летишь ты со смехом и плеском, свободный от уз телесных, страданий, старости!.. Дух человеческий – это ведь Бог! Слава Святому Духу!

Порой, прерывая чтение, я стараюсь представить себе продолжение, и потом я сличаю творенье грезы моей с тем, что искусство иль жизнь изваяли. Когда это дело искусства, я часто решаю задачу: ибо старый я лис, все я знаю уловки, и, смекнув, я смеюсь про себя. Но когда расчудачится жизнь, тогда ошибаюсь я часто. Перелукавить нас ей нипочем, и нам не под стать ее вымыслы. Ах, шалая кумушка!.. Одно только она никогда не считает нужным менять: окончанье рассказа. Войны, любовь, дурачества – все кончается тем же нырком в глубину беспросветную. Тут она повторяется. Так ребенок чудачливый ломает

игрушки, ему надоевшие. Я сержусь, я кричу: гадкий, жестокий, стой, стой, оставь их мне!.. Поздно! он все перебил...

И со странной усладой лелею, как Глаша, остатки куклы. И эта смерть, возвращаясь после каждого круга стрелки, словно бой часовой, принимает, звуча, красоту перезвона. Гудите, колокола, колокольца, бом, бом, бом!..

«Я – Кир, покоривший Азию, царь персиян, и прошу тебя, друг мой, меня не корить за ту горстку земли, под которой сокрыто бедное тело мое».

Читаю я эту надгробную надпись, и читает со мной Александр, и дрожит он всем телом, чувствуя тленность свою, ибо мнится ему, что он сам из могилы взывает. О, Кир, Александр, как ясно я вижу вас ныне, что умерли вы!

Наяву ли, во сне ли их вижу? Щиплю себя, говорю: «Эй, Николка, ты спишь?» Тогда со столика рядом с постелью беру две монеты (я их в саду откопал прошлым летом): на одной Коммодус косматый, на другой Криспина Августа, с жирным двойным подбородком, с хищным клювом: «Нет, не сплю я, глаза мои зорко раскрыты, я Рим на ладони держу».

Как приятно теряться в догадках о зле и добре, спорить с самим же собой, ставить ребром мировые вопросы, мечом разрешенные встарь, переходить Рубикон... нет, на краю оставаться... пройдем, не пройдем? – драться то с Брутом, то с Цезарем, с ним соглашаться, ему же перечить красноречиво и после запутаться так, что уж больше не знаешь, за что ты стоишь! Это-то вот и забавно: с намерением твердым речь начинаешь, доказываешь, вот-вот и докажешь, возражаешь, – на тебе! Грудью берешь, горячишься, ну, брат, держись! А в конце-то концов попадаешь впросак! Сбить с ног себя самого! Поразительно. А все виноват плут Плутарх. Как начнет он слова золотить да повторять добродушно «мой друг», – всегда, всегда согласишься ты с ним; меняет он мнение свое с каждым новым рассказом. Словом, из всех героев его мой любимый – последний в последней главе. Все они, впрочем, как мы, покорны все той же богине, к ее колеснице привязаны...

Победы Помпея, бледнеете вы! Миром правит она, Фортуна, чье колесо вертится, вертится и никогда «не бывает в состоянии недвижимом, в чем подобна луне», как говорит у Софокла рогач Менелай. И это скорей утешительно – по крайней мере для тех, кто находится в первой четверти.

Порой я себе говорю: «Но, Персик, мой друг, на кой чорт ты читаешь все это? Что тебе римская слава? И тем паче – безумства царей-шелобаев? Довольствуйся шалью своей, она тебе впору. Видно, нечего делать тебе, что копаешься ты в пороках, в страданиях людей, со смерти которых прошло восемнадцать веков. Ведь, братец, в конце-то концов (то бубнит Персик разумный, трезвый, толковый, расчетливый, знающий цену деньгам и себе), признайся, что этот твой Цезарь, Антоний и Клео, их сука, твои все вельможи восточные, которые режут своих сыновей, а дочерей себе в жены берут, – все они, друг мой, мерзавцы. Они умерли; в жизни своей творили они только зло. Не

тревожь их праха. Как могут тебя, старика, забавлять такие нелепицы? Взять хотя бы твоего Александра; неужто тебе не противно смотреть, как он тратит, ради похорон Ефестиона[80], ради красавца такого, сокровища целой страны? Резать так резать: племя людское – не Бог весть какое. Но деньгами сорить! Видно, этим шутам достались они без труда. И тебе это нравится, да? Ты пучишь глаза, ты счастлив и горд, как будто все эти червонцы из рук твоих выпали! Если бы выпали вправду, я безумным бы назвал тебя. Ты безумен вдвойне, коль находишь отраду в безумствах чужих».

Я отвечаю: «Персик, слова твои – золото: прав ты всегда. Однако дороже мне жизни вся эта белиберда; и клянусь я – в призраках этих, давно бестелесных, крови-то будет побольше, чем в людях живых. Я их знаю, я их люблю.

Чтобы он, Александр, надо мною рыдал, как над Клитом, я б сейчас согласился быть также убитым. У меня сжимается сердце, когда я вижу, как Цезарь в сенате мечется под остриями кинжалов, словно затравленный зверь между псов и охотников. Я стою с разинутым ртом, когда Клеопатра мимо плывет на своем корабле золотом с толпой nereид среди снастей, с ватагою крошечных, голых пажей. И, ноздри расширяя, морские ловлю благовония. Плачу я ревмя, когда Антония, окровавленного, полумертвого, связанного, втаскивает возлюбленная: она, наклонясь из оконца башни своей, тянет изо всех сил (только бы, только бы он не сорвался), тянет беднягу, к ней протянувшего руки...»

Что же волнует меня и с ними роднит? Э, да они из той же семьи, как и я, они – Человек.

Как я жалею тех обездоленных, которым неведома сладость, таимая в книгах! Иные гордо плюют на бывшее и настоящего держатся. Дубины, не видите вы дальше носа! Да, настоящее вкусно. Но все вкусно, чорт подери, я харчую у всех и не хмурюсь перед накрытым столом. Вы бы не хаяли, если б отведать могли, – разве что, други, желудок у вас плоховат. Обнимайте, что держите, да, но ведь вы обнимаете слабо и милая ваша – худа. Блага в количестве малом – очень ведь мало. Нужно мне больше... Настоящим довольствоваться можно было, друзья, во время Адама седого, который ходил нагишом, за наименьшем одежд, и, ничего не выдав, только мог и любить что свою половину. Но мы, счастье имевшие после него родиться, в доме, куда наши предки свалили все то, что собрали, мы были бы очень глупы, коль сожгли бы житницы наши под предлогом, что нивы еще плодородны!

Старый Адам был только ребенок! Я сам – старый Адам: ибо все тот же я человек, но я вырос с тех пор. Дерево – то же, но я только более высокая ветвь. Всякий удар, поражающий сук отдаленный, листья мои сотрясает. Горести, радости мира – мои. Скорблю я с рыдающим, смеюсь с ликующим. Лучше, чем в жизни, я чувствую в книгах своих братство, которое всех нас связует, всех – голышей и царей: ибо от тех и других остается лишь пепел да пламень их духа, который восходит единый и многоликий, и в небе его языки багряные, неисчислимые поют, прославляя Всесильного.

* * *

Так на своем чердаке я мечтаю. Ветер гаснет. Спадает свет. Кончиком крыльев снег чуть касается стекол оконных. КрадетсЯ тень. В глазах туманится. Я наклоняюсь над книгой, слежу я рассказ, убегающий в ночь. Тыкаю носом в бумагу: точно гончая, чую я дух человечества. Ночь приближается. Ночь опустилась. Добыча моя ускользает и углубляется в чащу. Тогда замираю я в сумраке леса и с бьющимся сердцем, погоней взволнованный, слушаю тающий шорох. Закрываю глаза, чтобы лучше видеть сквозь мрак. И, мечтая, недвижно лежу.

Я не сплю, разбираю мысли свои; вижу я небо в квадрате окошка. Рукой достаю до стекла; вижу я черный, лоснящийся купол: каплю крови стекает звезда... Еще и еще... Дождь огневой в ноябрьской ночи...

Я вспоминаю звезду хвостатую Цезаря. Это, быть может, течет его кровь в темноте...

День возвращается. Грежу еще. Воскресенье. Колокола распевают. Грезу мою опьяняет их гул и гуденье. Она наполняет весь дом, от подвала до крыши. Она покрывает заметами книгу бедного Ерника. Моя комната ходит от грома колес, колесниц, ратных сонмищ, грохота меди и конницы. Дрожат половицы, оконницы, звон в ушах у меня, сердце лопнет сейчас, я готов закричать: «Ave[81], Цезарь, гряди, император!»

А мой зять – Флоридор, вошедший со мной поздороваться, смотрит в окно, шумно зевает и хмурится:

– Ни пса нет сегодня на улице!

За здоровье Персика

Святой Мартын

11 ноября

Сегодня с утра теплынь стояла необычайная. Блуждала она по воздуху, нежная, как прикосновение шелковое. Терлась она о прохожих, словно ласковая кошка; вливалась в окно, как сладкое, золотое вино. Небо разомкнуло свои облачные вежды и спокойными бледно-голубыми глазами смотрело на меня; и на крыше соседней смеялся луч белокурого солнца.

Я, глупый старик, чувствовал себя томным и мечтательным, как юноша (я отказался стареть, возвращаюсь против течения лет: еще немножко, и стану совсем крошкой). Итак, сердце мое было полно сказочного ожидания, как сердце пастушка, что, бекая, бежит за своей пастушкой. Я на все глядел с умиленьем. Не причинил бы я вреда в этот день даже мухе. И уже пуст был мой ларчик лукавств.

Я думал, что я один, но вдруг увидел я Марфу, сидящую поодаль; я и не заметил, как она вошла. Против обыкновенья, ничего она мне не сказала, расположилась в уголку с работой в руках и на меня не глядела. Я же ощущал потребность поделиться с другими тем чувством полного довольства, которое меня охватило. И сказал я наудачу (чтобы беседу завязать, всякий предмет хорош):

– Что это утром в колокола зазвонили?

Она пожала плечами и отвечала:

– Да ведь праздник – святой Мартын.

Я с облаков скатился. Замечтавшись, я и позабыл о боге города своего!

– Вот оно что! Святой Мартын...

И почудилось мне тут же, что среди толпы молодчиков и молодых плутарховских^[82] появляется мой старый друг (он им под стать), появляется он, всадник с саблей, режущей плащ. Ах, Мартын, Мартышка, мой старый кум, неужто забыл я тебя!

– Ты удивляешься! – сказала Марфа. – Пора! Ты все забываешь – Господа Бога, семью, чертей и святых. Мартышку и Марфиньку, весь мир ради этих твоих проклятых книжиц!

Я смеюсь, я давно заметил нехороший взгляд ее, когда, входя ко мне утром, она видела, что я делю ложе с Плутархом. Никогда женщина не любит книг любовью бескорыстной. Она видит в них то любовников, то соперниц. Девушка ли она или жена, когда читает она, то грезит любовью и обманывает нас. Посему, застав нас за книжкой, они вопиют: измена.

– Виноват Мартын, – отвечал я, – он больше не появляется. Однако осталась у него половина плаща. Он хранит ее, это невеликодушно. Милая дочь, что поделаешь? В жизни не следует давать себя забыть. Кто так поступает, того забывают. Запомни этот урок.

– Я в нем не нуждаюсь, – сказала она. – Где бы я ни была, все знают, где я.

– Правда, видят тебя ясно, еще яснее – слышат. Сегодня исключенье. Отчего ты лишила меня укоров своих обычных? Мне их недостает. Ну-ка...

Но она не глядя:

– Ничем тебя не проймешь. Вот я и молчу.

С упрямым лицом, закусывая нитку, она шила; вид у нее был грустный и пришибленный; и победа моя была мне в тягость. Я сказал:

– Приди же поцеловать меня, по крайней мере. Хоть я и забыл Мартына,

Марфу помню еще. Сегодня праздник твой, подойди же, есть у меня для тебя подарок. Приди взять его.

Она брови насупила:

– Злостный шутник!

– Да я не шучу, подойди, подойди же, сама увидишь.

– Мне недосуг.

– О, дочь извращенная, как, нет у тебя времени меня поцеловать?

Нехотя встала она, недоверчиво приблизилась:

– Какую шутку бесстыжую ты еще выкинешь?

Протянул я руки:

– Дай мне тебя обнять.

– А подарок? – спросила она.

– Да вот он, ты держишь его. Это – я сам.

– Хорош подарок! Воробышек хоть куда.

– Хорош ли, иль гадок я, все равно, что могу, то даю, сдаюсь без всяких условий. Делай со мной что хочешь.

– Ты согласен занять нижнюю комнату?

– Свяжи по рукам, по ногам, я твой пленник.

– И ты будешь послушным, позволишь себя любить, водить, журить, баловать, оберегать, унижать?

– Я отрешился от воли своей.

– Ах! Как буду мстить. Ах, старинушка ты мой! Скверный мальчишка! Как ты добр! Старый упрямец! Как ты меня злил!

Она меня обняла, встряхнула, как узел, и прижала к груди, словно куклу. Она и часу ждать не желала. Отправили меня. Флоридор и три поваренка в колпаках бумажных протащили меня по узкой лестнице ногами вперед и запекли в большую постель, в светлой комнате, где Марфа и Глаша меня стали кутать, дразнить, без конца повторяя:

– Теперь–то мы держим тебя, держим крепко, держим, попрыгун!

Как славно...

И вот я попался, спрятал гордость свою подальше; Марфы слушаюсь я, старый урод. И, незаметно, Николка Персик все в доме ведет.

* * *

Отныне Марфа часто располагается рядом со мной. И мы беседуем. Вспоминаем мы о другом, давнишнем случае, когда мы так же сидели друг подле дружки. Но тогда не я, а она была за ножку привязана, вывихнув ее как-то ночью (ишь, влюбленная кошка), когда прыгнула из окошка, чтобы бежать за своим любезным. Несмотря на вывих, эх, крепко я выдрал ее. Теперь ее это смешит, она говорит, что я еще недостаточно ее колотил. Но в те дни я тщетно бил, строго берег; однако я не простак; а она была хитрее меня во сто раз и проскальзывала у меня между пальцев. Оказалось, что она не так глупа, как я думал. Что-что, а головы она не потеряла; потерял-то ее, видно, любезный, ибо он ныне муж ее.

Со смехом вспоминает она безумства былые и потом говорит с тяжким вздохом, что прошла пора смеха, что лавры срезаны и уже не ходить ей за ними в лесок. Заговорили мы об ее муже. Как добрая женщина, она находит, что он порядочен, не далек, но и не близок ей. Брак – не забава, говорит она. Все это знают. И ты лучше, чем кто-либо. Нечего делать. А стараться найти любовь в супружестве так же глупо, как решетом воду черпать. Я не шалая, не жалуюсь, что не имею того, что желала бы. Тем, что есть у меня, я довольствуюсь: что есть, то и ладно. Не стоит сетовать... А все же ныне я вижу, как далеко от того, что желаешь, то, что можешь, и от того, о чем грезишь в юности, то, что рад иметь под старость. Это умилительно или смешно: не знаешь, что из двух. Все эти надежды, отчаянья, и пламенность, и томность, и прекрасные эти обеты, и золотые рассветы – все это, все это только огонь, на котором поставишь горшок и сваришь суп! Он вкусен, конечно, для нас он хорош. Но если б тогда я знала... Впрочем, у нас остается всегда, чтоб подсластить обед, наш смех, важная приправа, с нею хоть камни ешь, право. Чудное средство, оно у меня, у тебя всегда под рукой. Состоит оно в том, что ты можешь смеяться сам над собой, коли видишь, что был дураком!

Мы так и поступаем не только по отношению к себе, но и к другим. Порой мы смолкаем, смутно мечтаем, перебираем мысли, я – уткнувшись в книгу, она – в рукоделье свое; но языки под шумок продолжают работать, подобно тому как два ручейка текут под землей и вдруг выходят на солнце, весело прыгая. Марфа прерывает молчанье взрывом хохота; и язычки ну плясать сызнава!

Я попробовал ввести Плутарха в общество наше. Я хотел, чтобы Марфа оценила его чудные сказки и проникновенность чтенья моего. Но мы не имели никакого успеха. Греция и Рим занимали ее столько же, сколько яблоко – рыбу. Даже тогда, когда она и старалась из вежливости слушать, через мгновенье мысли ее были далеки и где-то бегали взапуски; или, вернее, обходили дозором снизу доверху дом. В самом трепетном месте рассказа, тогда как искусно я оттягивал миг высшего волнения и подготавливал, дрожащим голосом, блестящую развязку, она прерывала меня, чтобы крикнуть что-нибудь Глаше или Флоридору, находящимся на другом конце дома. Меня брала досада. Я отказывался продолжать. Не следует просить у женщины разделять наши пустые грезы. Женщина половина мужчины. Да, но какая? Верхняя? Или другая?

Во всяком случае, не в разуме общность их: у каждого свой короб дури. Подобно двум побегам, выросшим из одного ствола, через сердце они сообщаются.

Не распростился я с миром. Хоть я и седень завялый, обнищальный, искалеченный, однако хватает во мне хитрости на то, чтобы собирать ежедневно вокруг постели моей веселую стражу из юных прекрасных соседок. Приходят они под предлогом важной новости или хозяйственной просьбы. Все предлоги для них хороши: войдя, они их тут же забывают. Словно на рынке, жмутся они – Акулька румяная, Анюта шустрая, Машенька [83], Дашенька, Пашенька – вокруг тельца на постели; и болтаем мы, ах, кумушки, кумушки, – шумно, без умолка, как безумные. Они колокольца, я – бурлила-колокол. У меня всегда есть в мешке две-три тонкие сказочки, щекочущие кошечек за ухом; ах, как они помирают! На улице слышны раскаты их смеха.

И Флоридор, обиженный моим успехом, спрашивает насмешливо, в чем его тайна. Я отвечаю:

– Тайна? Молод я, старина.

– А кроме того, – говорит он с досадой, – многое значит твоя дурная слава. Женщины всегда любят старых пролазов.

– Конечно. Разве не уважают старого воина? Все спешат увидеть его: он, мол, возвращается из страны доблести. А вот эти говорят: Николка совершал поход в страну любви. Он ее знает, он знает нас... И потом – как знать? – быть может, он еще повоюет.

– Старый шалун, – восклицает Марфа, – ишь ты какой! Не вздумал ли ты влюбиться?

– Отчего бы нет? Это – мысль. Раз так, я возьму и женюсь, чтоб вас извести.

– Эй, женись, женись, брат, угомонись. Юность должна ведь пройти!

* * *

<Николин день>

В день св. Николы я покинул постель и в кресле подкатали меня к окну. Под ногами – грелка. Передо мной – деревянный столик с дыркой для свечки. Около десяти община моряков – «водителей вод» – и рабочих, «товарищей речки», со скрипками во главе прошествовали мимо дома нашего, взявшись за руки, приплясывая позади жезлоносца. До того как в церковь идти, они обходили кабаки. Увидя меня, они громко меня приветствовали. Я привстал, поклонился моему святому, который ответил мне тем же. Через подоконник пожал я их черные руки, вылил бутылку в воронку их огромных зияющих глоток (капля в море!).

В полдень сыновья мои вчетвером пришли поздравить меня. Можно не ладить друг с другом, однако именины отца – священные: это – ось, вокруг которой сложилась семья; празднуя день этот, они сближаются.

Я стою за него.

Итак, в этот день они все четверо собрались у меня. Не очень-то радовала их такая встреча. Они друг друга мало любят, и сдаётся мне, что я так-таки единственное звено между ними. В наши времена все то исчезает, что могло бы соединять людей: дом, семья, вера; всякий считает, что один прав, и каждый живет для себя. Не подражаю я тем старикам, которые возмущаются и обижаются и думают, что с ними умрет и весь мир. Мир не пропадет; и мне кажется, что молодые знают лучше старых, что им подходит. Но старику невесело. Мир вокруг него меняется; и, коль он сам не изменится, места нет для него! Я же иначе смотрю на вещи. Сажу я в кресле. Что ж, остаюсь я в нем! А если нужно, чтобы место сохранить, мненья свои изменить, изменю их, да; устроюсь всегда, оставаясь (разумеется) все тем же. А пока, сидя в кресле своем, я гляжу на меняющийся мир и на молодцов моих спорящих; люблюсь ими, а меж тем скромно выжидаю, чтобы повести их по своему усмотренью...

Вот они передо мной вокруг стола: Иван-ханжа – справа, слева – Антон-гугенот, который в Лионе живет... Сидели они, друг на друга не глядя, задом увязнув и аршин проглотив. Иван, цветущий, полнощекий, с холодными глазами и с улыбкой на губах, говорил нескончаемо о делах своих, хвастался, выставлял богатство свое, успех, выхвалял свои сукна и Бога, ему помогающего их продавать. Антон, бритоусый, с козлиной бородкой, хмурый, прямой и бесстрастный, говорил словно про себя, о книжной своей торговле, о путешествиях в Женеву, о своих деловых сношеньях и вере и тоже восхвалял Бога, но другого. Каждый говорил по очереди, не слушая песни соседа, замолкал и снова начинал. Но потом оба они, раздраженные, стали обсуждать предметы, которые могли выбить из колеи собеседника, этот – успехи веры истинной, тот – достижения истинной веры. При этом они упрямо продолжали не внимать друг другу; и, неподвижные, словно в воротниках железных, горько и яростно поносили они Бога вражеского.

Между ними стоял, глядел на них, пожимал плечами и громко смеялся мой третий сын, Михайло, солдат удалый (неплохой он малый). Не мог устоять он на месте и пошел кружить, как волк в клетке; барабаня по стеклам, напевая: ток, ток, а то останавливался, чтобы оглазить спорщиков да расхохотаться им в лицо; или же грубо прерывал их, объявляя, что две жирных овцы, будь они красным или синим крестом отмечены, равно хороши и что им это докажут на деле... «Каких мы только не ели!..»

Анис, последний мой сын, в ужасе глядел на него. Анис, удачно названный, пороха не выдумавший... Споры его тревожили. Ничто на земле не занимает его. Дай ему только спокойно позевывать да скучать с утра до вечера. Посему зовет он орудием дьявола дела государства и веры, изобретенные-де, чтобы тревожить мирный сон умных людей или ум людей сонных... «Дурна ли вещь иль хороша, но раз она у меня, зачем менять? Постель, запечатлевшая вдавленный след тела моего, постлана для меня. Не хочу я новой простыни...»

Но хотел ли он или нет, а тюфяк его потряхивали. И в порыве возмущенья, боясь за свой покой, кроткий человек этот был способен

палачу предать всех будил. А пока, растерянный, слушал он разговор остальных; и как только голоса повышались, голова его втягивалась в плечи. Я же, напрягая слух и зрение, забавлялся тем, что разбирал, в чем эти четверо на меня походили. Однако они сыновья мои, за это я отвечаю. Но хоть и вышли они из меня, не вышли они; и как, чорт возьми, они в меня забралась? Я себя ощупываю: как мог я носить в чреслах своих вон этого проповедника, этого холопа папского да бешеную овцу? (Оставляю в стороне бродягу...) О природа, предательница! Они, значит, были во мне? Да, я носил в себе их зародыши; узнаю родственные движенья, обороты речи и даже – мышленья; я себя вижу в них преображенным. Но под удивленной личиной человек остается тот же. Тот же – единый и многоликий. Всякий носит в себе двадцать разных людей – смеющегося, плачущего, деревянно-равнодушного и, смотря по погоде, – волка, собаку и овцу, доброго малого и шлопая, но один из этих двадцати – самый сильный, и, присваивая себе право слова, он может заткнуть глотку остальным. Вот почему те и удирают, когда видят, что дверь открыта. Мои четыре сына так и сделали. Бедняги! Я виноват. Так далеко они от меня и так близко!..

Да что ж! Они как-никак – мои детеныши. Когда говорят они глупости, мне хочется просить у них прощенья за то, что я создал их глупыми. По счастью, они довольны и судьбой и собой!.. Пусть, я за них рад. Но не могу я переносить одно – то, что они не могут допускать, чтобы другие уродовали себя, если им это нравится.

Выпрямившись на боднях[84] своих, угрожая взглядом и клювом, они все четверо походили на сердитых петухов, готовых прыгнуть друг на друга. Я безмятежно наблюдал, потом сказал:

– Ладно, ладно, овечки мои, я вижу, что вы себя не дадите остричь. Кровь красна (еще бы! она моя), а голос еще краше. Вдоволь наговорились вы, теперь – мой черед. Язык у меня чешется. А вы отдохните.

Они, однако, не торопились послушаться. Одно слово прорвало грозные тучи. Иван, вскочив, поднял стул. Михайло обнажил свою длинную шпагу, Антон вынул нож; Анис же ревел благим матом: «Пожар, пото<п>!» Того и гляди, эти четыре волка друг друга зарежут. Схватил я первый предмет, попавшийся под руку (как раз оказался он, случайно, тем кувшином, который приводил меня в отчаянье, а Флоридора в восторг), и, кокнув им по столу, разбил его вдребезги. Меж тем Марфа, вбежав, размахивала дымящимся котлом и угрожала вылить его им на голову. Заорали они, как стадо ослят; но когда я реву, нет осла, который бы не опустил хвоста.

– Я здесь хозяин, я приказываю. Молчать. Что вы, с ума сошли? Разве мы здесь собрались, чтоб обсуждать символ веры Никея?[85] Я люблю поспорить, еще бы, но попросил бы я вас, друзья, выбирайте предметы поновее. Я устал от этих, смертельно устал. Шут вас дери, обсуждайте, коль ваше здоровье требует того, бургонское это вино иль колбасу – все то, что можно видеть или выпить, тронуть иль съесть: мы выпьем, съедим, чтоб проверить. Но спорить о Боге! О Святом Духе, Господи, – какое скудоумие! Я не порицаю верующих, я верую, мы

веруем, вы веруете... во все что угодно. Но поговорим о другом: мало ли что есть на свете! Каждый из вас войдет в рай. Ладно, валяй. Ждут вас там, местечко уготовлено для каждого избранника; остальные же останутся за дверью; верю... Но пускай Господь Бог сам, как хочет, размещает гостей своих: это его дело, и не мешайте вы ему... У всякого царство свое. У Бога – небо, у нас – земля. Украшать ее, коль можно, – вот наш долг. Работников и так не слишком много. Думаете ли вы, что можно обойтись хотя бы без одного из вас? Вы все четверо полезны стране. Она столько же нуждается в твоей вере, Иван, сколько и в твоей, Антон; нужен ей и твой нрав беспокойный, Михаил, и твоя косность, Анис. Вы четыре столба. Подайся один, и весь дом рухнет. Вы остались бы ненужными развалинами. К этому ли вы стремитесь? Рассудительно, нечего сказать! Что подумали бы вы о четырех моряках, которые в море, в непогоду, вместо того чтобы править судном, только бы делали, что ссорились. Помнится мне, слышал я некогда разговор между королем Генрихом и герцогом Неверским. Они оба жаловались на дурь французов, норвящих всегда переколоть друг друга. «Чорт им в пузо, – говорил король, – я бы желал, дабы их успокоить, всунуть их в мешок по двое, монаха бешеного и проповедника неистового, да в реку, как котят, кинуть их».

А герцог, смеясь: «По мне, достаточно было бы отправить их на тот остров, куда, говорят, граждане Берна высаживают мужей и жен сварливых: месяц спустя, когда корабль за ними приходит, они воркуют нежно, как влюбленные голубки». Вот какое вам нужно лечение! Ворчите, уроды? Спиной друг к другу становитесь? Эй, взгляните на себя, детки. Напрасно каждый из вас думает, что он лучше и краше изваян, чем братец его. Все вы одного помола. Персики чистые, бургундцы истые...

Стоит только взглянуть на этот большой дерзкий нос, развернувшийся поперек лица, на этот широкий, топором вырубленный рот – воронка для вина, на глаза эти заросшие, которые очень бы хотели казаться злыми, а смеются! Да на вас клеймо! Поймите же, что, вредя друг другу, вы сами себя уничтожаете! У вас образ мыслей разный? Велика важность! Или вы желали бы пахать одно и то же поле? Чем больше у нашей семьи будет полей и мыслей, тем счастливее и сильнее мы будем. Распространяйтесь, умножайтесь и берите все, что можете, от земли и от мысли. У каждого свое, и сплочены все, – ну-ка, сыны, поцелуйтесь, дабы громадный нос Персиков расплетал тень свою через нивы и вдыхал красоту мира!

Они молчали, насупившись, но заметно было, что еще немножко, и они рассмеются. Михаил расхохотался первым и, протянув руку Ивану, сказал:

– Ну-ка, старший носач!

Они обнялись.

– Эй, Марфа, тащи заздравное!

Тут я заметил, что когда я в сердцах разбил кувшин, то порезал себе кисть. На столе алело несколько капель крови. Антон, неизменно

торжественный, поднял руку мою, подставил под нее стакан, собрал в нем сок моей жилы и сказал напыщенно:

– Выпьем все четверо из стакана этого, чтобы скрепить наш союз!

– Стой, стой, Антон, не смей портить Божье вино! Фу! Как это противно! Изволь выплеснуть эту бурду. Кто хочет испить самой крови моей, пусть осушит до дна кружку вина!

На сем чокнулись мы и о вкусе питья не спорили.

По уходе моих сыновей Марфа, обвязывая руку мою, сказала мне:

– Старый стервец, добился ты наконец!

– Добился чего? Того ли, что их помирил?

– Я о другом.

– О чем же?

Она указала на стол, на котором лежал разбитый кувшин.

– Ты отлично меня понимаешь. Не притворяйся овечкой... Признайся... ты должен признаться... Ну, скажи на ушко! Никто не узнает...

Я прикидывался удивленным, возмущенным, полоумным, но смех меня разбирал... Я задышался. Она повторила:

– Негодяй, негодяй!

Я сказал:

– Он был слишком уродлив. Послушай, милая дочка: он или я – один из нас должен был сгинуть.

– Тот, который остался, не краше.

– Что до него, он, может быть, гадок. Пускай... Мне все равно. Я не вижу его.

* * *

Сочельник

На петлях своих намасленных вертится год. Дверь закрывается и вновь открывается. словно сложенное сукно, падают дни в бархатный ларь ночей. Они входят с одной стороны и выходят с другой, удлиняясь на блошиный прыжок. Сквозь щель я вижу глаза блестящие Нового года.

Сиж у большого камина в рождественскую ночь и гляжу как бы со дна колодца ввысь на звездное небо, на его мерцающие веки, на его сердечки дрожащие и слышу, как близятся колокола, летящие по гладкому воздуху, звонящие к заутрене. Мне любо думать, что Младенец

родился в этот поздний час, в этот час темнейший, когда будто мир кончается. Его голосок поет: «День, ты вернешься! Ты грядешь уже. Новый год, вот и ты!» И надежда теплыми крыльями голубит ночь ледяную и смягчает ее.

Я один в доме; дети мои в церкви. Остаюсь с собакой моею Лимоном и кошкой Потапошкой. Мы грезим и смотрим, как пламя подлизывает под хайло. Вспоминаю вечер недавний. Только что выводок мой был подле меня; я рассказывал Глаше моей круглоглазой волшебные сказки о гадком утенке, о Мальчике с пальчик, о ребенке, что разбогател, петуха продавая тем людям, которые день перевозят в тележках. Очень весело было. Остальные слушали и смеялись, и каждый сказал свое слово. А потом приумолкли, следили кипящую воду, горящие угли и трепет снежинок на стеклах и сверчка под золой. Ах, славные зимние ночи, молчанье, теплый семейный уют, грезы в час бденья, в час, когда ум любит кудесить, но знает это, и если и бредит, то в шутку...

А ныне, что кончился год, подвожу я приход и расход и подмечаю, что за шесть месяцев я все потерял: жену, дом, деньги и ноги свои. Но забавно то, что в конце-то концов я, как прежде, богат. Нет у меня ничего, говорят? Да, нечего больше нести на себе. Легче стало... Никогда не бывал я так бодр и свободен, никогда так легко я не плыл по теченью грезы своей...

Однако кто бы сказал мне в прошлом году, что так весело приму беду! Разве не клялся я, что до гроба хочу оставаться у себя господином единым, твердым и самостоятельным, что только себя должен благодарить я за дом и за пищу и только себе отчет отдавать в своих бреднях!

Судьба решила иначе, а все-таки ладно вышло. И человек в общем – животное кроткое. Все ему нравится. Он приспособляется с одинаковой легкостью к счастью, к скорби, к скоромному, к постному. Дай ему четыре ноги или две отними, лиши его слуха, зренья, голоса, – он все-таки как-то устроится так, чтобы видеть, слышать иль говорить. Он словно воск растяжимый и сжимчивый. И сладостно знать, что в уме и в ногах есть у тебя эта гибкость, что можешь быть рыбой в воде, птицей в воздухе, саламандрой в огне, а на земле – человеком, воющим весело со всеми стихиями. Так, чем беднее ты, тем ты богаче, ибо душа создает все, что хочет иметь: широкое дерево по обрезанию веток выше растет. Чем меньше имею, тем больше я сам.

Полночь. Бьют часы.

«Он родился, младенец божественный».

Я распеваю:

«Играйте, гобои, звените, волынки!

Как прекрасен и нежен Христос».

Дремота долит [86]. Я засыпаю, плотно усевшись, чтобы в очаг не упасть.

«Звените, волынки, играйте, гобои бойкие.

Он родился, Младенец Иисус».

* * *

Крещение

Однако я крупно шучу! Ибо чем меньше имею, тем больше есть у меня. И я это твердо знаю. Удастся мне, нищему, быть богачом: богатство – чужое. Что говорят мне о дряхлых отцах, разграбленных, все, все отдавших, портки и рубашку – детям своим бессердечным – и ныне забытых, покинутых всеми, чующих тысячу рук, их толкающих в яму могильную? Вот уж правда, неловкие! Никогда не бывал я, ей-ей, так ласкаем, любим, как в дни моей бедности. Дело в том, что не отдал я сдуру всего, а кое-что все же сберег. Не только ведь денежки можно отдать. Я-то, отдав их, самое лучшее крепко держу – веселость мою, все, что собрал за полвека жизни шатучей, а набрал я немало хорошего, радости, хитрости, мудрости шалой, безумия мудрого. И еще мой запас не иссяк, мешок мой для всех открываю: берите пригоршнями, так! Разве это пустяк? Коли дети мне дарят свое, я тоже дарю – поверстались! И если иной дает меньше других, что ж – любовь доплатит недоимку; и жалоб не слышно.

Смотрите, вот он, бесцарственный царь, Иоанн Безземельный, счастливый мерзавец, вот он, Персик из Галлии, вот он сидит на престоле, управляя пиром гремящим!

Сегодня Крещение: днем проходили по улице нашей три волхва, и их свита, белое стадо, шесть пастушков, шесть пастушек, и, шествуя, пели они; и собаки брехали. А ныне вечером все мы сидим за столом, все дети мои и детища детищ моих. Всех нас за ужином две с половиною дюжины, и все тридцать кричат:

– Пьет король!

А король – это я. Мой венец – горшок тестяной. Королева же Марфа: я, как в Писании, женился на дочери. Всякий раз, что стакан подношу я к губам, меня чествуют, я хохочу и глотаю с попершкой... но все же глотаю, ничего не теряю. Королева моя тоже пьет и, грудь оголив, сует свой красный сосок детенышу красному в рот. И пьет гологузый слюняйчик, последний мой внук. И пес под столом из миски лакает и тьякает; и кот, гудя и кобенясь, удирает с костью.

И думаю я (громко: не люблю я думать про себя):

– Жизнь хороша. Ах, друзья! Ее недостаток единственный тот, что она коротка: платишь много, дают недостаточно. Вы скажете мне: «Будь доволен: твоя часть хороша, и ты ее съел». Не отрицаю. Но съел бы я вдвое. И как знать! Может быть, если не буду кричать слишком громко, получу я второй кусок пирога... Грустно лишь то, что хоть я и в живых, столько добрых малых пропали бесследно, увы! Боже, как годы проходят, а с ними и люди! Где король Генрих и добрый наш герцог Людовик?

И вот отправляюсь по дорогам былого собирать цветочки завялые воспоминаний; и я пью, и я вью свои сказки, не устаю, пересказываю. Мне дети мои не мешают болтать, и порою, когда нахожу я не сразу нужное слово или запутываюсь, они мне тихонько подсказут конец; и тут я очнусь от мечтаний своих, окруженный глазами любовно-лукавыми.

– Да что, старина, – говорят мне они, – хорошо было жить в двадцать лет? У женщин тогда была грудь и полней и прекрасней, у мужчин было сердце и все остальное – на месте. Стоило только взглянуть на Генриха и на его куманька Людовика! Нет больше изделий из этого дерева...

Я отвечаю:

– Черти, смеетесь вы? Что же, вы правы, смеяться полезно. Не глуп я, не думаю я, что нет винограда у нас иль молодцов, чтоб его собирать. Я знаю: когда уходит один, приходят трое, и дуб, из которого строят галлов, удалых ребят, растет все по-прежнему прямо, и густо, и крепко. Дерево то же, но ныне изделие другое, саженей сколько б вы ни рубили, – никогда не создастся король мой Генрих иль герцог Людовик. А их-то любил я... Стой, стой, Николка, чего распускаешь ты нюни! Слезы? Ах, дурень, неужто ты станешь жалеть о том, что не можешь всю жизнь пережевывать тот же все кус? Изменилось вино? Вкусно оно все равно. Будем пить! Да здравствует залпом пьющий король! Да здравствует также народ – погреб его!..

И то: по правде сказать, дети мои, хоть добрый король и хорош, а лучше все же – я сам. Будем свободны, французы милые, и пошлем пастухов наших травку щипать! Я да земля – мы любим друг друга, ничего нам не нужно. На что мне король – на земле иль на небе? У каждого пядь земли и руки, чтоб ее разворачивать.

Вот твое место на солнце, вот твоя тень. Есть у тебя десятина, есть и руки, чтобы сеять, пахать! Что же еще тебе нужно? И если король бы вошел ко мне, я бы сказал:

– Ты мой гость. За здоровье твое! Садись. Ты, брат, не один. Всякий француз – властелин. И я, твой слуга, у себя господин.

Л. Карроль. Аня в Стране чудес

Глава 1. Нырок в кроличью норку

Ане становилось скучно сидеть без дела рядом с сестрой на травяном скате; раза два она заглянула в книжку, но в ней не было ни разговоров, ни картинок. «Что проку в книжке без картинок и без разговоров?» – подумала Аня.

Она чувствовала себя глупой и сонной – такой был жаркий день. Только что принялась она рассуждать про себя, стоит ли встать, чтобы набрать ромашек и свить из них цепь, как вдруг, откуда ни возьмись, пробежал мимо нее Белый Кролик с розовыми глазами.

В этом, конечно, ничего особенно замечательного не было; не удивилась Аня и тогда, когда услышала, что Кролик бормочет себе под нос: «Боже мой, Боже мой, я наверняка опоздаю». (Только потом, вспоминая, она заключила, что говорящий зверек – диковина, но в то время ей почему-то казалось это очень естественным.) Когда же Кролик так-таки и вытащил часы из жилетного кармана и, взглянув на них, поспешил дальше, тогда только у Ани блеснула мысль, что ей никогда не приходилось видеть, чтобы у кролика были часы и карман, куда бы их совать. Она вскочила, сгорая от любопытства, побежала за ним через поле и как раз успела заметить, как юркнул он в большую нору под шиповником.

Аня мгновенно нырнула вслед за ним, не задумываясь над тем, как ей удастся вылезти опять на свет Божий.

Нора сперва шла прямо в виде туннеля, а потом внезапно оборвалась вниз – так внезапно, что Аня не успела и ахнуть, как уже стоймя падала куда-то, словно попала в бездонный колодец.

Да, колодец, должно быть, был очень глубок, или же падала она очень медленно: у нее по пути вполне хватало времени осмотреться и подумать о том, что может дальше случиться. Сперва она взглянула вниз, чтоб узнать, что ее ожидает, но глубина была беспросветная; тогда она посмотрела на стены колодца и заметила, что на них множество полок и полочек; тут и там висели на крючках географические карты и картинки. Она падала вниз так плавно, что успела мимоходом достать с одной из полок банку, на которой значилось: «Клубничное Варенье». Но, к великому ее сожалению, банка оказалась пустой. Ей не хотелось бросать ее, из боязни убить кого-нибудь внизу, и потому она ухитрилась поставить ее в один из открытых шкафчиков, мимо которых она падала.

«Однако, – подумала Аня, – после такого испытания мне ни чуточки не покажется страшным полететь кувырком с лестницы! Как дома будут дивиться моей храбрости! Что лестница! Если бы я даже с крыши

грохнулась, и тогда б я не пикнула! Это уже, конечно».

Вниз, вниз, вниз... Вечно ли будет падение? «Хотела бы я знать, сколько верст сделала я за это время, – сказала она громко. – Должно быть, я уже приближаюсь к центру земли. Это, значит, будет приблизительно шесть тысяч верст. Да, кажется, так... (Аня, видите ли, выучила несколько таких вещей в классной комнате, и хотя сейчас не очень кстати было высказывать свое знание, все же такого рода упражнение ей казалось полезным.) ...Да, кажется, это верное расстояние, но вопрос в том, на какой широте или долготе я нахожусь?» (Аня не имела ни малейшего представления, что такое долгота и широта, но ей нравился пышный звук этих двух слов.)

Немного погодя она опять принялась думать вслух:

«А вдруг я провалюсь сквозь землю? Как забавно будет выйти на той стороне и очутиться среди людей, ходящих вниз головой! Антипатии, кажется». (На этот раз она была рада, что некому слышать ее: последнее слово как-то не совсем верно звучало.)

«Но мне придется спросить у них название их страны. Будьте добры, сударыня, сказать мне, куда я попала: в Австралию или в Новую Зеландию? (Тут она попробовала присесть – на воздухе-то!) Ах, за какую дурочку примут меня! Нет, лучше не спрашивать: может быть, я увижу это где-нибудь написанным».

Вниз, вниз, вниз... От нечего делать Аня вскоре опять заговорила: «Сегодня вечером Дина, верно, будет скучать без меня. (Дина была кошка.) Надеюсь, что во время чая не забудут налить ей молока в блюдце. Дина, милая, ах, если бы ты была здесь, со мной! Мышей в воздухе, пожалуй, нет, но зато ты могла бы поймать летучую мышь! Да вот едят ли кошки летучих мышей? Если нет, почему же они по крышам бродят?» Тут Аня стала впадать в дремоту и продолжала повторять сонно и смутно: «Кошки на крыше, летучие мыши...» А потом слова путались и выходило что-то несуразное: летучие кошки, мыши на крыше... Она чувствовала, что одолел ее сон, но только стало ей сниться, что гуляет она под руку с Диной и очень настойчиво спрашивает у нее: «Скажи мне, Дина, правду: ела ли ты когда-нибудь летучих мышей?» – как вдруг...

Бух! Бух!

Аня оказалась сидящей на куче хвороста и сухих листьев. Падение было окончено. Она ничуть нешиблась и сразу же вскочила на ноги. Посмотрела вверх – там было все темно. Перед ней же был другой длинный проход, и в глубине его виднелась спина торопливо семенящего Кролика. Аня, вихрем сорвавшись, кинулась за ним и успела услышать, как он воскликнул на повороте: «Ох, мои ушки и усики, как поздно становится!» Она была совсем близко от него, но, обогнув угол, потеряла его из виду. Очутилась она в низкой зале, освещенной рядом ламп, висящих на потолке.

Вокруг всей залы были многочисленные двери, но все оказались запертыми! И после того как Аня прошла вдоль одной стороны и вернулась вдоль другой, пробуя каждую дверь, она вышла на середину залы, с грустью спрашивая себя, как же ей выбраться наружу.

Внезапно она заметила перед собой столик на трех ножках, весь сделанный из толстого стекла. На нем ничего не было, кроме крошечного золотого ключика, и первой мыслью Ани было, что ключик этот подходит к одной из дверей, только что испробованных ею. Не тут-то было! Замки были слишком велики, ключик не отпирал. Но, обойдя залу во второй раз, она нашла низкую занавеску, которой не заметила раньше, а за этой занавеской оказалась крошечная дверь. Она всунула золотой ключик в замок – он как раз подходил!

Аня отворила дверцу и увидела, что она ведет в узкий проход величиной с крысину норку. Она встала на колени и, взглянув в глубину прохода, увидела в круглом просвете уголок чудеснейшего сада. Как потянуло ее туда из сумрачной залы, как захотелось ей там побродить между высоких нежных цветов и прохладных светлых фонтанов! – но и головы она не могла просунуть в дверь. «А если б и могла, – подумала бедная Аня, – то все равно без плеч далеко не уйдешь. Ах, как я бы хотела быть в состоянии складываться, как подзорная труба! Если бы я только знала, как начать, мне, пожалуй, удалось бы это». Видите ли, случилось столько необычайного за последнее время, что Ане уже казалось, что на свете очень мало действительно невозможных вещей.

Постояла она у дверцы, потопталась, да и вернулась к столику, смутно надеясь, что найдет на нем какой-нибудь другой ключ или, по крайней мере, книжку правил для людей, желающих складываться по примеру подзорной трубы; на этот раз она увидела на нем скляночку (которой раньше, конечно, не было, подумала Аня), и на бумажном ярлычке, привязанном к горлышку, были напечатаны красиво и крупно два слова: «ВЫПЕЙ МЕНЯ».

Очень легко сказать: «Выпей меня», но умная Аня не собиралась действовать опрометчиво. «Посмотрю сперва, – сказала она, – есть ли на ней пометка “яд”». Она помнила, что читала некоторые милые рассказы о детях, которые пожирались дикими зверями и с которыми случались всякие другие неприятности, – все только потому, что они не слушались дружеских советов и не соблюдали самых простых правил, как, например: если будешь держать слишком долго кочергу за раскаленный докрасна кончик, то обожжешь руку; если слишком глубоко воткнешь в палец нож, то может пойти кровь; и, наконец, если глотнешь из бутылочки, помеченной «яд», то рано или поздно почувствуешь себя неважно.

Но в данном случае на склянке никакого предостережения не было, и Аня решилась испробовать содержимое. И так как оно весьма ей понравилось (еще бы! это был какой-то смешанный вкус вишневого торта, сливочного мороженого, ананаса, жареной индейки, тяну<ч>ек и горячих гренок с маслом), то склянка вскоре оказалась пуста.

«Вот странное чувство! – воскликнула Аня. – Должно быть, я захопываюсь, как телескоп».

Действительно: она теперь была не выше десяти дюймов росту, и вся она просияла при мысли, что при такой величине ей легко можно пройти в дверцу, ведущую в дивный сад. Но сперва нужно было посмотреть, перестала ли она уменьшаться: этот вопрос очень ее волновал. «Ведь это может кончиться тем, что я вовсе погасну, как свеча, – сказала Аня. – На что же я тогда буду похожа?» И она попробовала вообразить себе, как выглядит пламя после того, как задует свечу. Никогда раньше она не обращала на это внимания.

Через некоторое время, убедившись в том, что ничего больше с ней не происходит, она решила немедленно отправиться в сад. Но, увы! Когда бедная Аня подошла к двери, она спохватилась, что забыла взять золотой ключик, а когда пошла за ним к стеклянному столику, то оказалось, что нет никакой возможности до него дотянуться: она видела его совершенно ясно, снизу, сквозь стекло, и попыталась даже вскарабкаться вверх по одной из ножек, но слишком было скользко; и, уставшая от тщетных попыток, бедняжка свернулась в клубочек и заплакала.

«Будет тебе плакать. Что толку в слезах? – довольно резко сказала Аня себе самой. – Советую тебе тотчас же перестать».

Советы, которые она себе давала, обычно были весьма добрые, хотя она редко следовала им. Иногда она бранила себя так строго, что слезы выступали на глазах, а раз, помнится, она попробовала выдрать себя за уши за то, что сплутовала, играя сама с собой в крокет. Станный этот ребенок очень любил представлять из себя двух людей. «Но это теперь ни к чему, – подумала бедная Аня. – Ведь от меня осталось так мало! На что я гожусь?..»

Тут взгляд ее упал на какую-то стеклянную коробочку, лежащую под столом: она открыла ее и нашла в ней малюсенький пирожок, на котором изящный узор изюминок образовал два слова: «СЪЕШЬ МЕНЯ!»

«Ну что же, и съем! – сказала Аня. – И если от этого я вырасту, то мне удастся достать ключ; если же я стану еще меньше, то смогу подлезть под дверь. Так или иначе, я буду в состоянии войти в сад. Будь что будет!»

Она съела кусочек и стала спрашивать себя: «В какую сторону, в какую?» – и при этом ладонь прижимала к темени, чтобы почувствовать, по какому направлению будет расти голова; однако, к ее великому удивлению, ничего не случилось: она оставалась все того же роста. Впрочем, так обыкновенно и бывает, когда ешь пирожок, но она так привыкла на каждом шагу ждать одних только чудес, что жизнь уже казалась ей глупой и скучной, когда все шло своим порядком.

Поэтому она принялась за пирожок, и вскоре он был уничтожен.

Глава 2. Продолжение [87]

«Чем дальше, тем странше! – воскликнула Аня (она так оторопела, что на какое-то мгновение разучилась говорить правильно). – Теперь я растягиваюсь, как длиннейшая подзорная труба, которая когда-либо существовала. Прощайте, ноги! (Дело в том, что, поглядев вниз, на свои ноги, она увидела, что они все удаляются и удаляются – вот-вот исчезнут.) Бедные мои ножки, кто же теперь на вас будет натягивать чулки, родные? Уж конечно, не я! Слишком велико расстояние между нами, чтобы я могла о вас заботиться; вы уж сами как-нибудь устройтесь. Все же я должна быть с ними ласкова, – добавила про себя Аня, – а то они, может быть, не станут ходить в ту сторону, в какую я хочу! Что бы такое придумать! Ах, вот что: я буду дарить им по паре сапог на Рождество».

И стала она мысленно рассуждать о том, как лучше осуществить этот замысел. «Сапоги придется отправить с курьером, – думала она. – Вот смешно-то! посылать подарки своим же ногам! И как дико будет выглядеть адрес:

ГОСПОЖЕ ПРАВОЙ НОГЕ АНИНОЙ

Город Коврик

Паркетная губерния

Однако какую я чушь говорю!»

Тут голова ее стукнулась о потолок; тогда она схватила золотой ключик и побежала к двери, ведущей в сад.

Бедная Аня! Всего только и могла она, что, лежа на боку, глядеть одним глазом в сад; пройти же было еще труднее, чем раньше. И, опустившись на поле, она снова заплакала.

«Стыдно, стыдно! – вдруг воскликнула Аня. – Такая большая девочка (увы, это было слишком верно) – и плачет! Сейчас же перестань! Слышишь?» – Но она все равно продолжала лить потоки слез, так что вскоре на полу посредине залы образовалось глубокое озеро.

Вдруг она услышала мягкий стук мелких шажков. И она поскорее вытерла глаза, чтобы разглядеть, кто идет. Это был Белый Кролик, очень нарядно одетый, с парой белых перчаток в одной руке и с большим веером в другой. Он семенил крайне торопливо и бормотал на ходу: «Ах, Герцогиня, Герцогиня! Как она будет зла, если я заставлю ее ждать!»

Аня находилась в таком отчаянии, что готова была просить помощи у всякого: так что, когда Кролик приблизился, она тихо и робко обратилась к нему: «Будьте добры...» Кролик сильно вздрогнул, выронил перчатки и веер и улепетнул в темноту с величайшей поспешностью.

Аня подняла и перчатки и веер и, так как в зале было очень жарко, стала обмахиваться все время, пока говорила:

«Ах ты, Боже мой! Как сегодня все несуразно! Вчера все шло по обыкновению. Неужели же за ночь меня подменили? Позвольте: была ли я сама собой, когда утром встала? Мне как будто помнится, что я чувствовала себя чуть-чуть другой. Но если я не та же, тогда... тогда... кто же я, наконец? Это просто головоломка какая-то!» И Аня стала мысленно перебирать всех сверстниц своих, проверяя, не превратилась ли она в одну из них.

«Я наверно знаю, что я не Ада, – рассуждала она. – У Ады волосы кончаются длинными кольчиками, а у меня кольчиков вовсе нет; я убеждена также, что я и не Ася, потому что я знаю всякую всячину, она же – ах, она так мало знает! Кроме того, она – она, а я – я. Боже мой, как это все сложно! Попробую-ка, знаю ли я все те вещи, которые я знала раньше. Ну так вот: четырежды пять – двенадцать, а четырежды шесть – тринадцать, а четырежды семь – ах, я никогда не доберусь до двадцати! Впрочем, таблица умножения никакого значения не имеет. Попробую-ка географию. Лондон – столица Парижа, а Париж – столица Рима, а Рим... Нет, это все неверно, я чувствую. Пожалуй, я действительно превратилась в Асю! Попробую еще сказать стихотворение какое-нибудь. Как это было? “Не знает ни заботы, ни труда...” Кто не знает?»

Аня подумала, сложила руки на коленях, словно урок отвечала, и стала читать наизусть, но голос ее звучал хрипло и странно, и слова были совсем не те:

Крокодилушка не знает

Ни заботы, ни труда.

Золотит его чешуйки

Быстротечная вода.

Милых рыбок ждет он в гости,

На брюшке средь камышей:

Лапки врозь, дугою хвостик,

И улыбка до ушей...

«Я убеждена, что это не те слова, – сказала бедная Аня, и при этом глаза у нее снова наполнились слезами. – По-видимому, я правда превратилась в Асю, и мне придется жить с ее родителями в их душном домике, почти не иметь игрушек и столько, столько учиться! Нет уж, решено: если я – Ася, то останусь здесь, внизу! Пускай они тогда глядят сверху и говорят: “Вернись к нам, деточка!” Я только подниму голову и спрошу: “А кто я? Сперва скажите мне, кто я. И если мне понравится моя новая особа, я поднимусь к вам. А если не понравится, то буду оставаться здесь, внизу, пока не стану кем-нибудь другим”. Ах. Господи, – воскликнула Аня, разрыдавшись. – Как я все-таки хотела бы, чтобы они меня позвали! Я так устала быть одной!»

Тут она посмотрела на свои руки и с удивлением заметила, что, разговаривая, надела одну из крошечных белых перчаток, оброненных Кроликом.

«Как же мне удалось это сделать? – подумала она. – Вероятно, я опять стала уменьшаться». Она подошла к столу, чтобы проверить рост свой по нему. Оказалось, что она уже ниже его и быстро продолжает таять. Тогда ей стало ясно, что причиной этому является веер в ее руке. Она поспешно бросила его. Еще мгновение – и она бы исчезла совершенно!

«Однако едва-едва спаслась! – воскликнула Аня, очень испуганная внезапной переменой и вместе с тем довольная, что еще существует. – А теперь – в сад!» И она со всех ног бросилась к двери, но, увы! дверца опять оказалась закрытой, а золотой ключик лежал на стеклянном столике, как раньше. «Все хуже и хуже! – подумало бедное дитя. – Я никогда еще не была такой маленькой, никогда! Как мне не везет!»

При этих словах она поскользнулась, и в следующее мгновение – бух! – Аня оказалась по горло в соленой воде. Ее первой мыслью было, что она каким-то образом попала в море. «В таком случае, – сказала она про себя, – я просто могу вернуться домой поездом». (Аня только раз в жизни побывала на берегу моря и пришла к общему выводу, что, какое бы приморское место ни посетить, все будет то же: вереница купальных будок, несколько детей с деревянными лопатами, строящих крепость из песка, дальше ряд одинаковых домов, где сдаются комнаты приезжающим, а за домами железнодорожная станция.) Впрочем, она скоро догадалась, что находится в луже тех обильных слез, которые она пролила, будучи великаншей.

«Ах, если бы я не так много плакала! – сказала Аня, плавая туда и сюда в надежде найти сушу. – Я теперь буду за это наказана тем, вероятно, что утону в своих же слезах. Вот будет странно! Впрочем, все странно сегодня».

Тут она услышала где-то вблизи барахтанье и поплыла по направлению плеска, чтобы узнать, в чем дело. Сперва показалось ей, что это тюлень или гиппопотам, но, вспомнив свой маленький рост, она поняла, что это просто мышь, угодившая в ту же лужу, как и она.

«Стоит ли заговорить с мышью? – спросила себя Аня. – Судя по тому, что сегодня случается столько необычайного, я думаю, что, пожалуй,

эта мышь говорить умеет. Во всяком случае, можно попробовать». И она обратилась к ней:

«О, Мышь, знаете ли Вы, как можно выбраться отсюда? Я очень устала плавать взад и вперед, о Мышь!» (Ане казалось, что это верный способ обращения, когда говоришь с мышью; никогда не случилось ей делать это прежде, но она вспомнила, что видела в братниной латинской грамматике столбик слов: мышь, мыши, мыши, мышь, о мыши, о, мышь!)

Мышь посмотрела на нее с некоторым любопытством и как будто моргнула одним глазком, но ничего не сказала.

«Может быть, она не понимает по-русски, – подумала Аня. – Вероятно, это французская мышь, оставшаяся при отступлении Наполеона. (Аня хоть знала историю хорошо, но не совсем была тверда насчет давности разных происшествий.) *Où est ma chatte?*[88]» – заговорила она опять, вспомнив предложение, которым начинался ее учебник французского языка. Мышь так и выпрыгнула из воды и, казалось, вся задрожала от страха.

«Ах, простите меня, – залепетала Аня, боясь, что обидела бедного зверька. – Я совсем забыла, что вы не любите кошек».

«Не люблю кошек! – завизжала Мышь надрывающимся голосом. – Хотела бы я знать, любили ли бы вы кошек, если б были на моем месте!»

«Как вам сказать? Пожалуй, нет, – успокоительным тоном ответила Аня. – Не сердитесь же, о Мышь! А все-таки я желала бы, – продолжала она как бы про себя, лениво плавая по луже, – ах, как я желала бы вас познакомить с нашей Диной: вы научились бы ценить кошек, увидя ее. Она такое милое, спокойное существо. Сидит она, бывало, у меня, мурлыкает, лапки облизывает, умывается... И вся она такая мягкая, так приятно нянчить ее. И она так превосходно ловит мышей... Ах, простите меня! – опять воскликнула Аня, ибо на этот раз Мышь вся ощетинилась, выражая несомненную обиду. – Мы не будем говорить о ней, если вам это неприятно».

«Вот так так – мы не будем!.. – воскликнула Мышь, и дрожь пробежала по ее телу с кончиков усиков до кончика хвоста. – Как будто я первая заговорила об этом! Наша семья всегда ненавидела кошек. Гадкие, подлые, низкие существа! Не упоминайте о них больше!»

«Разумеется, не буду, – сказала Аня и поспешила переменить разговор. – А вы любите, ну, например, собак?»

Мышь не ответила, и Аня бойко продолжала:

«В соседнем домике такой есть очаровательный песик, так мне хотелось бы вам показать его! Представьте себе: маленький яркоглазый фоксик, в шоколадных крапинках, с розовым брюшком, с острыми ушами! И если кинешь что-нибудь, он непременно принесет. Он служит и лапку подает и много всяких других штук знает – всего не вспомнишь. И принадлежит он, знаете, мельнику, и мельник говорит, что он его за тысячу рублей не отдаст, потому что он так ловко крыс убивает и... ах, Господи! я,

кажется, опять вас обидела!»

Действительно, Мышь уплывала прочь так порывисто, что от нее во все стороны шла рябь по воде. Аня ласково принялась ее звать: «Мышь, милая! Вернитесь же, и мы не будем больше говорить ни о кошках, ни о собаках, раз вы не любите их».

Услыхав это, Мышь повернулась и медленно поплыла назад; лицо у нее было бледно (от негодования, подумала Аня), а голос тих и трепетен. «Выйдем на берег, – сказала Мышь, – и тогда я вам расскажу мою повесть. И вы поймете, отчего я так ненавижу кошек и собак».

А выбраться было пора; в луже становилось уже тесно от всяких птиц и зверей, которые в нее попали: тут были и Утка, и Дронт, и Лори, и Орленок, и несколько других диковинных существ. Все они вереницей поплыли за Аней к суше.

Глава 3. Игра в куралесы и повесть в виде хвоста

Поистине странное общество собралось на берегу: у птиц волочились перья, у зверей слипалась шкура – все промокли насквозь, вид имели обиженный и чувствовали себя весьма неуютно.

Первым делом, конечно, нужно было найти способ высохнуть. Они устроили совещание по этому вопросу, и через несколько минут Аня заметила – без всякого удивления – что беседует с ними так свободно, словно знала их всю жизнь. Она даже имела долгий спор с Лори, который под конец надулся и только повторял: «Я старше Вас и поэтому знаю лучше», – а это Аня не могла допустить, но на вопрос, сколько же ему лет, Лори твердо отказался ответить, и тем разговор был исчерпан.

Наконец, Мышь, которая, по-видимому, пользовалась общим почетом, крикнула: «Садитесь все и слушайте меня. Я вас живо высушу!» Все они тотчас же сели, образуя круг с Мышью посередине, и Аня не спускала с нее глаз, так как чувствовала, что получит сильный насморк, если сейчас не согреется.

Мышь деловито прокашлялась:

«Вот самая сухая вещь, которую я знаю. Прошу внимания! Утверждение в Киеве Владимира Мономаха мимо его старших родичей повело к падению родового единства в среде киевских князей. После смерти Мономаха Киев достался не братьям его, а сыновьям и обратился, таким образом, в семейную собственность Мономаховичей. После старшего сына Мономаха, очень способного князя Мстислава...»

«Ух!» – тихо произнес Лори, и при этом его всего передернуло.

«Простите? – спросила Мышь, нахмурившись, но очень учтиво. – Вы, кажется, изволили что-то мне сказать?»

«Нет, нет», – поспешно забормотал Лори.

«Мне, значит, показалось, – сказала Мышь. – Итак, я продолжаю: ... очень способного князя Мстислава, в Киеве один за другим княжили его родные братья. Пока они жили дружно, их власть была крепка; когда же их отношения обострились...»

«В каком отношении?» – перебила Утка.

«В отношении их отношений, – ответила Мышь довольно сердито. – Ведь вы же знаете, что такое “отношенье”».

«Я-то знаю, – сказала Утка. – Я частенько “отношу” своим детям червячка или лягушонка. Но вопрос в том, что такое отношенье князей?»

Мышь на вопрос этот не ответила и поспешно продолжала:

«...обострились, то против них поднялись князья Ольговичи и не раз силою завладевали Киевом. Но Мономаховичи в свою очередь... Как вы себя чувствуете, моя милая?» – обратилась она к Ане.

«Насквозь промокшей, – уныло сказала Аня. – Ваши слова на меня, видно, не действуют».

«В таком случае, – изрек Дронт, торжественно привстав, – я предлагаю объявить заседание закрытым, дабы принять более энергичные меры».

«Говорите по-русски, – крикнул Орленок. – Я не знаю и половины всех этих длинных слов, а главное, я убежден, что и вы их не понимаете!»

И Орленок нагнул голову, скрывая улыбку. Слышно было, как некоторые другие птицы захихикали.

«Я хотел сказать следующее, – проговорил Дронт обиженным голосом. – Лучший способ, чтобы высохнуть, – это игра в куралесы».

«Что такое куралесы?» – спросила Аня – не потому, что ей особенно хотелось это узнать, но потому, что Дронт остановился, как будто думая, что кто-нибудь должен заговорить, а между тем слушатели молчали.

«Неужели вы никогда не вертелись на куралесах? – сказал Дронт. – Впрочем, лучше всего показать игру эту на примере».

И так как вы, читатели, может быть, в зимний день пожелали бы сами в нее сыграть, я расскажу вам, что Дронт устроил.

Сперва он наметил путь для бега, в виде круга («форма не имеет значенья», – сказал он при этом), а потом участники были расставлены тут и там на круговой черте. Все пускались бежать, когда хотели, и останавливались по своему усмотрению, так что нелегко было знать, когда кончается состязание. Однако после получаса бега, вполне осушившего всех, Дронт вдруг воскликнул:

«Гонки окончены!»

И все столпились вокруг него, тяжело дыша и спрашивая:

«Кто же выиграл?»

На такой вопрос Дронт не мог ответить, предварительно не подумав хорошенько. Он долго стоял неподвижно, приложив палец ко лбу (как великие писатели на портретах), пока другие безмолвно ждали. Наконец Дронт сказал:

«Все выиграли, и все должны получить призы».

«Но кто будет призы раздавать?» – спросил целый хор голосов.

«Она, конечно», – сказал Дронт, ткнув пальцем на Аню. И все тесно ее обступили, смутно гудя и выкрикивая:

«Призы, призы!»

Аня не знала, как ей быть. Она в отчаянии сунула руку в карман и вытащила коробку конфет, до которых соленая вода, к счастью, не добралась. Конфеты она и раздала в виде призов всем участникам. На долю каждого пришлось как раз по одной штуке.

«Но она и сама должна получить награду», – заметила Мышь.

«Конечно», – ответил Дронт очень торжественно.

«Что еще есть у вас в карманах?» – продолжал он, обернувшись к Ане.

«Только наперсток», – сказала она с грустью.

«Давайте–ка его сюда!» – воскликнул Дронт.

Тогда они все опять столпились вокруг нее, и напыщенный Дронт представил ее к награде:

«Мы имеем честь просить вас принять сей изящный наперсток», – сказал он, и по окончании его короткой речи все стали рукоплескать.

Это преподношение казалось Ане ужасной чепухой, но у всех был такой важный, сосредоточенный вид, что она не посмела рассмеяться. И так как она ничего не могла придумать, что сказать, она просто поклонилась и взяла из рук Дронта наперсток, стараясь выглядеть как можно торжественнее.

Теперь надлежало съесть конфеты, что вызвало немало шума и волнения. Крупные птицы жаловались, что не могли разобрать вкуса конфеты, а те, которые были поменьше, давились, и приходилось хлопать их по спине. Наконец все было кончено, и они опять сели в кружок и попросили Мышь рассказать им еще что–нибудь.

«Помните, вы рассказ обещали, – сказала Аня. – Вы хотели объяснить, почему так ненавидите С. и К.», – добавила она шепотом, полубоясь, что опять Мышь обидится.

«Мой рассказ прост, печален и длинен», – со вздохом сказала Мышь, обращаясь к Ане.

«Да, он, несомненно, очень длинный, – заметила Аня, которой послышалось не “прост”, а “хвост”. – Но почему вы его называете печальным?»

Она стала ломать себе голову, с недоумением глядя на хвост Мыши, и потому все, что стала та говорить, представлялось ей в таком виде:

«Вы не слушаете, – грозно сказала Мышь, взглянув на Аню. – О чем вы сейчас думаете?»

«Простите, – кротко пролепетала Аня, – вы, кажется, дошли до пятого погиба?»

«Ничего подобного, никто не погиб! – не на шутку рассердилась Мышь. – Никто. Вот вы теперь меня спутали».

«Ах, дайте я распутаю... Где узел?» – воскликнула услужливо Аня, глядя на хвост Мыши.

«Ничего вам не дам, – сказала та и, встав, стала уходить. – Вы меня оскорбляете тем, что говорите такую чушь!»

«Я не хотела! Простите меня, – жалобно протянула Аня. – Но вы так легко обижаетесь!»

Мышь только зарычала в ответ.

«Ну, пожалуйста, вернитесь и доскажите ваш рассказ», – вслед ей крикнула Аня. И все остальные присоединились хором:

«Да, пожалуйста!»

Но Мышь только покачала головой нетерпеливо и прибавила шаг.

«Как жаль, что она не захотела остаться! – вздохнул Лори, как только Мышь скрылась из виду; и старая Рачиха воспользовалась случаем, чтобы сказать своей дочери:

«Вот, милая, учись! Видишь, как дурно сердиться!»

«Закуси язык, мать, – огрызнулась та. – С тобой и устрица из себя выйдет».

«Ах, если бы Дина была здесь, – громко воскликнула Аня, ни к кому в частности не обращаясь. – Дина живо притащила бы ее обратно!»

«Простите за нескромный вопрос, – сказал Лори, – но скажите, кто это – Дина?»

На это Аня ответила с радостью, так как всегда готова была говорить о своей любимице:

«Дина – наша кошка. Как она чудно ловит мышей – я просто сказать вам не могу! Или вот еще – птичек. Птичка только сядет, а она ее мигом цап–царап!»

Эти слова произвели совершенно исключительное впечатление на окружающих. Некоторые из них тотчас же поспешили прочь. Дряхлая Сорока принялась очень тщательно закутываться, говоря: «Я правда должна бежать домой: ночной воздух очень вреден для моего горла». А канарейка дрожащим голосом стала скликать своих детей: «Пойдемте, родные! Вам уже давно пора быть в постельках!» Так все они под разными предлогами удалились, и Аня вскоре осталась одна.

«Напрасно, напрасно я упомянула про Дину! – уныло сказала она про себя. – Никто, по-видимому, ее здесь не любит, я же убеждена, что она лучшая кошка на свете. Бедная моя Дина! Неужели я тебя никогда больше не увижу!» И тут Аня снова заплакала, чувствуя себя очень угнетенной и одинокой. Через несколько минут, однако, она услышала шуршанье легких шагов и быстро подняла голову, смутно надеясь, что Мышь решила все-таки вернуться, чтобы закончить свой рассказ.

Глава 4. Кто-то летит в трубу

Это был Белый Кролик, который тихо семенил назад, тревожно поглядывая по сторонам, словно искал чего-то. И Аня расслышала, как он бормотал про себя: «Ах, герцогиня, герцогиня! Ах, мои бедные лапки! Ах, моя шкурка и усики! Она меня казнит, это ясно, как капуста! Где же я мог их уронить?» Аня сразу сообразила, что он говорит о веере и о паре белых перчаток, и она добродушно стала искать их вокруг себя, но их нигде не было видно – да и вообще все как-то изменилось с тех пор, как она выкупалась в луже, – и огромный зал, и дверца, и стеклянный столик исчезли совершенно.

Вскоре Кролик заметил хлопчущую Аню и сердито ей крикнул: «Маша, что ты тут делаешь? Сию же минуту сбегай домой и принеси мне пару белых перчаток и веер! Живо!» И Аня так перепугалась, что тотчас же, не пытаясь объяснить ошибку, метнулась по направлению, в которое Кролик указал дрожащей от гнева лапкой.

«Он принял меня за свою горничную, – думала она, пока бежала. – Как

же он будет удивлен, когда узнает, кто я в действительности. Но я, так и быть, принесу ему перчатки и веер – если, конечно, я их найду».

В эту минуту она увидела перед собой веселый чистенький домик, на двери которого была блестящая медная дощечка со словами:

ДВОРЯНИН КРОЛИК ТРУСИКОВ

Аня вошла не стуча и взбежала по лестнице очень поспешно, так как боялась встретить настоящую Машу, которая, вероятно, тут же выгнала бы ее, не дав ей найти веер и перчатки.

«Как это все дико, – говорила Аня про себя, – быть на побегушках у Кролика! Того и гляди, моя Дина станет посылать меня с порученьями». И она представила себе, как это будет: «Барышня, идите одеваться к прогулке!» – «Сейчас, няня, сейчас! Мне Дина приказала понаблюдать за этой щелкой в полу, чтобы мышь оттуда не выбежала!» – «Но только я не думаю, – добавила Аня, – что Дине позволят оставаться в доме, если она будет так людей гонять!»

Взбежав по лестнице, она пробралась в пустую комнату, светлую, с голубенькими обоями, и на столе у окна увидела (как и надеялась) веер и две-три пары перчаток. Она уже собралась бежать обратно, как вдруг взгляд ее упал на какую-то бутылочку, стоящую у зеркала. На этот раз никакой пометки на бутылочке не было, но она все-таки откупорила ее и приложила к губам. «Я уверена, что что-то должно случиться, – сказала она. – Стоит только съесть или выпить что-нибудь; отчего же не посмотреть, как действует содержимое этой бутылочки. Надеюсь, что оно заставит меня опять вырасти, мне так надоело быть такой малюсенькой!»

Так оно и случилось – и куда быстрее, чем она ожидала: полбутылки еще не было выпито, как уже ее голова оказалась прижатой к потолку, и она принуждена была нагнуться, чтобы не сломалась шея. Она поспешно поставила на место бутылочку. «Будет! – сказала она про себя. – Будет! Я надеюсь, что больше не вырасту... Я и так уж не могу пройти в дверь. Ах, если бы я не так много выпила!»

Увы! Поздно было сожалеть! Она продолжала увеличиваться и очень скоро должна была встать на колени. А через минуту и для этого ей не хватало места. И она попыталась лечь, вся скрючившись, упираясь левым локтем в дверь, а правую руку обвив вокруг головы. И все-таки она продолжала расти. Тогда, в виде последнего средства, Аня просунула руку в окно и ногу в трубу, чувствуя, что уж больше ничего сделать нельзя.

К счастью для Ани, действие волшебной бутылочки окончилось: она больше не увеличивалась. Однако очень ей было неудобно, и так как все равно из комнаты невозможно было выйти, она чувствовала себя очень несчастной.

«Куда лучше было дома! – думала бедная Аня. – Никогда я там не растягивалась и не уменьшалась, никогда на меня не кричали мыши да кролики. Я почти жалею, что нырнула в норку, а все же, а все же – жизнь эта как-то забавна! Что же это со мной случилось? Когда я читала волшебные сказки, мне казалось, что таких вещей на свете не бывает, а вот я теперь оказалась в середине самой что ни есть волшебной сказки! Хорошо бы, если б книжку написали обо мне, – право, хорошо бы! Когда я буду большой, я сама напишу; впрочем, – добавила Аня с грустью, – я уже и так большая: во всяком случае, тут мне не хватит места еще вырасти».

«Что ж это такое? – думала Аня. – Неужели я никогда не стану старше? Это утешительно в одном смысле: я никогда не буду старухой... Но зато, зато... всю жизнь придется долбить уроки! Ох уж мне эти уроки!»

«Глупая, глупая Аня, – оборвала она самое себя, – как же можно тут учиться? Едва-едва хватит места для тебя самой! Какие уж тут учебники!»

И она продолжала в том же духе, принимая то одну сторону, то другую и создавая из этого целый разговор; но внезапно снаружи раздался чей-то голос, и она замолчала, прислушиваясь.

«Маша! А Маша! – выкрикнул голос. – Сейчас же принеси мне мои перчатки!» За этим последовал легкий стук шажков вверх по лестнице.

Аня поняла, что это пришел за ней Кролик, и так стала дрожать, что ходуном заходил весь дом. А между тем она была в тысячу раз больше Кролика, и потому ей нечего было его бояться.

Вскоре Кролик добрался до двери и попробовал ее открыть: но так как дверь открывалась внутрь, а в нее крепко упирался Анин локоть, то попытка эта окончилась неудачей. Аня тогда услышала, как он сказал про себя: «В таком случае я обойду дом и влезу через окно!»

«Нет, этого не будет!» – подумала Аня и, подождав до тех пор, пока ей показалось, что Кролик под самым окном, вдруг вытянула руку, растопырив пальцы. Ей ничего не удалось схватить, но она услышала маленький взвизг, звук паденья и звонкий треск разбитого стекла, из чего она заключила, что Кролик, по всей вероятности, угодил в парник для огурцов.

Затем послышался гневный окрик Кролика:

«Петька, Петька! Где ты?»

И откликнулся голос, которого она еще не слыхала:

«Известно где! Выкапываю яблоки, ваше благородие!»

«Знаю твои яблоки! – сердито фыркнул Кролик. – Лучше пойдика сюда и помоги мне выбраться из этой дряни». (Опять звон разбитого стекла.)

«Теперь скажи мне, Петька, что это там в окне?»

«Известно, ваше благородие, – ручища!» (Он произнес это так: рчище.)

«Ручища? Осел! Кто когда видел руку такой величины? Ведь она же все окно заполняет!»

«Известно, ваше благородие, заполняет. Но это рука, уж как хотите».

«Все равно, ей там не место, пойд и уברי ее!»

Затем долгое молчанье. Аня могла различить только шепот и тихие восклицания, вроде: «Что говорить, не ндравится мне она, ваше благородие, не ндравится!» – «Делай, как я тебе приказываю, трус этакий!» Наконец она опять выбросила руку, и на этот раз раздалось два маленьких взвизга и снова зазвенело стекло.

«Однако, сколько у них там парников! – подумала Аня. – Что же они теперь предпримут? Я только была бы благодарна, если бы им удалось вытащить меня отсюда. Я–то не очень хочу здесь оставаться!»

Она прислушалась. Некоторое время длилось молчанье. Наконец послышалось поскрипыванье тележных колес и гам голосов, говорящих все сразу.

«Где другая лестница?» – «Не лезь, мне было велено одну принести, Яшка прет с другой». – «Яшка! Тащи ее сюда, малый!» – «Ну–ка, приставь их сюды, к стенке!» – «Стой, привяжи их одну к другой!» – «Да они того – не достают до верха». – «Ничего, и так ладно, нечего деликатничать». – «Эй, Яшка, лови веревку!» – «А крыша–то выдержит?» – «Смотри–ка, черепица шатается». – «Сейчас обвалится, берегись!» – (Грох!) – «Кто это сделал?» – «Да уж Яшка, конечно». – «Кто по трубе спустится?» – «Уволь, братцы, не я!» – «Сам лезь!» – «Врешь, не полезу!» – «Пусть Яшка попробует». – «Эй, Яшка, барин говорит, что ты должен спуститься по трубе».

«Вот оно что! Значит, Яшка должен по трубе спуститься, – сказала про себя Аня. – Они, видно, все на Яшку валят. Ни за что я не хотела бы быть на его месте; камин узок, конечно, но все–таки, мне кажется, я могу дать ему пинок».

Она продвинула ногу как можно дальше в трубу и стала выжидать. Вскоре она услышала, как какой–то зверек (она не могла угадать его породу) скребется и возится в трубе. Тогда, сказав себе: «Это Яшка!», она дала резкий пинок и стала ждать, что будет дальше.

Первое, что она услышала, было общий крик голосов:

«Яшка летит!»

Потом, отдельно, голос Кролика:

«Эй, ловите его, вы, там, у плетня!»

Затем молчанье и снова смутный гам:

«Подними ему голову. Воды!» – «Тише, захлебнется!» – «Как это было, дружище?» – «Что случилось?» – «Расскажи-ка подробно!»

Наконец раздался слабый, скрипучий голосок («Это Яшка», – подумала Аня): «Я уж не знаю, что было... Спасибо, спасибо... Мне лучше... Но я слишком взволнован, чтобы рассказывать. Знаю только одно – что-то ухнуло в меня, и взлетел я, как ракета».

«Так оно и было, дружище!» – подхватили остальные.

«Мы должны сжечь дом», – сказал голос Кролика.

И Аня крикнула изо всех сил:

«Если вы это сделаете, я напущу Дину на вас!»

Сразу – мертвое молчанье. Аня подумала: «Что они теперь будут делать? Смекалки у них не хватит, чтобы снять крышу».

Через две-три минуты они опять задвигались и прозвучал голос Кролика: «Сперва одного мешка будет достаточно».

«Мешка чего?» – спросила Аня. Но недолго она оставалась в неизвестности: в следующий миг стучащий дождь мелких камушков хлынул в окно, и некоторые из них попали ей в лоб.

«Я положу конец этому!» – подумала Аня и громко крикнула: «Советую вам перестать!» Что вызвало опять мертвое молчанье.

Аня заметила не без удивленья, что камушки, лежащие на полу, один за другим превращались в крохотные пирожки, – и блестящая мысль осенила ее. «Что, если я съем один из этих пирожков! – подумала она. – Очень возможно, что он как-нибудь изменит мой рост. И так как я увеличиваться все равно больше не могу, то полагаю, что стану меньше».

Сказано – сделано. И Аня, проглотив пирожок, с радостью заметила, что тотчас рост ее стал убавляться.

Как только она настолько уменьшилась, что была в состоянии пройти в дверь, она сбежала по лестнице и, выйдя наружу, увидела перед домом целое сборище зверьков и птичек. Посредине был бедненький Яшка-Ящерица, поддерживаемый двумя морскими свинками, которые что-то вливали ему в рот из бутылочки. Все они мгновенно бросились к Ане, но она проскочила и пустилась бежать со всех ног, пока не очутилась в спасительной глубине частого леса.

«Первое, что нужно мне сделать, – это вернуться к своему настоящему росту; а второе – пробраться в тот чудесный сад. Вот, кажется, лучший план».

План был, что и говорить, великолепный – очень стройный и простой. Единственным затором было то, что она не имела ни малейшего

представления, как привести его в исполнение; и пока она тревожно вглядывалась в просветы между стволов, резкое твяканье заставило ее поспешно поднять голову.

Исполинский щенок глядел на нее сверху огромными круглыми глазами и, осторожно протягивая лапу, старался дотронуться до ее платья. «Ах ты мой бедненький!» – проговорила Аня ласковым голосом и попыталась было засвистеть. Но ей все время ужасно страшно было, что он, может быть, проголодался и в таком случае не преминет съесть ее, несмотря на всю ее ласковость.

Едва зная, что делает, Аня подняла с земли какую-то палочку и протянула ее щенку. Тот с радостным взвизгом подпрыгнул на воздух, подняв сразу все четыре лапы, и игриво кинулся на палочку, делая вид, что хочет ее помять. Тогда Аня, опасаясь быть раздавленной, юркнула под защиту огромного чертополоха, но только она высунулась с другой стороны, как щенок опять кинулся на палочку и полетел кувырком от слишком большой поспешности. Ане казалось, что это игра с бегемотом, который может каждую минуту ее растоптать. Она опять обежала чертополох, и тут щенок разыгрался вовсю: он перебирал лапами вправо и влево, предпринимал ряд коротких нападений, всякий раз немного приближаясь и очень далеко отбегая, и все время хрипло полаивал, пока, наконец, не устал. Тогда он сел поодаль, трудно дыша, высунув длинный малиновый язык и полузакрыв огромные глаза.

Это для Ани и послужило выходом: она кинулась бежать и неслась до тех пор, пока лай щенка не замер в отдалении.

«А все же, какой это был душка!» – сказала Аня, в изнеможении прислоняясь к лютику и обмахиваясь одним из его листков.

«Как хорошо, если бы я могла научить его всяким штукам, но только вот – я слишком мала! Боже мой! Я и забыла, что не выросла снова! Рассудим, как бы достигнуть этого? Полагаю, что нужно что-либо съесть или выпить. Но что именно – вот вопрос».

Аня посмотрела вокруг себя – на цветы, на стебли трав. Ничего не было такого, что можно было бы съесть или выпить. Вблизи был большой гриб, приблизительно одного роста с ней; и после того, как она посмотрела под ним и с боков, ей пришла мысль, что можно посмотреть, не находится ли что-либо наверху.

Она, встав на цыпочки, вытянула шею и тотчас же встретилась глазами с громадной голубой гусеницей, которая, скрестив руки, сидела на шапке гриба и преспокойно курила длинный кальян, не обращая ни малейшего внимания ни на Аню, ни на что другое.

Гусеница и Аня долго смотрели друг на друга молча.

Наконец Гусеница вынула кальян изо рта и обратилась к Ане томным, сонным голосом.

«Кто ты?» – спросила Гусеница.

Это было не особенно подбадривающим началом для разговора. Аня отвечала несколько застенчиво:

«Я... я не совсем точно знаю, кем я была, когда встала утром, а кроме того, с тех пор я несколько раз менялась».

«Что ты хочешь сказать этим? – сердито отчеканила Гусеница. – Объяснись!»

«В том-то и дело, что мне трудно себя объяснить, – отвечала Аня, – потому что, видите ли, я – не я».

«Я не вижу», – сухо сказала Гусеница.

«Я боюсь, что не могу выразиться яснее, – очень вежливо ответила Аня. – Начать с того, что я сама ничего не понимаю: это так сложно и неприятно – менять свой рост по нескольку раз в день».

«Не нахожу», – молвила Гусеница.

«Может быть, вы этого сейчас не находите, – сказала Аня, – но когда вам придется превратиться в куколку – а это, вы знаете, неизбежно, – а после в бабочку, то вы, наверное, почувствуете себя скверно».

«Ничуть», – ответила Гусеница.

«Ну, тогда у вас, вероятно, другой характер, – подхватила Аня. – Знаю одно: мне бы это показалось чрезвычайно странным».

«Тебе? – презрительно проговорила Гусеница. – Кто ты?»

И разговор таким образом обратился в сказку про белого бычка.

Аню немного раздражало то, что Гусеница так скупа на слова, и, выпрямившись, она твердо сказала:

«Мне кажется, вы сперва должны были бы сказать мне, кто вы».

«Почему?» – спросила Гусеница.

Опять затруднительный вопрос. Аня не могла придумать ни одной уважительной причины, и так как Гусеница казалась в чрезвычайно дурном расположении духа, то она пошла прочь.

«Стой! – крикнула Гусеница. – У меня есть нечто важное тебе сообщить».

Это звучало соблазнительно. Аня воротилась.

«Владей собой», – молвила Гусеница.

«Это все?» – спросила Аня, с трудом сдерживая негодование.

«Нет», – сказала Гусеница.

Аня решила, что она может подождать, благо ей нечего делать: может быть, она услышит что-нибудь любопытное. В продолжение нескольких минут Гусеница молчаливо попыхивала, но наконец раскрестила руки, опять вынула изо рта кальян и сказала:

«Значит, ты считаешь, что ты изменилась, не так ли?»

«Так, – подтвердила Аня. – Я не могу вспомнить вещи, которые всегда знала, и меняю свой рост каждые десять минут».

«Какие вещи?» – спросила Гусеница.

«Вот, например, я попробовала прочесть наизусть: “Птичка Божия не знает...”, а вышло совсем не то», – с грустью сказала Аня.

«Прочитай-ка “Скажи-ка, дядя, ведь недаром...”», – приказала Гусеница.

Аня сложила руки на коленях и начала:

«Скажи-ка, дядя, ведь недаром

Тебя считают очень старым:

Ведь, право же, ты сед

И располнел ты несказанно.

Зачем же ходишь постоянно

На голове? Ведь, право ж, странно

Шалить на склоне лет!»

И молвил он: «В былое время

Держал, как дорогое бремя,

Я голову свою...

Теперь же, скажем откровенно,

Мозгов лишен я совершенно

И с легким сердцем, вдохновенно
На голове стою».

«Ах, дядя, повторяю снова:
Достиг ты возраста честного,
Ты – с весом, ты – с брюшком...
В такие годы ходят плавно,
А ты, о старец своенравный,
Влетел ты в комнату недавно –
Возможно ль? – кувырком!»

«Учись, юнец, – мудрец ответил. –
Ты, вижу, с завистью приметил,
Как легок мой прыжок.
Я с детства маслом мазал ножки,
Глотал целебные лепешки
Из гуттаперчи и морошки –
Попробуй-ка, дружок!»

«Ах, дядя, дядя, да скажи же,
Ты стар иль нет? Одною жижей
Питаться бы пора!
А съел ты гуся – да какого!
Съел жадно, тщательно, толково,
И не осталось от жаркого
Ни одного ребра!»

«Я как-то раз, – ответил дядя,
Живот величественно глядя, –
Решал с женой моей
Вопрос научный, очень спорный,
И спор наш длился так упорно,
Что отразился благотворно
На силе челюстей».

«Еще одно позволь мне слово:
Сажаешь ты угря живого
На угреватый нос.
Его подкинешь два-три раза,
Поймаешь... Дядя, жду рассказа:
Как приобрел ты верность глаза?
Волнующий вопрос!»

«И совершенно неуместный, –
Заметил старец. – Друг мой, честно
Ответил я на три
Твои вопроса. Это много».
И он пошел своей дорогой,
Шепнув загадочно и строго:
«Ты у меня смотри!»

«Это неправильно», – сказала Гусеница.

«Не совсем правильно, я боюсь, – робко отвечала Аня, – некоторые слова как будто изменились».

«Неправильно с начала до конца», – решила Гусеница, и за этим последовало молчанье.

Гусеница первая заговорила:

«Какого роста ты желаешь быть?» – спросила она.

«Ах, это мне более или менее все равно, – ответила Аня поспешно. – Но только, знаете ли, неприятно меняться так часто».

«Я не знаю», – сказала Гусеница.

Аня промолчала: никто никогда не перечил ей так, и она чувствовала, что теряет терпенье.

«А сейчас вы довольны?» – осведомилась Гусеница.

«Да как вам сказать? Мне хотелось бы быть чуточку побольше, – сказала Аня. – Три дюйма – это такой глупый рост!»

«Это чрезвычайно достойный рост!» – гневно воскликнула Гусеница, взвываясь на дыбы (она была как раз вышиной в три дюйма.)

«Но я к этому не привыкла!» – жалобно протянула бедная Аня. И она подумала про себя: «Ах, если б эти твари не были так обидчивы!»

«Со временем привыкнешь!» – сказала Гусеница и опять сунула в рот кальянную трубку и принялась курить.

Аня терпеливо ждала, чтобы она вновь заговорила. Через несколько минут Гусеница вынула трубку, раз-два зевнула и потянулась. Затем она мягко слезла с гриба и уползла в траву. «Один край заставит тебя вырасти, другой – уменьшиться», – коротко сказала она, не оглядываясь.

«Один край чего? Другой край чего?» – подумала Аня.

«Грибной шапки», – ответила Гусеница, словно вопрос задан был громко, – и в следующий миг она скрылась из виду.

Аня осталась глядеть задумчиво на гриб, стараясь уяснить себе, какая левая сторона и какая правая. И так как шапка была совершенно круглая, вопрос представлялся нелегким. Наконец она протянула руки, насколько могла, обхватила шапку гриба и отломила обеими руками по одному кусочку с того и другого края.

«Какой же из них заставит меня вырасти?» – сказала она про себя и погрызла кусочек в правой руке, чтобы узнать последствие. Тотчас же она почувствовала сильный удар в подбородок и в ногу – они столкнулись!

Внезапность этой перемены очень ее испугала. Нельзя было терять времени – она быстро таяла. Тогда она принялась за другой кусочек.

Подбородок ее был так твердо прижат к ноге, что нелегко было открыть рот. Но наконец ей это удалось, и она стала грызть кусочек, отломанный с левого края.

«Слава Богу, голова моя освободилась!» – радостно воскликнула Аня, но тотчас же тревожно смолкла, заметив, что плечи ее исчезли из вида. Все, что она могла различить, глядя вниз, была длиннейшая шея, взвивающаяся из моря зелени.

«Что это зеленое? – спросила себя Аня. – И куда же исчезли мои бедные плечи? И как же это я не могу рассмотреть мои бедные руки?» Она двигала ими, говоря это, но вызывала только легкое колебание в листве, зеленеющей далеко внизу.

Так как невозможно было поднять руки к лицу, она попробовала опустить голову к рукам и с удовольствием заметила, что шея ее, как змея, легко сгибается в любую сторону. Она обратила ее в изящную извилину и уже собиралась нырнуть в зелень (которая оказалась не чем иным, как верхушками тех самых деревьев, под которыми она недавно бродила) – но вдруг резкое шипенье заставило ее откинуться: крупный голубь, налетев на нее, яростно бил ее крыльями по щекам.

«Змея!» – шипел Голубь.

«Я вовсе не змея», – в негодовании сказала Аня.

«Змея, – повторил Голубь, но уже тише, и прибавил, как бы всхлипнув: – Я уже испробовал всевозможные способы, и ничего у меня не выходит».

«Я совершенно не знаю, о чем вы говорите», – сказала Аня.

«Пробовал я корни деревьев, и речные скаты, и кустарники, – продолжал Голубь, не обращая на нее внимания, – но эти змеи! Никак им не угодишь!»

Недоуменье Ани все росло. Но ей казалось, что не стоит перебивать Голубя.

«И так нелегко высидеть яйца, – воскликнул он, – а тут еще изволь днем и ночью оберегать их от змей! Да ведь я глаз не прикрыл за последние три недели!»

«Мне очень жаль, что вас тревожили», – сказала Аня, которая начинала понимать, к чему он клонит.

«И только я выбрал самое высокое дерево во всем лесу, – продолжал Голубь, возвышая голос до крика, – и только успел порадоваться, что от них отделался, как нате вам, они, вертлявые гадины, с неба спускаются. Прочь, змея!»

«Да я же говорю вам – я вовсе не змея! – возразила Аня. – Я... я... я...»

«Ну? Кто же ты? – взвизгнул Голубь. – Вижу, что ты стараешься придумать что-нибудь».

«Я – маленькая девочка, – проговорила Аня не совсем уверенно, так как вспомнила, сколько раз она менялась за этот день».

«Правдоподобно, нечего сказать! – презрительно прошипел Голубь. – Немало я видел маленьких девочек на своем веку, но девочки с такой шеей – никогда! Нет, нет! Ты – змея, и нечего это отрицать. Ты еще скажи, что никогда не пробовала яиц!»

«Разумеется, пробовала, – ответила правдивая Аня, – но ведь девочки столько же едят яйца, как и змеи».

«Не думаю, – сказал Голубь. – Но если это и правда, то, значит, они тоже в своем роде змеи – вот и все».

Ане показалось это совсем новой мыслью, и она замолчала на несколько мгновений, что дало Голубю возможность добавить:

«Ты ищешь яйца, это мне хорошо известно, и безразлично мне, девочка ты или змея!»

«Мне это не все равно, – поспешно сказала Аня. – Но дело в том, что я яиц не ищу, а если б и искала, то во всяком случае мне не нужны были бы ваши: я не люблю их сырыми».

«Тогда убирайся», – проворчал Голубь и с обиженным видом опустил в свое гнездо. Аня же скрючилась между деревьями, причем шея ее все запутывалась в ветвях, и ей то и дело приходилось останавливаться, чтобы распутать ее.

Вспомнив, что в руках у нее остались оба кусочка гриба, она осторожно принялась за них, отгрызая немного то от одного, то от другого и становясь то выше, то ниже, пока, наконец, не вернулась к своему обычному росту.

Так много времени прошло с тех пор, как была она сама собой, что сперва ей показалось это даже несколько странным. Но вскоре она привыкла и стала сама с собой говорить.

«Ну вот, первая часть моего плана выполнена! Как сложны были все эти перемены! Никогда не знаешь, чем будешь через минуту! Как бы ни было, а теперь я обычного роста. Следующее – это пробраться в чудесный сад – но как это сделать, как это сделать?»

Так рассуждая, она внезапно вышла на прогалину и увидела крошечный домик около четырех футов вышины.

«Кто бы там ни жил, – подумала Аня, – нехорошо явиться туда в таком виде: я бы до чертиков испугала их своей величиной!» Она опять принялась за правый кусочек гриба и только тогда направилась к дому, когда уменьшилась до десяти дюймов.

Глава 6. Поросенок и перец

Некоторое время она глядела на домик молча. Вдруг из леса выбежал пышный лакей (она приняла его за лакея благодаря ливрее: иначе, судя по его лицу, она назвала бы его рыбой) – и громко постучал костяшками рук о дверь. Отпер другой лакей, тоже в пышной ливрее, раскоряченный, лупоглазый, необычайно похожий на лягушку. И у обоих волосы были мелко завиты и густо напудрены.

Ане было очень любопытно узнать, что будет дальше, и, стоя за ближним стволом, она внимательно прислушивалась.

Лакей–Рыба начал с того, что вытащил из–под мышки запечатанный конверт величиной с него самого и, протянув его лакею, открывшему дверь, торжественно произнес:

«Для Герцогини. Приглашение от Королевы на игру в крокет».

Лакей–Лягушка таким же торжественным тоном повторил, слегка изменив порядок слов:

«От Королевы. Приглашение для Герцогини на игру в крокет».

Затем они оба низко поклонились и спутались завитками.

Аню это так рассмешило, что она опять скрылась в чащу, боясь, что они услышат ее хохот, и когда она снова выглянула, то уже Лакея–Рыбы не было, а другой сидел на пороге, тупо глядя в небо.

Аня подошла к двери и робко постучала.

«Стучать ни к чему, – сказал лакей, не глядя на нее, – ибо, во–первых, я на той же стороне от двери, как и вы, а во–вторых, в доме такая возня, что никто вашего стука все равно не услышит».

И действительно: внутри был шум необычайный: безостановочный рев и чиханье, а порою оглушительный треск разбиваемой посуды.

«Скажите мне, пожалуйста, – проговорила Аня, – как же мне туда войти?»

«Был бы какой–нибудь прок от вашего стука, – продолжал лакей, не отвечая ей, – когда бы дверь была между нами. Если б вы, например, постучали бы изнутри, то я мог бы вас, так сказать, выпустить».

При этом он, не отрываясь, глядел вверх, что показалось Ане чрезвычайно неучтивым. «Но, быть может, он не может иначе, –

подумала она. – Ведь глаза у него на лбу. Но, по крайней мере, он мог бы ответить на вопрос».

«Как же я войду?» – повторила она громко.

«Я буду здесь сидеть, – заметил лакей, – до завтрашнего дня».

Тут дверь дома на миг распахнулась, и большая тарелка, вылетев оттуда, пронеслась дугой над самой головой лакея, легко коснувшись кончика его носа, и разбилась о соседний ствол.

«И, пожалуй, до послезавтра», – продолжал лакей совершенно таким же голосом, как будто ничего и не произошло.

«Как я войду?» – настаивала Аня.

«Удастся ли вообще вам войти? – сказал лакей. – Вот, знаете, главный вопрос».

Он был прав. Но Ане было неприятно это возражение.

«Это просто ужас, – пробормотала она, – как все эти существа любят рассуждать. С ними с ума можно сойти!»

Лакей воспользовался ее молчаньем, повторив прежнее свое замечание с некоторым дополнением.

«Я буду здесь сидеть, – сказал он, – по целым дням, по целым дням.. без конца...»

«А что же мне-то делать?» – спросила Аня.

«Все, что хотите», – ответил лакей и стал посвистывать.

«Ну его, все равно ничего не добьюсь, – воскликнула Аня в отчаянии. – Он полный дурак!» – и она отворила дверь и вошла в дом.

Очутилась она в просторной кухне, сплошь отуманенной едким дымом. Герцогиня сидела посередине на стуле о трех ногах и нянчила младенца; кухарка нагибалась над очагом, мешая суп в огромном котле.

«Однако сколько в этом супе перца!» – подумала Аня, расчихавшись.

Да и весь воздух был заражен. Герцогиня и та почихивала; ребенок же чихал и орал попеременно, не переставая ни на одно мгновение. Единственные два существа на кухне, которые не чихали, были кухарка и большой кот, который сидел у плиты и широко ухмылялся.

«Будьте добры мне объяснить, – сказала Аня робко, так как не знала, учтиво ли с ее стороны заговорить первой. – Почему это ваш кот ухмыляется так?»

«Это – Масляничный Кот, – отвечала Герцогиня, – вот почему. Хрюшка!»

Последнее слово было произнесено так внезапно и яростно, что Аня так и подскочила; но она сейчас же поняла, что оно обращено не к ней, а к младенцу, и, набравшись смелости, заговорила опять:

«Я не знала, что такие коты постоянно ухмыляются. Впрочем, я вообще не знала, что коты могут это делать».

«Не всегда коту масленица, – ответила Герцогиня. – Моему же коту – всегда. Вот он и ухмыляется».

«Я этого никогда не знала», – вежливо сказала Аня. Ей было приятно, что завязался умный разговор.

«Ты очень мало что знаешь, – отрезала Герцогиня. – Это ясно».

Ане не понравился тон этого замечания, и она подумала, что хорошо бы перевести разговор на что-нибудь другое. Пока она старалась найти тему, кухарка сняла с огня котел с супом и тотчас же принялась швырять в Герцогиню и в ребенка все, что попадалось ей под руку: кочерга и утюг полетели первыми, потом градом посыпались блюда, тарелки, миски. Герцогиня не обращала на них никакого вниманья, даже когда они попадали в нее, ребенок же орал беспрестанно, так что все равно нельзя было знать, когда ему больно – когда нет.

«Ах, ради Бога, будьте осторожны! – вскрикнула Аня, прыгая на месте от нестерпимого страха. – Ах, вот отлетел его бесценный нос!» – взвизгнула она, когда большая тарелка чуть не задела младенца.

«Если б никто не совался в чужие дела, – сказала хриплым басом Герцогиня, – земля вертелась бы куда скорее».

«Что не было бы преимуществом, – заметила Аня, воспользовавшись случаем, чтобы показать свое знанье. – Подумайте только, как укоротился бы день. Земля, видите ли, берет двадцать четыре часа...»

«В таком случае, – рявкнула Герцогиня, – отрубить ей голову!»

Аня с тревогой поглядела на кухарку, не собирается ли она исполнить это приказанье, но кухарка ушла с головой в суп и не слушала.

Аня решилась продолжать:

«Двадцать четыре часа, кажется, – или двенадцать? Я...»

«Увольте, – сказала Герцогиня. – Я никогда не могла выносить вычисленья!» И она стала качать своего младенца, выкрикивая при этом нечто вроде колыбельной песни и хорошенько встряхивая его после каждого стиха.

Вой, младенец мой прекрасный,

А чихнешь – побью!

Ты нарочно – это ясно...

Баюшки–баю.

Хор:

(при участии кухарки и ребенка)

Ау! Ау! Ау! Ау!

То ты синий, то ты красный,

Бью и снова бью!

Перец любишь ты ужасно.

Баюшки–баю.

Хор:

Ау! Ау! Ау! Ау! Ау!

«Эй вы там, можете понянчить его, если хотите, – сказала Герцогиня, обращаясь к Ане, и, как мяч, кинула ей ребенка. – Я же должна пойти одеться, чтобы отправиться играть в крокет с Королевой».

И она поспешно вышла. Кухарка швырнула ей вслед кастрюлю, но промахнулась на волос.

Аня схватила ребенка с некоторым трудом: это было несуразное маленькое существо, у которого ручки и ножки торчали во все стороны («Как у морской звезды», – подумала Аня). Оно, бедное, напряженно сопело и, словно куколка, то скрючивалось, то выпрямлялось, так что держать его было почти невозможно.

Наконец Аня нашла верный способ (то есть скрутила его в узел и крепко ухватилась за его правое ушко и левую ножку, не давая ему таким образом раскрутиться) и вышла с ним на свежий воздух.

«Не унеси я его, они бы там, конечно, его убили, – подумала Аня. – Было бы преступление его оставить».

Последние слова она произнесла громко, и ребенок в ответ хрюкнул (он уже перестал чихать к тому времени).

«Не хрюкай, – сказала Аня. – Вежливые люди выражаются иначе».

Но младенец хрюкнул опять, и Аня с тревогой взглянула на него. Странное было личико: вздернутый нос, вроде свиного рыльца, крохотные гляделки, вовсе непохожие на детские глаза. Ане все это очень не понравилось. «Но, может быть, он просто всхлипывает», – подумала она и посмотрела, нет ли слез на ресницах. Но не было ни ресниц, ни слез.

«Если ты собираешься, мой милый, обратиться в поросенка, – твердо сказала Аня, – то я с тобой никакого дела иметь не хочу. Смотри ты у меня!»

Бедное маленькое существо снова всхлипнуло (или хрюкнуло – разобрать было невозможно), и Аня некоторое время несла его молча.

Аня начинала уже недоумевать – что же она с ним будет делать дома, как вдруг он хрюкнул так громко, что она с некоторым испугом поглядела ему в лицо. На этот раз сомнений не оставалось: это был самый настоящий поросенок, так что глупо было с ним возиться. Аня опустила поросенка наземь, и тот, теряя чепчик на бегу, спокойно затрусил прочь и вскоре скрылся в чаще, что очень обрадовало ее.

«Он в будущем был бы ужасно уродлив как ребенок, – сказала она про себя, – но свинья, пожалуй, вышла бы из него красивая». И она стала размышлять о других ей знакомых детях, которые годились бы в поросят. «Если б только знать, как изменить их», – подумала она и вдруг, встрепенувшись, заметила, что на суку ближнего дерева сидит Масляничный Кот.

Он только ухмыльнулся, увидя Аню. Вид у него был добродушный, хотя когти были длиннейшие, а по количеству зубов он не уступал крокодилу. Поэтому Аня почувствовала, что нужно относиться к нему с уважением.

«Масляничный Котик», – робко заговорила она, не совсем уверенная, понравится ли ему это обращение. Однако он только шире осклабился. «Пока что он доволен», – подумала Аня и продолжила: «Котик, не можете ли вы мне сказать, как мне выйти отсюда?»

«Это зависит, куда вам нужно идти», – сказал Кот.

«Мне–то в общем все равно куда...», – начала Аня.

«Тогда вам все равно, какую дорогу взять», – перебил ее Кот.

«Только бы прийти куда–нибудь», – добавила Аня в виде объяснения.

«Прийти–то вы придете, – сказал Кот, – если будете идти достаточно долго».

Аня почувствовала, что отрицать этого нельзя. Она попробовала задать другой вопрос:

«Какого рода люди тут живут?»

«Вон там, – сказал Кот, помахав правой лапой, – живет Шляпник, а вон там (он помахал левой) живет Мартовский Заяц. Навести-ка их: оба они сумасшедшие».

«Но я вовсе не хочу общаться с сумасшедшими», – заметила Аня.

«Ничего уж не поделаешь, – возразил Кот. – Мы все здесь сумасшедшие. Я безумен. Вы безумны».

«Откуда вы знаете, что я безумная?» – спросила Аня.

«Должны быть. Иначе вы сюда не пришли бы».

Аня не нашла это доказательством. Однако она продолжала:

«А как вы знаете, что вы сами сумасшедший?»

«Начать с того, – ответил Кот, – что собака, например, не сумасшедшая. Вы с этим согласны?»

«Пожалуй», – сказала Аня.

«Ну так вот, – продолжал Кот, – собака рычит, когда сердита, и виляет хвостом, когда довольна. Я же рычу, когда доволен, и виляю хвостом, когда сержусь. Заключение: я – сумасшедший».

«Я называю это мурлыканьем, а не рычаньем», – проговорила Аня.

«Называйте чем хотите, – сказал Кот. – Играете ли вы сегодня в крокет с Королевой?»

«Я очень бы этого хотела, – ответила Аня, – но меня еще не приглашали».

«Вы меня там увидите», – промолвил Кот – и исчез.

Это не очень удивило Аню: она уже привыкла к чудесам. Пока она глядела на то место, где только что сидел Кот, он вдруг появился опять.

«Кстати, что случилось с младенцем?» – спросил он.

«Он превратился в поросенка», – ответила Аня совершенно спокойно, словно Кот вернулся естественным образом.

«Я так и думал», – ответил Кот и снова испарился.

Аня подождала немного, думая, что, может, он опять появится, а затем пошла по тому направлению, где, по его словам, жил Мартовский Заяц.

«Шляпников я и раньше видала, – думала она. – Мартовский Заяц куда будет занятнее и к тому же, так как мы теперь в мае, он не будет

буйнопомешанный, по крайней мере, не так буйно, как в марте». Тут она взглянула вверх и опять увидела Кота, сидящего на ветке дерева.

«Вы как сказали – поросенок или опенок?» – спросил Кот.

«Я сказала – поросенок, – ответила Аня. – И я очень бы просила вас не исчезать и не появляться так внезапно: у меня в глазах рябит».

«Ладно», – промолвил Кот и на этот раз стал исчезать постепенно, начиная с кончика хвоста и кончая улыбкой, которая еще осталась некоторое время после того, как остальное испарилось.

«Однако! – подумала Аня. – Мне часто приходилось видеть кота без улыбки, но улыбку без кота – никогда. Это просто поразительно».

Вскоре она пришла к дому Мартовского Зайца. Не могло быть сомнения, что это был именно его дом: трубы были в виде ушей, а крыша была покрыта шерстью. Дом был так велик, что она не решилась подойти, раньше чем не откусила кусочек от левого ломтика гриба. И даже тогда она робела: а вдруг он все-таки буйствует! «Пожалуй, лучше было бы, если бы я посетила Шляпника!»

Глава 7. Сумасшедшие пьют чай

Перед домом под деревьями был накрыт стол: Мартовский Заяц и Шляпник пили чай. Зверек Соня сидел между ними и спал крепким сном. Они же облакачивались на него, как на подушку, и говорили через его голову. «Соне, наверное, очень неудобно», – подумала Аня. – Но, впрочем, он спит, не замечает».

Стол был большой, но почему-то все трое скучились в одном конце.

«Нет места, нет места», – закричали они, когда Аня приблизилась.

«Места сколько угодно», – сказала она в возмущении и села в обширное кресло во главе стола.

«Можно вам вина?» – бодро предложил Мартовский Заяц.

Аня оглядела стол: на нем ничего не было, кроме чая и хлеба с маслом.

«Я никакого вина не вижу», – заметила она.

«Никакого и нет», – сказал Мартовский Заяц.

«В таком случае не очень было вежливо предлагать мне его», – рассердилась Аня.

«Не очень было вежливо садиться без приглашения», – возразил Мартовский Заяц.

«Я не знала, что это ваш стол, – сказала Аня. – Тут гораздо больше трех приборов».

«Обстричь бы вас», – заметил Шляпник. Он все время смотрел на волосы Ани с большим любопытством, и вот были его первые слова.

Аня опять вспылила:

«Потрудитесь не делать личных замечаний, это чрезвычайно грубо».

У Шляпника расширились глаза, но все, что он сказал, было:

«Какое сходство между роялем и слоном?»

«Вот это лучше, – подумала Аня. – Я люблю такого рода загадки. Повеселимся».

«Мне кажется, я могу разгадать это», – добавила она громко.

«Вы говорите, что знаете ответ?» – спросил Мартовский Заяц.

Аня кивнула.

«А вы знаете, что говорите?» – спросил Мартовский Заяц.

«Конечно, – поспешно ответила Аня. – По крайней мере, я говорю, что знаю. Ведь это то же самое».

«И совсем не то же самое! – воскликнул Шляпник. – Разве можно сказать: “Я вижу, что ем” вместо: “Я ем, что вижу”?»

«Разве можно сказать, – пробормотал Соня, словно разговаривая во сне, – “Я дышу, пока сплю” вместо: “Я сплю, пока дышу”?»

«В твоём случае можно», – заметил Шляпник, и на этом разговор иссяк, и все сидели молча, пока Аня вспоминала все, что знала насчет роялей и слонов, – а знала она не много.

Шляпник первый прервал молчанье.

«Какое сегодня число?» – спросил он, обращаясь к Ане. При этом он вынул часы и тревожно на них глядел, то встряхивая их, то прикладывая их к уху.

Аня подумала и сказала:

«Четвертое».

«На два дня отстают, – вздохнул Шляпник. – Я говорил тебе, что твое масло не подойдет к механизму», – добавил он, недовольно глядя на

Мартовского Зайца.

«Масло было самое свежее», – кротко возразил Мартовский Заяц.

«Да, но, вероятно, и крошки попали, – пробурчал Шляпник. – Ты не должен был мазать хлебным ножом».

Мартовский Заяц взял часы и мрачно на них посмотрел, потом окунул их в свою чашку, расплескав чай, и посмотрел опять.

«Это было самое свежее масло», – повторил он удивленно.

Аня с любопытством смотрела через его плечо.

«Какие забавные часы! – воскликнула она. – По ним можно узнать, которое сегодня число, а который час – нельзя».

«Ну и что же, – пробормотал Шляпник. – Или по вашим часам можно узнать время года?»

«Разумеется, нет, – бойко ответила Аня. – Ведь один и тот же год держится так долго».

«В том-то и штука», – проговорил Шляпник.

Аня была ужасно озадачена. Объяснение Шляпника не имело, казалось, никакого смысла, а вместе с тем слова были самые простые.

«Я не совсем понимаю», – сказала она, стараясь быть как можно вежливее.

«Соня опять спит», – со вздохом заметил Шляпник и вылил ему на нос немножко горячего чая.

Соня нетерпеливо помотал головой и сказал, не открывая глаз:

«Конечно, конечно, я совершенно того же мнения».

«Нашли разгадку?» – спросил Шляпник, снова повернувшись к Ане.

«Сдаюсь! – объявила Аня. – Как же?»

«Не имею ни малейшего представления», – сказал Шляпник.

«И я тоже», – сказал Мартовский Заяц.

Аня устало вздохнула:

«Как скучно так проводить время!»

«Если бы вы знали Время так, как я его знаю, – заметил Шляпник, – вы бы не посмели сказать, что его провожать скучно. Оно самолюбиво».

«Я вас не понимаю», – сказала Аня.

«Конечно нет! – воскликнул Шляпник, презрительно мотнув головой. – Иначе вы бы так не расселись».

«Я только села на время», – кротко ответила Аня.

«То–то и есть, – продолжал Шляпник. – Время не любит, чтобы на него садились. Видите ли, если бы вы его не обижали, оно делало бы с часами все, что хотите. Предположим, было бы десять часов утра, вас зовут на урок. А тут вы бы ему, Времени–то, намекнули – и мигом закружились бы стрелки: два часа, пора обедать».

«Ах, пора!» – шепнул про себя Мартовский Заяц.

«Это было бы великолепно, – задумчиво проговорила Аня. – Но только, знаете, мне, пожалуй, не хотелось бы есть».

«Сначала, может быть, и не хотелось бы, – сказал Шляпник, – но ведь вы бы могли поддержать стрелку на двух часах до тех пор, пока не проголодались бы».

«И вы так делаете?» – спросила Аня.

Шляпник уныло покачал головой.

«Куда мне? – ответил он. – Мы с Временем рассорились в прошлом Мартобре, когда этот, знаете, начинал сходить с ума (он указал чайной ложкой на Мартовского Зайца), а случилось это так: Королева давала большой музыкальный вечер, и я должен был петь:

Рыжик, рыжик, где ты был?

На полянке дождик пил?

Вы, может быть, эту песню знаете?»

«Я слышала нечто подобное», – ответила Аня.

«Не думаю, – сказал Шляпник. – Дальше идет так:

Выпил каплю, выпил две,

Стало сыро в голове!»

Тут Соня встряхнулся и стал петь во сне: «Сыро, сыро, сыро...» – и пел так долго, что остальным пришлось его щипать, чтобы он перестал.

«Ну так вот, – продолжал Шляпник, – только начал я второй куплет, вдруг Королева как вскочит да гаркнет: “Он губит время! Отрубить ему голову!”»

«Как ужасно жестоко!» – воскликнула Аня.

«И с этой поры, – уныло добавил Шляпник, – Время отказывается мне служить: теперь всегда пять часов».

«Потому-то и стоит на столе так много чайной посуды?» – спросила Аня.

«Да, именно потому, – вздохнул Шляпник. – Время всегда – время чая, и мы не успеваем мыть чашки».

«Так, значит, вы двигаетесь вокруг стола от одного прибора к другому?» – сказала Аня.

«Да, – ответил Шляпник, – от одного к другому, по мере того, как уничтожаем то, что перед нами».

«А что же случается, когда вы возвращаетесь к началу?» – любопытствовала Аня.

«Давайте-ка переменим разговор, – перебил Мартовский Заяц, зевая. – Мне это начинает надоедать. Предлагаю, чтобы барышня рассказала нам что-нибудь».

«Я ничего не знаю», – сказала Аня, несколько испуганная этим предложением.

«Тогда расскажет Соня! – воскликнули оба. – Проснись, Соня!»

И они одновременно ущипнули его с обеих сторон.

Соня медленно открыл глаза.

«Я вовсе не спал, – проговорил он слабым хриплым голосом. – Я слышал, господа, каждое ваше слово».

«Расскажи нам сказку», – попросил Мартовский Заяц.

«Да, пожалуйста», – протянула Аня.

«И поторопись! – добавил Шляпник. – А то уснешь, не докончив».

«Жили-были три сестренки, – начал Соня с большой поспешностью, – и звали их: Маша, Паша и Даша. И жили они на глубине колодца...»

«Чем они питались?» – спросила Аня.

«Они питались сиропом», – сказал Соня, подумав.

«Это, знаете, невозможно, – кротко вставила Аня, – ведь они же были бы больны».

«Так они и были очень больны», – ответил Соня.

Аня попробовала представить себе такую необычайную жизнь, но ничего у нее не вышло. Тогда она задала другой вопрос:

«Почему же они жили на глубине колодца?»

«Еще чаю?» – вдумчиво сказал Мартовский Заяц, обращаясь к Ане.

«Я совсем не пила, – обиделась Аня, – и потому не могу выпить еще».

«Если вы еще чаю не пили, – сказал Шляпник, – то вы можете еще чаю выпить».

«Никто не спрашивал вашего мнения!» – воскликнула Аня.

«А кто теперь делает личные замечания?» – проговорил Шляпник с торжествующим видом.

Аня не нашлась что ответить. Она налила себе чаю и взяла хлеба с маслом. Потом опять обратилась к Соне:

«Почему же они жили на глубине колодца?»

Соня опять несколько минут подумал и наконец сказал:

«Это был сироповый колодец».

«Таких не бывает», – рассердилась было Аня, но Шляпник и Мартовский Заяц зашипели на нее:

«Шш, шш!»

А Соня, надувшись, пробормотал:

«Если вы не можете быть вежливы, то заканчивайте рассказ сами».

«Нет, пожалуйста, продолжайте, – сказала Аня очень смиренно. – Я не буду вас больше прерывать. Пожалуйста, хоть какой-нибудь рассказ!»

«Какой-нибудь, – возмущенно просопел Соня. Однако он согласился продолжать. – Итак, эти три сестрички, которые, знаете, учились черпать...»

«Что они черпали?» – спросила Аня, забыв свое обещанье.

«Сироп!» – сказал Соня, уже вовсе не подумав.

«Я хочу чистую чашку, – перебил Шляпник, – давайте подвинемся».

Шляпник подвинулся, за ним Соня. Мартовскому Зайцу досталось место

Сони. Аня же неохотно заняла стул Мартовского Зайца. Один Шляпник получил выгоду от этого перемещения: Ане было куда хуже, чем прежде, ибо Мартовский Заяц только что опрокинул кувшин с молоком в свою тарелку.

Аня очень боялась опять обидеть Соню, но все же решилась спросить:

«Но я не понимаю, откуда же они черпали сироп».

Тут заговорил Шляпник:

«Воду можно черпать из обыкновенного колодца? Можно. Отчего же нельзя черпать сироп из колодца сиропового – а, глупая?»

«Но ведь они были в колодце», – обратилась она к Соне, пренебрегая последним замечанием.

«Конечно, – ответил Соня, – на самом дне».

Это так озадачило Аню, что она несколько минут не прерывала его.

«Они учились черпать и чертить, – продолжал он, зевая и протирая глаза (ему начинало хотеться спать), – черпали и чертили всякие вещи, все, что начинается с буквы М».

«Отчего именно с М?» – спросила Аня.

«Отчего бы нет?» – сказал Мартовский Заяц.

Меж тем Соня закрыл глаза и незаметно задремал; когда же Шляпник его хорошенько ущипнул, он проснулся с тоненьким визгом и скороговоркой продолжал:

«...с буквы М, как, например, мышеловки, месяц, и мысли, и маловатости... видели ли вы когда-нибудь чертеж маловатости?»

«Раз уж вы меня спрашиваете, – ответила Аня, чрезвычайно озадаченная, – то я должна сознаться, что никогда».

«В таком случае нечего перебивать», – сказал Шляпник.

Такую грубость Аня уже вытерпеть не могла; она возмущенно встала и удалилась. Соня тотчас же заснул опять, а двое других не обратили никакого внимания на ее уход, хотя она несколько раз оборачивалась, почти надеясь, что они попросят ее остаться. Оглянувшись последний раз, она увидела, как Шляпник и Мартовский Заяц стараются втиснуть Соню в чайник.

«Будет с меня! – думала Аня, пробираясь сквозь чашу. – Это был самый глупый чай, на котором я когда-либо присутствовала».

Говоря это, она вдруг заметила, что на одном стволе – дверь, ведущая внутрь. «Вот это странно! – подумала она. – Впрочем, все странно сегодня. Пожалуй, войду».

Сказано – сделано.

И опять она оказалась в длинной зале, перед стеклянным столиком. «Теперь я устроюсь лучше», – сказала она себе и начала с того, что взяла золотой ключик и открыла дверь, ведущую в сад. Затем съела сбереженный кусочек гриба и, уменьшившись, вошла в узенький проход; тогда она очутилась в чудесном саду среди цветов и прохладных фонтанов.

Глава 8. Королева играет в крокет

Высокое розовое деревцо стояло у входа в сад. Розы на нем росли белые, но три садовника с озабоченным видом красили их в алый цвет. Это показалось Ане очень странным. Она приблизилась, чтобы лучше рассмотреть, и услышала, как один из садовников говорил:

«Будь осторожнее, Пятерка! Ты меня всего обрызгиваешь краской».

«Я нечаянно, – ответил Пятерка кислым голосом. – Меня под локоть толкнула Семерка».

Семерка поднял голову и пробормотал:

«Так, так, Пятерка! Всегда сваливай вину на другого».

«Ты уж лучше молчи, – сказал Пятерка. – Я еще вчера слышал, как Королева говорила, что недурно было бы тебя обезглавить».

«За что?» – полюбопытствовал тот, который заговорил первый.

«Это, во всяком случае, Двойка, не твое дело!» – сказал Семерка.

«Нет, врешь, – воскликнул Пятерка, – я ему расскажу: это было за то, что Семерка принес в кухню тюльпановых луковиц вместо простого лука».

Семерка в сердцах кинул кисть, но только он начал: «Это такая несправедливость...» – как взгляд его упал на Аню, смотревшую на него в упор, и он внезапно осекся. Остальные взглянули тоже, и все трое низко поклонились.

«Объясните мне, пожалуйста, – робко спросила Аня, – отчего вы красите эти розы?»

Пятерка и Семерка ничего не ответили и поглядели на Двойку. Двойка заговорил тихим голосом:

«Видите ли, в чем дело, барышня: тут должно быть деревцо красных роз, а мы по ошибке посадили белое; если Королева это заметит, то она, знаете, прикажет всем нам отрубить головы. Так что, видите, барышня, мы прилагаем все усилия, чтобы до ее прихода...»

Тут Пятерка, тревожно глядевший в глубину сада, крикнул:

«Королева!» – и все три садовника разом упали ничком. Близился шелест многих шагов, и Аня любопытными глазами стала искать Королеву.

Впереди шли десять солдат с пиками на плечах. Они, как и садовники, были совсем плоские, прямоугольные, с руками и ногами по углам. За ними следовали десять придворных с клеверными листьями в петлицах и десять шутов с бубнами. Затем появились королевские дети. Их было тоже десять. Малышки шли парами, весело подпрыгивая, и на их одеждах были вышиты розовые сердца. За ними выступали гости (все больше короли и королевы), и между ними Аня заметила старого своего знакомого – Белого Кролика. Он что-то быстро-быстро лопотал, подергивал усиками, улыбался на все, что говорилось, и прошел мимо, не видя Ани. После гостей прошел Червонный Валет, несущий на пунцовой бархатной подушке рубиновую корону. И, наконец, замыкая величавое шествие, появились Король Червей со своей Королевой.

Аня не знала, нужно ли ей пасть на лицо, как сделали садовники. Она не могла вспомнить такое правило. «Что толку в шествиях, – подумала она, – если люди должны ложиться ничком и, таким образом, ничего не видеть?» Поэтому она осталась неподвижно стоять, ожидая, что будет дальше.

Когда шествие поравнялось с Аней, все остановилось, глядя на нее, а Королева грозно спросила:

«Кто это?»

Вопрос был задан Червонному Валету, который в ответ только поклонился с широкой улыбкой.

«Болван! – сказала Королева, нетерпеливо мотнув головой, и обратилась к Ане: – Как тебя зовут, дитя?»

«Меня зовут Аней, Ваше Величество», – ответила Аня очень вежливо, а затем добавила про себя: «В конце концов, все они – только колода карт. Бояться их нечего».

«А кто эти?» – спросила Королева, указав на трех садовников, неподвижно лежащих вокруг дерева. Так как они лежали ничком, и так как крап на их спинах был точь-в-точь как на изнанке других карт, то Королева не могла узнать, кто они – садовники, солдаты, придворные или трое из ее же детей.

«А я почему знаю? – сказала Аня, дивясь своей смелости. – Мне до этого никакого дела нет!»

Королева побагровела от ярости, выпучила на нее свои горящие волчьи глаза и рявкнула:

«Отрубить ей голову! Отруб...»

«Ерунда!» – промолвила Аня очень громко и решительно, и Королева замолкла.

Король тронул ее за рукав и кротко сказал:

«Рассуди, моя дорогая, ведь это же только ребенок».

Королева сердито отдернула руку и крикнула Валету:

«Переверни их!»

Валет сделал это очень осторожно носком одной ноги.

«Встать!» – взвизгнула Королева, и все три садовника мгновенно вскочили и стали кланяться направо и налево Королю, Королеве, их детям и всем остальным.

«Перестать! – заревела Королева. – У меня от этого голова кружится».

И, указав на розовое деревцо, она продолжала:

«Чем вы тут занимались?»

«Ваше Величество, – сказал Двойка униженным голосом и опустил на одно колено, – Ваше Величество, мы пробовали...»

«Понимаю! – проговорила Королева, разглядывая розы. – Отрубить им головы!»

И шествие двинулось опять. Позади остались три солдата, которые должны были казнить садовников. Те подбежали к Ане, прося защиты.

«Вы не будете обезглавлены!» – сказала Аня и посадила их в большой цветочный горшок, стоящий рядом. Солдаты побродили, побродили, отыскивая осужденных, а затем спокойно догнали остальных.

«Головы отрублены?» – крикнула Королева.

«Голов больше нет, ваше величество!» – крикнули солдаты.

«Превосходно! – крикнула Королева. – В крокет умеешь?»

Солдаты промолчали и обернулись к Ане, так как вопрос, очевидно, относился к ней.

«Да!» – откликнулась Аня.

«Тогда иди!» – грянула Королева, и Аня примкнула к шествию.

«Погода... погода сегодня хорошая!» – проговорил робкий голос. Это был Белый Кролик. Он шел рядом с Аней и тревожно заглядывал ей в лицо.

«Очень хорошая, – согласилась Аня. – Где Герцогиня?»

«Тише, тише, – замахал на нее Кролик. И, оглянувшись, он встал на цыпочки, приложил рот к ее уху и шепнул: – Она приговорена к смерти».

«За какую шалость?» – осведомилась Аня.

«Вы сказали: “Какая жалость”?» – спросил Кролик.

«Ничего подобного, – ответила Аня. – Мне вовсе не жалко. Я сказала: за что?»

«Она выдрала Королеву за уши», – начал Кролик.

Аня покатила со смеху.

«Ах, тише, – испуганно шепнул Кролик. – Ведь Королева услышит! Герцогиня, видите ли, пришла довольно поздно, и Королева сказала...»

«По местам!» – крикнула Королева громовым голосом, и мигом подчиненные разбежались во все стороны, наталкиваясь друг на друга и спотыкаясь. Вскоре порядок был налажен, и игра началась.

Аня никогда в жизни не видела такой странной крокетной площадки: она была вся в ямках и в бороздах; шарами служили живые ежи, молотками – живые фламинго. Солдаты же, выгнув спины, стояли на четвереньках, изображая дужки.

Аня не сразу научилась действовать своим фламинго. Ей, наконец, удалось взять его довольно удобно, так что тело его приходилось ей под мышку, а ноги болтались сзади. Но как только она выпрямляла ему шею и собиралась головой его стукнуть по свернутому ежу, – фламинго нет-нет да и выгнетса назад, глядя ей в лицо с таким недоумением, что нельзя было не расхохотаться. Когда же она опять нагибалась ему голову и собиралась начать сызнава, то с досадой замечала, что еж развернулся и тихонько уползает. Кроме того, всякие рытвины мешали ежу катиться, солдаты же то и дело раскрючивались и меняли места. Так что Аня вскоре пришла к заключенью, что эта игра необычайно трудная.

Участники играли все сразу, не дожидаясь очереди, все время ссорились и дрались из-за ежей, и вскоре Королева была в неистовой ярости, металась, топала и не переставая орала: «Отрубить голову, отрубить...»

Ане становилось страшновато: правда, она с Королевой еще не поссорилась, но ссора могла произойти каждую минуту. «Что тогда будет со мной? – подумала она. – Здесь так любят обезглавливать. Удивительно, что есть еще живые люди!»

Она посмотрела кругом, ища спасенья и рассуждая, удастся ли ей уйти незаметно, как вдруг ее поразило некое явление в воздухе. Вглядевшись, она поняла, что это не что иное, как широкая улыбка, и Аня подумала: «Масляничный Кот! Теперь у меня будет с кем потолковать».

«Как ваши дела?» – спросил Кот, как только рот его окончательно наметился.

Аня выждала появленья глаз и тогда кивнула. «Смысла нет говорить с ним, пока еще нет у него ушей или по крайней мере одного из них», – сказала она про себя. Еще мгновение – и обозначилась вся голова, и тогда Аня, выпустив своего фламинго, стала рассказывать о ходе игры, очень довольная, что у нее есть слушатель. Кот решил, что он теперь достаточно на виду, и, кроме головы, ничего больше не появлялось.

«Я не нахожу, что играют они честно, – стала жаловаться Аня. – И так они все спорят, что оглохнуть можно. И в игре никаких определенных правил нет, а если они и есть, то во всяком случае никто им не следует, и вы не можете себе представить, какой происходит сумбур от того, что шары и все прочее – живые существа. Вот сейчас, например, та дуга, под которую нужно было пройти, разогнулась, и вон там прогуливается. Нужно было моим ежом ударить по ежу Королевы, а тот взял да и убежал, когда мой к нему подкатил».

«Как вам нравится Королева?» – тихо спросил Кот.

«Очень не нравится, – ответила Аня. – Она так ужасно... (тут Аня заметила, что Королева подошла сзади и слушает)... хорошо играет, что не может быть сомненья в исходе игры».

Королева улыбнулась и прошла дальше.

«С кем это ты говоришь?» – спросил Король, приблизившись в свою очередь к Ане и с большим любопытством разглядывая голову Кота.

«Это один мой друг, Масляничный Кот, – объяснила Аня. – Позвольте его вам представить».

«Мне не нравится его улыбка, – сказал Король. – Впрочем, он, если хочет, может поцеловать мою руку».

«Предпочитаю этого не делать», – заметил Кот.

«Не груби! – воскликнул Король. – И не смотри на меня так!» – Говоря это, он спрятался за Аню.

«Смотреть всякий может», – возразил Кот.

Король с решительным видом обратился к Королеве, которая как раз проходила мимо.

«Мой друг, – сказал он, – прикажи, пожалуйста, убрать этого Кота».

У Королевы был только один способ разрешать все затруднения, великие и малые.

«Отрубить ему голову!» – сказала она, даже не оборачиваясь.

«Я пойду сам за палачом», – с большой готовностью воскликнул Король и быстро удалился.

Аня решила вернуться на крокетную площадку, чтобы посмотреть, как идет игра. Издали доносился голос Королевы, которая орала в яростном исступлении. Несколько игроков уже были присуждены к смерти за несоблюдение очереди, и стояла такая сумятица, что Аня не могла разобрать, кому играть следующим. Однако она пошла отыскивать своего ежа.

Еж был занят тем, что дрался с другим ежом, и это показалось Ане отличным случаем, чтобы стукнуть одного об другого; но, к несчастью, ее молоток, то есть фламинго, перешел на другой конец сада, и Аня видела, как он, беспомощно хлопая крыльями, тщетно пробовал взлететь на деревцо.

Когда же она поймала его и принесла обратно, драка была кончена, и оба ежа исчезли. «Впрочем, это неважно, – подумала Аня. – Все равно ушли все дуги с этой стороны площадки». И, ловко подоткнув птицу под мышку, так чтобы она не могла больше удрать, Аня пошла поговорить со своим другом.

Вернувшись к тому месту, где появился Масляничный Кот, она с удивлением увидела, что вокруг него собралась большая толпа. Шел оживленный спор между палачом, Королем и Королевой, которые говорили все сразу. Остальные же были совершенно безмолвны и казались в некотором смущении.

Как только Аня подошла, все трое обратились к ней с просьбой разрешить вопрос и повторили свои доводы, но так как они говорили все сразу, Аня нескоро могла понять, в чем дело.

Довод палача был тот, что нельзя отрубить голову, если нет тела, с которого можно ее отрубить; что ему никогда в жизни не приходилось это делать и что он в свои годы не намерен за это приняться.

Довод Короля был тот, что все, что имеет голову, может быть обезглавлено, и что «ты, мол, порешь чушь».

Довод Королевы был тот, что, если «сию, сию, сию, сию же минуту что-нибудь не будет сделано», она прикажет казнить всех окружающих (это замечание и было причиной того, что у всех был такой унылый и тревожный вид).

Аня могла ответить только одно:

«Кот принадлежит Герцогине. Вы бы лучше ее спросили».

«Она в тюрьме, – сказала Королева палачу. – Приведи ее сюда».

И палач пустился стрелой.

Тут голова Кота стала таять, и когда, наконец, привели Герцогиню, ничего уже не было видно. Король и палач еще долго носились взад и вперед, отыскивая приговоренного, остальные же пошли продолжать прерванную игру.

Глава 9. Повесть Чепухахи

«Ты не можешь себе представить, как я рада видеть тебя, моя милая деточка!» – сказала Герцогиня, ласково взяв Аню под руку.

Ане было приятно найти ее в таком благодушном настроении. Она подумала, что это, вероятно, перец делал ее такой свирепой тогда, в кухне.

«Когда я буду герцогиней, – сказала она про себя (не очень, впрочем, на это надеясь), – у меня в кухне перца вовсе не будет. Суп без перца и так хорош. Быть может, именно благодаря перцу люди становятся так вспыльчивы, – продолжала она, гордясь тем, что нашла новое правило. – А уксус заставляет людей острить, а лекарства оставляют в душе горечь, а сладости придают мягкость нраву. Ах, если б люди знали эту последнюю истину! Они стали бы щедрее в этом отношении...»

Аня так размечталась, что совершенно забыла присутствие Герцогини и вздрогнула, когда около самого уха услышала ее голос.

«Ты о чем-то думаешь, моя милочка, и потому молчишь. Я сейчас не припомню, какая мораль этого, но, вероятно, вспомню через минуточку».

«Может быть, и нет морали», – заметила было Аня.

«Стой, стой, деточка, – сказала Герцогиня, – у всякой вещи есть своя мораль – только нужно ее найти».

И она, ластясь к Ане, плотнее прижалась к ее боку.

Такая близость не очень нравилась Ане: во-первых, Герцогиня была чрезвычайно некрасива, а во-вторых, подбородок ее как раз приходился Ане к плечу, и это был острый, неудобный подбородок. Однако Ане не хотелось быть невежливой, и поэтому она решила терпеть.

«Игра идет теперь немного глаже», – сказала она, чтобы поддержать разговор.

«Сие верно, – ответила Герцогиня, – и вот мораль этого: любовь, любовь, одна ты вертишь миром!»

«Кто-то говорил, – ехидно шепнула Аня, – что мир вертится тогда, когда каждый держится своего дела».

«Ну что ж, значенье более или менее то же, – сказала Герцогиня, вдавливая свой остренький подбородок Ане в плечо. – И мораль этого: слова есть – значенье темно иль ничтожно[89]».

«И любит же она из всего извлекать мораль!» – подумала Аня.

«Я чувствую, ты недоумеваешь, отчего это я не беру тебя за талию, – проговорила Герцогиня после молчанья. – Дело в том, что я не уверена в характере твоего фламинго. Произвести ли этот опыт?»

«Он может укусить», – осторожно ответила Аня, которой вовсе не хотелось, чтобы опыт был произведен.

«Справедливо, – сказала Герцогиня, – фламинго и горчица – оба кусаются. Мораль: у всякой пташки свои замашки».

«Но ведь горчица – не птица», – заметила Аня.

«И то, – сказала Герцогиня. – Как ясно ты умеешь излагать мысли!»

«Горчица – ископаемое, кажется», – продолжала Аня.

«Ну конечно, – подхватила Герцогиня, которая, по-видимому, готова была согласиться с Аней, что бы та ни сказала. – Тут недалеко производятся горчичные раскопки. И мораль этого: не копайся!»

«Ах, знаю! – воскликнула Аня, не слушая. – Горчица – овощ. Не похожа на овощ, а все-таки овощ».

«Я совершенно такого же мнения, – сказала Герцогиня. – Мораль: будь всегда сама собой. Или проще: не будь такой, какой ты кажешься таким, которым кажется, что такая, какой ты кажешься, когда кажешься не такой, какой была бы, если б была не такой».

«Я бы лучше поняла, если б могла это записать, – вежливо проговорила Аня. – А так я не совсем услужу за смыслом ваших слов».

«Это ничто по сравнению с тем, что я могу сказать», – самодовольно ответила Герцогиня.

«Ах, не трудитесь сказать длиннее!» – воскликнула Аня.

«Тут не может быть речи о труде, – сказала Герцогиня. – Дарю тебе все, что я до сих пор сказала».

«Однако подарок! – подумала Аня. – Хорошо, что на праздниках не дарят такой прелести». Но это сказать громко она не решилась.

«Мы опять задумались?» – сказала Герцогиня, снова ткнув острым подбородком.

«Я вправе думать», – резко ответила Аня, которая начинала чувствовать раздражение.

«Столько же вправе, сколько свиньи вправе лететь, и мор...»

Тут, к великому удивлению Ани, голос Герцогини замолк, оборвавшись на любимом слове, и рука, державшая ее под руку, стала дрожать. Аня подняла голову: перед ними стояла Королева и, скрестив руки, насупилась, как грозная туча.

«Прекрасная сегодня погода, Ваше Величество», – заговорила Герцогиня тихим, слабым голосом.

«Предупреждаю! – грянула Королева, топнув ногой. – Или ты, или твоя голова сию минуту должны исчезнуть. Выбирай!»

Герцогиня выбрала первое и мгновенно удалилась.

«Давай продолжать игру», – сказала Королева, обратившись к Ане. И Аня была так перепугана, что безмолвно последовала за ней по направлению к крокетной площадке. Остальные гости, воспользовавшись отсутствием Королевы, отдыхали в тени деревьев. Однако как только она появилась, они поспешили вернуться к игре, причем Королева вскользь заметила, что, будь дальнейшая задержка, она их всех казнит.

В продолжение всей игры Королева не переставая ссорилась то с одним, то с другим и орала: «Отрубить ему голову». Приговоренного уводили солдаты, которые при этом должны были, конечно, переставать быть дугами, так что не прошло и полчаса, как на площадке не оставалось более ни одной дужки и уже все игроки, кроме королевской четы и Ани, были приговорены к смерти.

Тогда, тяжело переводя дух, Королева обратилась к Ане:

«Ты еще не была у Чепухахи?»

«Нет, – ответила Аня. – Я даже не знаю, что это».

«Это то существо, из которого варится поддельный черепаховый суп», – объяснила Королева.

«В первый раз слышу!» – воскликнула Аня.

«Так пойдем, – сказала Королева. – Чепухаха расскажет тебе свою повесть».

Они вместе удалились, и Аня успела услышать, как Король говорил тихим голосом, обращаясь ко всем окружающим: «Вы все прощены».

«Вот это хорошо», – подумала Аня. До этого ее очень угнетало

огромное число предстоящих казней.

Вскоре они набрели на Грифа, который спал на солнцепеке.

«Встать, лежебока! – сказала Королева. – Изволь проводить барышню к Чепупахе, и пусть та расскажет ей свою повесть. Я должна вернуться, чтобы присутствовать при нескольких казнях, которые я приказала привести в исполнение немедленно».

И она ушла, оставив Аню одну с Грифом.

С виду животное это казалось пренеприятным, но Аня рассудила, что все равно, с кем быть – с ним или со свирепой Королевой.

Гриф сел и протер глаза. Затем смотрел некоторое время вслед Королеве, пока та не скрылась, и тихо засмеялся.

«Умора!» – сказал Гриф не то про себя, не то обращаясь к Ане.

«Что умора?» – спросила Аня.

«Да вот она, – ответил Гриф, потягиваясь. – Это, знаете ль, все ее воображение: никого ведь не казнят. Пойдем!»

«Все тут говорят – пойдем! Никогда меня так не туркали, никогда!»

Спустя несколько минут ходьбы они увидели вдали Чепупаху, которая сидела грустная и одинокая на небольшой скале. А приблизившись, Аня расслышала ее глубокие, душу раздирающие вздохи. Ей стало очень жаль ее.

«Какая у нее печаль?» – спросила она у Грифа, и Гриф отвечал почти в тех же словах, что и раньше:

«Это все ее воображение. У нее, знаете, никакого и горя нет!»

Они подошли к Чепупахе, которая посмотрела на них большими телячьими глазами, полными слез, но не проронила ни слова.

«Вот эта барышня, – сказал Гриф, – желает услышать твою повесть».

«Я все ей расскажу, – ответила Чепупаха глубоким, гулким голосом. – Садитесь вы оба сюда и молчите, пока я не кончу».

Сели они, и наступило довольно долгое молчанье. Аня подумала: «Я не вижу, как она может кончить, если не начнет». Но решила терпеливо ждать.

«Некогда, – заговорила наконец Чепупаха, глубоко вздохнув, – я была настоящая черепаха».

Снова долгое молчанье, прерываемое изредка возгласами Грифа – хкrr, хкrr... – и тяжкими всхлипами Чепупахи.

Аня была близка к тому, чтобы встать и сказать: «Спасибо, сударыня, за ваш занимательный рассказ», но все же ей казалось, что должно же быть что-нибудь дальше, и потому она оставалась сидеть смиренно и молча ждала.

«Когда мы были маленькие, – соизволила продолжать Чепупаха, уже спокойнее, хотя все же всхлипывая по временам, – мы ходили в школу на дне моря. У нас был старый, строгий учитель, мы его звали Молодым Спрутом».

«Почему же вы звали его молодым, если он был стар?» – спросила Аня.

«Мы его звали так потому, что он всегда был с прутиком, – сердито ответила Чепупаха. – Какая вы, право, тупая!»

«Да будет вам, стыдно задавать такие глупые вопросы!» – добавил Гриф. И затем они оба молча уставились на бедняжку, которая готова была провалиться сквозь землю. Наконец Гриф сказал Чепупахе:

«Валяй, старая! А то никогда не окончишь».

И Чепупаха опять заговорила:

«Мы ходили в школу на дне моря – верьте не верьте...»

«Я не говорила, что не верю», – перебила Аня.

«Говорили», – сказала Чепупаха.

«Прикуси язык», – добавил Гриф, не дав Ане возможности возразить. Чепупаха продолжала:

«Мы получали самое лучшее образование – мы ходили в школу ежедневно».

«Я это тоже делала, – сказала Аня. – Нечего вам гордиться этим».

«А какие были у вас предметы?» – спросила Чепупаха с легкой тревогой.

«Да всякие, – ответила Аня, – география, французский...»

«И поведенье?» – осведомилась Чепупаха.

«Конечно нет!» – воскликнула Аня.

«Ну так ваша школа была не такая хорошая, как наша, – сказала Чепупаха с видом огромного облегчения. – У нас, видите ли, на листке с отметками стояло между прочими предметами и “поведенье”».

«И вы прошли это?» – спросила Аня.

«Плата за этот предмет была особая, слишком дорогая для меня, – вздохнула Чепупаха. – Я проходила только обычный курс».

«Чему же вы учились?» – любопытно спросила Аня.

«Сперва, конечно, – чесать и питать. Затем были четыре правила арифметики: служенье, выметанье, уморенье и пиленье».

«Я никогда не слышала об умореньи, – робко сказала Аня. – Что это такое?»

Гриф удивленно поднял лапы к небу.

«Крота можно укротить?» – спросил он.

«Да... как будто можно», – ответила Аня неуверенно.

«Ну так, значит, и моржа можно уморить, – продолжал Гриф. – Если вы этого не понимаете, вы просто дурочка».

Аня почувствовала, что лучше переменить разговор. Она снова обратилась к Чепухе:

«Какие же еще у вас были предметы?»

«Много еще, – ответила та. – Была, например, лукомория, древняя и новая, затем – арфография (это мы учились на арфе играть), затем делали мы гимнастику. Самое трудное было – язвительное наклонение».

«На что это было похоже?» – спросила Аня.

«Я не могу сама показать, – сказала Чепуха. – Суставы мои утратили свою гибкость. А Гриф никогда этому не учился».

«Некогда было, – сказал Гриф. – Я ходил к другому учителю – к Карпу Карповичу».

«Я никогда у него не училась, – вздохнула Чепуха. – Он, говорят, преподавал Ангельский язык».

«Именно так, именно так», – проговорил Гриф, в свою очередь вздохнув. И оба зверя закрылись лапками.

«А сколько в день у вас было уроков?» – спросила Аня, спеша переменить разговор.

«У нас были не уроки, а укоры, – ответила Чепуха. – Десять укоров в первый день, девять – в следующий и так далее».

«Какое странное распределение!» – воскликнула Аня.

«Поэтому они и назывались укорами – укорачивались, понимаете?» – заметил Гриф.

Аня подумала над этим. Потом сказала:

«Значит, одиннадцатый день был свободный?»

«Разумеется», – ответила Чепупаха.

«А как же вы делали потом, в двенадцатый день?» – с любопытством спросила Аня.

«Ну, довольно об этом! – решительным тоном перебил Гриф. – Расскажи ей теперь о своих играх».

Глава 10. Омаровая кадрили

Чепупаха глубоко вздохнула и плавником стерла слезу. Она посмотрела на Аню и попыталась говорить, но в продолжение двух–трех минут ее душили рыдания.

«Совсем будто костью подавилась!» – заметил Гриф, принимаясь ее трясти и хлопать по спине. Наконец к Чепупахе вернулся голос. И, обливаясь слезами, она стала рассказывать:

«Может быть, вы никогда не жили на дне моря (“Не жила”, – сказала Аня), и, может быть, вас никогда даже не представляли Омару. (Аня начала было: “Я как-то попроб...” – но осеклась к сказала: “Нет, никогда!”) Поэтому вы просто не можете себе вообразить, что это за чудесная штука – Омаровая кадрили».

«Да, никак не могу, – ответила Аня. – Скажите, что это за танец?»

«Очень просто, – заметил Гриф. – Вы, значит, сперва становитесь в ряд на морском берегу...»

«В два ряда! – крикнула Чепупаха. – Моржи, черепахи и так далее. Затем, очистив место от медуз (“Это берет некоторое время”, – вставил Гриф), вы делаете два шага вперед...»

«Под руку с омаром», – крикнул Гриф.

«Конечно», – сказала Чепупаха.

«Два шага вперед, кланяетесь, меняетесь омарами и назад в том же порядке», – продолжал Гриф.

«Затем, знаете, – сказала Чепупаха, – вы закидываете...»

«Омаров», – крикнул Гриф, высоко подпрыгнув.

«Как можно дальше в море...»

«Плавае за ними», – взревел Гриф.

«Вертитесь кувирком в море», – взвизгнула Чепупаха, неистово скача.

«Меняетесь омарами опять», – грянул Гриф.

«И назад к берегу – и это первая фигура», – сказала Чепуха упавшим голосом, и оба зверя, все время прыгавшие как сумасшедшие, сели опять очень печально и тихо и взглянули на Аню.

«Это, должно быть, весьма красивый танец», – робко проговорила Аня.

«Хотели ли бы вы посмотреть?» – спросила Чепуха.

«С большим удовольствием», – сказала Аня.

«Иди, давай попробуем первую фигуру, – обратилась Чепуха к Грифу. – Мы ведь можем обойтись без омаров. Кто будет петь?»

«Ты пой, – сказал Гриф. – Я не помню слов».

И вот они начали торжественно плясать вокруг Ани, изредка наступая ей на ноги, когда подходили слишком близко, и отбивая такт огромными лапами, между тем как Чепуха пела очень медленно и уныло:

«Ты не можешь скорей подвигаться? –

Обратилась к Улитке Треска. –

Каракатица катится сзади,

Наступая на хвост мне слегка.

Увлекли черепахи омаров

И пошли выкрутасы писать.

Мы у моря тебя ожидаем,

Приходи же и ты поплясать.

Ты не хочешь, скажи, ты не хочешь,

Ты не хочешь, скажи, поплясать?

Ты ведь хочешь, скажи, ты ведь хочешь,

Ты ведь хочешь, скажи, поплясать?»

Ты не знаешь, как будет приятно,

Ах, приятно! – когда в вышину

Нас подкинут с омарами вместе

И – бултых! – в голубую волну!»

«Далеко, – отвечает Улитка, –
Далеко ведь нас будут бросать.
Польщена, говорит, предложеньем,
Но прости, мол, не тянет плясать.
Не хочу, не могу, не хочу я,
Не могу, не хочу я плясать.
Не могу, не хочу, не могу я,
Не хочу, не могу я плясать».

Но чешуйчатый друг возражает:
«Отчего ж не предаться волне?
Этот берег ты любишь, я знаю,
Но другой есть – на той стороне.
Чем от берега этого дальше,
Тем мы ближе к тому, так сказать,
Не бледней, дорогая Улитка,
И скорей приходи поплясать.
Ты не хочешь, скажи, ты не хочешь,
Ты не хочешь, скажи, поплясать?
Ты ведь хочешь, скажи, ты ведь хочешь,
Ты ведь хочешь, скажи, поплясать?»

«Спасибо, мне этот танец очень понравился, – сказала Аня, довольная,
что представленье кончено. – И как забавна эта песнь о треске».

«Кстати, начет трески, – сказала Чепупаха. – Вы, конечно, знаете,
что это такое».

«Да, – ответила Аня, – я ее часто видела во время обеда».

«В таком случае, если вы так часто с ней обедали, то вы знаете, как она выглядит?» – продолжала Чепупаха.

«Кажется, знаю, – проговорила Аня задумчиво. – Она держит хвост во рту и вся облеплена крошками».

«Нет, крошки тут ни при чем, – возразила Чепупаха. – Крошки смыла бы вода. Но действительно, хвост у нее во рту, и вот почему. – Тут Чепупаха зевнула и прикрыла глаза. – Объясни ей причину и все такое», – обратилась она к Грифу.

«Причина следующая, – сказал Гриф. – Треска нет-нет да и пойдет танцевать с омарами. Ну и закинули ее в море. А падать было далеко. А хвост застрял у нее во рту. Ну и не могла его вынуть. Вот и все».

Аня поблагодарила:

«Это очень интересно. Я никогда не знала так много о треске».

«Я могу вам еще кое-что рассказать, если хотите, – предложил Гриф. – Знаете ли вы, например, откуда происходит ее название?»

«Никогда об этом не думала, – сказала Аня. – Откуда?»

«Она трещит и трескается», – глубокомысленно ответил Гриф.

Аня была окончательно озадачена.

«Трескается, – повторила она удивленно. – Почему?»

«Потому что она слишком много трещит», – объяснил Гриф.

«Я думала, что рыбы немые», – шепнула Аня.

«Как бы не так, – воскликнул Гриф. – Вот есть, например, белуга. Та прямо ревет. Оглушительно».

«Раки тоже кричат, – добавила Чепупаха. – Особенно когда им показывают, где зимовать. При этом устраиваются призрачные гонки».

«Отчего призрачные?» – спросила Аня.

«Оттого, что призрак выигрывает», – ответила Чепупаха.

Аня собиралась еще спросить что-то, но тут вмешался Гриф.

«Расскажите-ка нам о ваших приключениях», – сказал он.

«Я могу вам рассказать о том, что случилось со мной сегодня, – начала Аня. – О вчерашнем же нечего говорить, так как вчера я была другим человеком».

«Объяснитесь!» – сказала Чепупаха.

«Нет, нет! Сперва приключенья, – нетерпеливо воскликнул Гриф. – Объясненья всегда занимают столько времени».

И Аня стала рассказывать о<бо> всем, что она испытала с того времени, как встретила Белого Кролика. Сперва ей было страшновато – оба зверя придвигались так близко, выпучив глаза и широко разинув рты, – но потом она набралась смелости. Слушатели ее сидели совершенно безмолвно, и только когда она дошла до того, как Гусеница заставила ее прочитать «Скажи–ка, дядя...» и как вышло совсем не то, – только тогда Чепуха со свистом втянула воздух и проговорила:

«Как это странно!»

«Прямо скажу – странно», – подхватил Гриф.

«Я бы хотела, чтобы она и теперь прочитала что–нибудь наизусть. Скажи ей начать!»

И Чепуха взглянула на Грифа, словно она считала, что ему дана известная власть над Аней.

«Встаньте и прочитайте “Как ныне собирается...”», – сказал Гриф.

«Как все они любят приказывать и заставлять повторять уроки! – подумала Аня. – Не хуже, чем в школе!»

Однако она встала и стала читать наизусть, но голова ее была так полна Омаровой кадрили, что она едва знала, что говорить, и слова были весьма любопытны:

Как дыня, вздувается вещей Омар.

«Меня, – говорит он, – ты бросила в жар;

Ты кудри мои вырываешь и ешь,

Осыплю я перцем багровую плешь».

«Омар! Ты порою смеешься, как еж,

Акулу акулькой с презреньем зовешь;

Когда же и вправду завидишь акул,

Ложисься ничком под коралловый стул».

«Это звучит иначе, чем то, что я учил в детстве», – сказал Гриф.

«А я вообще никогда ничего подобного не слышала, – добавила

Чепупаха. – Мне кажется, это необыкновенная ерунда».

Аня сидела молча. Она закрыла лицо руками и спрашивала себя, станет ли жизнь когда-нибудь снова простой и понятной.

«Я требую объяснения», – заявила Чепупаха.

«Она объяснить не может, – поспешно вставил Гриф и обратился к Ане: – Продолжай!»

«Но как же это он прячется под стул, – настаивала Чепупаха. – Его же все равно было бы видно между ножками стула».

«Я ничего не знаю», – ответила Аня. Она вконец запуталась и жаждала переменить разговор.

«Продолжай! – повторил Гриф. – Следующая строфа начинается так: “Скажи мне, кудесник...”»

Аня не посмела послушаться, хотя была уверена, что опять слова окажутся не те, и продолжала дрожащим голосом:

«Я видел, – сказал он, – как, выбрав лужок,

Сова и пантера делили пирог:

Пантера за тесто, рыча, принялась,

Сове же на долю тарелка прилась.

Окончился пир – и сове, так и быть,

Позволили ложку в карман положить.

Пантере же дали и вилку, и нож.

Она зарычала и съела – кого ж?»

«Что толку повторять такую белиберду? – перебила Чепупаха. – Как же я могу знать, кого съела пантера, если мне не объясняют. Это головоломка какая-то!»

«Да, вы уж лучше перестаньте», – заметил Гриф, к великой радости Ани.

«Не показать ли вам вторую фигуру Омаровой кадрили? – продолжал он. – Или же вы хотели бы, чтобы Чепупаха вам что-нибудь спела?»

«Пожалуйста, спойте, любезная Чепупаха», – взмолилась Аня так горячо, что Гриф даже обиделся.

«Гм! У всякого свой вкус! Спой-ка ей, матушка, “Черепеховый суп”».

Чепуха глубоко вздохнула и, задыхаясь от слез, начала петь следующее:

Сказочный суп – ты зелен и прян.

Тобой наполнен горячий лохан!

Кто не отведаст? Кто так глуп?

Суп мой вечерний, сказочный суп,

Суп мой вечерний, сказочный суп!

Ска-азочный су-уп,

Ска-азочный су-уп,

Су-уп мой вечерний,

Ска-азочный, ска-азочный суп!

Сказочный суп – вот общий клич!

Кто предпочтет рыбу или дичь?

Если б не ты, то, право, насуп –

Ился бы мир, о, сказочный суп!

Сбился бы мир, о, сказочный суп!

Ска-азочный су-уп,

Ска-азочный су-уп,

Су-уп, мой вечерний,

Ска-азочный, ска-азочный СУП!

«Снова припев!» – грянул Гриф, и Чепуха принялась опять петь, как вдруг издали донесся крик: «Суд начинается!»

«Скорей!» – взвизгнул Гриф и, схватив Аню за руку, понесся по направлению крика, не дожидаясь конца песни.

«Кого судят?» – впопыхах спрашивала Аня, но Гриф только повторял: «Скорей!» – и все набавлял ходу. И все тише и тише звучали где-то

позади обрывки унылого припева:

Су-уп мой вечерний,

Ска-азочный, ска-азочный суп!

Глава 11. Кто украл пирожки?

Король Червей и его Королева уж восседали на тронах, когда они добежали. Кругом теснилась громадная толпа – всякого рода звери и птицы, а также и вся колода карт: впереди выделялся Валет, в цепях, оберегаемый двумя солдатами, а рядом с Королем стоял Белый Кролик, держа в одной руке тонкую трубу, а в другой пергаментный свиток. Посредине залы суда был стол, а на нем большая тарелка с пирожками: они казались такими вкусными, что, глядя на них, Аня ощущала острый голод. «Поскорее кончилось бы, – подумала она, – поскорее бы начали раздавать угощенье». Но конец, по-видимому, был не близок, и Аня от нечего делать стала глядеть по сторонам.

Ей никогда раньше не приходилось бывать на суде, но она кое-что знала о нем по книжкам, и теперь ей было приятно, что она может назвать различные должности присутствующих.

«Это судья, – сказала она про себя, – он в мантии и парике».

Судьей, кстати сказать, был Король, и так как он надел корону свою на парик (посмотрите на картинку, если хотите знать, как он ухитрился это сделать), то, видимо, ему было чрезвычайно неудобно, а уж как ему это шло – посудите сами.

Рядом с Аней на скамеечке сидела кучка зверьков и птичек.

«Это скамейка присяжников», – решила она. Слово это она повторила про себя два-три раза с большой гордостью. Еще бы! Немногие девочки ее лет знают столько о суде, сколько она знала. Впрочем, лучше было бы сказать: «скамья присяжных».

Все двенадцать присяжников деловито писали что-то на грифельных досках.

«Что они делают? – шепотом спросила Аня у Грифа. – Ведь суд еще не начался, записывать нечего».

«Они записывают свои имена, – шепнул в ответ Гриф, – боятся, что забудут их до конца заседания».

«Вот глупые!» – громко воскликнула Аня и хотела в возмущении добавить что-то, но тут Белый Кролик провозгласил: «Соблюдайте

молчанье», и Король напялил очки и тревожно поглядел кругом, чтобы увидеть, кто говорит.

Аня, стоя за присяжниками, заметила, что все они пишут на своих досках: «Вот глупые!» Крайний не знал, как пишется «глупые», и обратился к соседу, испуганно хлопая глазами.

«В хорошеньком виде будут у них доски по окончании дела!» – подумала Аня.

У одного из присяжников скрипел карандаш. Переносить это Аня, конечно, не могла, и, улучив минуту, она протянула руку через его плечо и выдернула у него карандаш. Движение это было настолько быстро, что бедный маленький присяжник (не кто иной, как Яша–Ящерица) никак не мог понять, куда карандаш делся. Он тщетно искал его – и наконец был принужден писать пальцем. А это было ни к чему, так как никакого следа на доске не оставалось.

«Глашатай, прочти обвиненье!» – приказал Король.

Тогда Белый Кролик протрубил трижды и, развернув свой пергаментный список, прочел следующее:

Дама Червей для сердечных гостей

В летний день напекла пирожков.

Но пришел Валет, и теперь их нет:

Он – хватать – и был таков!

«Обсудите приговор», – сказал Король, обращаясь к присяжникам.

«Не сейчас, не сейчас! – поспешно перебил Кролик. – Еще есть многое, что нужно до этого сделать».

«Вызови первого свидетеля», – сказал Король. И Белый Кролик трижды протрубил и провозгласил:

«Первый свидетель!»

Первым свидетелем оказался Шляпник. Он явился с чашкой чая в одной руке, с куском хлеба в другой и робко заговорил:

«Прошу прощения у Вашего Величества за то, что я принес это сюда, но дело в том, что я еще не кончил пить чай, когда меня позвали».

«Пора было кончить, – сказал Король. – Когда ты начал?»

Тот посмотрел на Мартовского Зайца, который под руку с Соней тоже

вошел в зал.

«Четырнадцатого Мартобря, кажется», – ответил он.

«Четырнадцатого», – подтвердил Мартовский Заяц.

«Шестнадцатого», – пробормотал Соня.

«Отметьте, – обратился Король к присяжникам, и те с радостью записали все три ответа один под другим, потом сложили их, и вышло: 44 копейки.

«Сними свою шляпу!» – сказал Король Шляпнику.

«Это не моя», – ответил Шляпник.

«Украл!» – воскликнул Король, и присяжники мгновенно отметили это.

«Я шляпы держу для продажи, – добавил Шляпник в виде объяснения. – Своих у меня вовсе нет. Я – шляпник».

Тут Королева надела очки и стала в упор смотреть на свидетеля, который побледнел и заерзал.

«Дай свои показанья, – сказал Король, – и не ерзай, а то я прикажу казнить тебя тут же».

Это не очень подбодрило Шляпника. Он продолжал переступать с ноги на ногу, тревожно поглядывая на Королеву. В своем смущении он откусил большой кусок чашки вместо хлеба.

В ту же минуту Аню охватило странное ощущение, которое сначала ее очень озадачило. И вдруг она поняла, в чем дело: она снова начала расти. Ей пришло в голову, что лучше покинуть зал, но потом она решила остаться, пока хватит места.

«Ух, вы меня совсем придавили, – пробурчал Соня, сидящий рядом с ней. – Я еле могу дышать».

«Не моя вина, – кротко ответила Аня. – Я, видите ли, расту».

«Вы не имеете права расти здесь», – сказал Соня.

«Ерунда! – перебила Аня, набравшись смелости. – Вы небось тоже растете».

«Да, но разумным образом, – возразил Соня, – не раздуваюсь, как вы».

И он сердито встал и перешел на другой конец залы.

Все это время Королева не переставала глазеть на Шляпника, и вдруг она сказала, обращаясь к одному из стражников:

«Принеси-ка мне список певцов, выступавших на последнем концерте».

Шляпник так задрожал, что скинул оба башмака.

«Дай свои показанья, – грозно повторил Король, – иначе будешь казнен, несмотря на твое волнение».

«Я бедный человек, Ваше Величество, – залепетал Шляпник. – Только что я начал пить чай, а тут хлеб, так сказать, тоньше делается, да и в голове стало сыро».

«Можно обойтись без сыра», – перебил Король.

«А тут стало еще сырее, так сказать», – продолжал Шляпник, заикаясь.

«Ну и скажи так! – крикнул Король. – За дурака, что ли, ты меня принимаешь!»

«Я бедный человек, – повторил Шляпник. – И в голове еще не то случилось, но тут Мартовский Заяц сказал, что...»

«Я этого не говорил», – поспешно перебил Мартовский Заяц.

«Говорил!» – настаивал Шляпник.

«Я отрицаю это!» – воскликнул Мартовский Заяц.

«Он отрицает, – проговорил Король, – выпусти это место».

«Во всяком случае, Соня сказал, что... – И тут Шляпник с тревогой посмотрел на товарища, не станет ли и он отрицать. Но Соня не отрицал ничего, ибо спал крепким сном. – После этого, – продолжал Шляпник, – я нарезал себе еще хлеба».

«Но что же Соня сказал?» – спросил один из присяжников.

«То-то и есть, что не могу вспомнить», – ответил Шляпник.

«Ты должен вспомнить, – заметил Король, – иначе будешь обезглавлен».

Несчастный Шляпник уронил свою чашку и хлеб и опустился на одно колено.

«Я бедный человек, Ваше Величество», – начал он.

«У тебя язык беден», – сказал Король.

Тут одна из морских свинок восторженно зашумела и тотчас была подавлена стражниками. (Делалось это так: у стражников были большие холщовые мешки, отверстия которых стягивались веревкой. В один из них они и сунули вниз головой морскую свинку, а затем на нее сели.)

«Я рада, что видела, как это делается, – подумала Аня. – Я так часто читала в газете после описания суда: были некоторые попытки выразить ободрение, но они были сразу же подавлены. До сих пор я не понимала,

что это значит».

«Если тебе больше нечего сказать, – продолжал Король, – можешь встать на ноги».

«Я и так стою, только одна из них согнута», – робко заметил Шляпник.

«В таком случае встань на голову», – отвечал Король.

Тут заликовала вторая морская свинка и была подавлена.

«Ну вот, с морскими свинками покончено, теперь дело пойдет глаже».

«Я предпочитаю допить свой чай», – проговорил Шляпник, неуверенно взглянув на Королеву, которая углубилась в список певцов.

«Можешь идти», – сказал Король.

Шляпник торопливо покинул залу, оставив башмаки.

«И обезглавьте его при выходе», – добавила Королева, обращаясь к одному из стражников; но Шляпник уже был далеко.

«Позвать следующего свидетеля», – сказал Король. Выступила Кухарка Герцогини. Она в руке держала перчатки, так что Аня сразу ее узнала. Впрочем, можно было угадать ее присутствие и раньше: публика зачихала, как только открылась дверь.

«Дай свое показанье», – сказал Король.

«Не дам!» – отрезала Кухарка.

Король в нерешительности посмотрел на Кролика; тот тихо проговорил: «Ваше Величество должно непременно ее допросить».

«Надо так надо, – уныло сказал Король, и, скрестив руки, он угрюмо уставился на Кухарку, так насупившись, что глаза его почти исчезли. Наконец он спросил глубоким голосом: – Из чего делают пирожки?»

«Из перца главным образом», – ответила Кухарка.

«Из сиропа», – раздался чей-то сонный голос.

«За шиворот его! – заорала Королева. – Обезглавить его! Вышвырнуть его отсюда! Подавить! Защищать! Отрезать ему уши!»

В продолжение нескольких минут зал был в полном смятении: выпроваживали Соню. Когда же его вывели и все затихли снова, оказалось, что Кухарка исчезла.

«Это ничего, – сказал Король с видом огромного облегчения. – Позвать следующего свидетеля».

И он добавил шепотом, обращаясь к Королеве:

«Знаешь, милая, ты бы теперь занялась этим. У меня просто лоб заболел».

Аня с любопытством следила за Кроликом. «Кто же следующий свидетель? – думала она. – До сих пор допрос ни к чему не привел».

Каково же было ее удивление, когда Кролик провозгласил высоким, резким голосом:

«Аня!»

Глава 12. Показание Ани

«Я здесь!» – крикнула Аня, и, совершенно забыв в своем волнении о том, какая она стала большая за эти несколько минут, она вскочила так поспешно, что смахнула юбкой скамейку с присяжниками, которые покатались кувырком вниз, прямо в толпу, и там, на полу, стали извиваться, что напомнило Ане стеклянный сосуд с золотыми рыбками, опрокинутый ею как-то на прошлой неделе.

«Ах, простите меня!» – воскликнула она с искренним огорчением и стала подбирать маленьких присяжников, очень при этом торопясь, так как у нее в голове мелькало воспоминанье о случае с золотыми рыбками. И теперь ей смутно казалось, что если не посадить обратно на скамеечку всех этих вздрагивающих существ, то они непременно умрут.

«Суд не может продолжаться, – сказал Король проникновенным голосом, – пока все присяжные не будут на своих местах. Все», – повторил он и значительно взглянул на Аню.

Аня посмотрела на скамейку присяжников и увидела, что она впопыхах втиснула Яшу-Ящерицу вниз головой между двух Апрельских Уточек, и бедное маленькое существо только грустно поводило хвостиком, сознавая свою беспомощность.

Аня поспешила его вытащить и посадить правильно. «Впрочем, это имеет мало значенья, – сказала она про себя. – Так ли он торчит или иначе – все равно особой пользы он не приносит».

Как только присяжники немного успокоились после пережитого волнения и как только их доски и карандаши были найдены и поданы им, они принялись очень усердно записывать историю несчастья – все, кроме Яши, который, казалось, <был> слишком потрясен, чтобы что-либо делать, и мог только глядеть в потолок, неподвижно разинув рот.

«Что ты знаешь о преступленьи?» – спросил Король у Ани.

«Ничего», – ответила Аня.

«Решительно ничего?» – настаивал Король.

«Решительно ничего», – сказала Аня.

«Это очень важно», – проговорил Король, обернувшись к присяжникам. Те было начали заносить сказанное, но тут вмешался Кролик.

«Неважно – хотите сказать, Ваше Величество?» – произнес он чрезвычайно почтительным голосом, но с недобрым выражением на лице.

«Неважно, да, да, конечно», – быстро поправился Король и стал повторять про себя: «Важно – неважно, неважно – важно», – словно он старался решить, какое слово звучит лучше.

Некоторые из присяжников записали «важно», другие – «неважно». Аня могла заметить это, так как видела их доски. «Но это не имеет никакого значения», – решила она про себя.

В эту минуту Король, который только что торопливо занес что-то в свою записную книжку, крикнул: «Молчанье!» – и прочел из этой же книжки следующее:

«Закон сорок четвертый. Все лица, чей рост превышает одну версту, обязаны удалиться из залы суда».

Все уставились на Аню.

«Превышаешь!» – молвил Король.

«И многим», – добавила Королева.

«Во всяком случае, я не намерена уходить, – сказала Аня. – А кроме того, это закон не установленный, вы сейчас его выдумали».

«Это старейший закон в книге», – возразил Король.

«Тогда он должен быть законом номер первый, а не сорок четвертый», – сказала Аня.

Король побледнел и захлопнул записную книжку.

«Обсудите приговор», – обратился он к присяжникам, и голос его был тих и трепетен.

«Есть еще одна улика, – воскликнул Белый Кролик, поспешно вскочив. – Только что подобрали вот эту бумажку».

«Что на ней написано?» – полюбопытствовала Королева.

«Я еще не развернул ее, – ответил Кролик. – Но, по-видимому, это письмо, написанное подсудимым... к... к кому-то».

«Так оно и должно быть, – сказал Король. – Разве только если оно написано к никому, что было бы безграмотно, – не правда ли?»

«А как адрес?» – спросил один из присяжников.

«Адреса никакого нет, – сказал Кролик. – Да и вообще ничего на внешней стороне не написано. – Он развернул листок и добавил: – Это, оказывается, вовсе не письмо, а стихи».

«А почерк чей, подсудимого?» – спросил вдруг один из присяжников.

«В том-то и дело, что нет, – ответил Кролик. – Это-то и есть самое странное».

Присяжники все казались озадаченными.

«Он, должно быть, подделался под чужой почерк», – решил Король. Присяжники все просветлели.

«Ваше Величество, – воскликнул Валет, – я не писал этого, и они не могут доказать, что писал я: подписи нет».

«То, что ты не подписал, ухудшает дело, – изрек Король. – У тебя, наверное, совесть была нечиста, иначе ты бы поставил в конце свое имя, как делают все честные люди!»

Тут раздались общие рукоплесканья: это была первая действительно умная вещь, которую Король сказал за весь день.

«Это доказывает его виновность, конечно, – проговорила Королева. – Итак, отруб...»

«Это ровно ничего не доказывает, – перебила Аня. – Вы же даже не знаете, о чем говорится в этих стихах».

«Прочеть их», – приказал Король.

Белый Кролик надел очки.

«Откуда, Ваше Величество, прикажете начать?» – спросил он.

«Начни с начала, – глубокомысленно ответил Король, – и продолжай, пока не дойдешь до конца. Тогда остановись».

В зале стояла мертвая тишина, пока Кролик читал следующие стихи:

При нем беседовал я с нею

О том, что он и ей, и мне

Сказал, что я же не умею

Свободно плавать на спине.

Хоть я запутался – не скрою, –
Им ясно истина видна;
Но что же станется со мною,
Когда вмешается она?

Я дал ей семь, ему же десять,
Он ей – четыре или пять.
Мы не успели дело взвесить,
Как все вернулись к нам опять.

Она же высказалась даже
(Пред тем, как в обморок упасть)
За то, что надо до продажи
Ей выдать целое, нам часть.

Не говорите ей об этом
Во избежанье худших бед.
Я намекнул вам по секрету,
Что это, знаете, секрет.

«Вот самое важное показание, которое мы слышали, – сказал Король. –
Итак, пускай присяжные...»

«Если кто-нибудь из них может объяснить эти стихи, я дам ему
полтинник, – проговорила Аня, которая настолько выросла за время
чтения, что не боялась перебивать. – В этих стихах нет и крошки
смысла – вот мое мнение».

Присяжники записали: «Нет и крошки смысла – вот ее мненье», но ни

один из них не попытался дать объяснение.

«Если в них нет никакого смысла, – сказал Король, – то это только, знаете, облегчает дело, ибо тогда и смысла искать не нужно. Но как-никак, мне кажется, – продолжал он, развернув листок на коленях и глядя на него одним глазом, – мне кажется, что известное значение они все же имеют. “Сказал, что я же не умею свободно плавать на спине”. Ты же плавать не умеешь?» – обратился он к Валету.

Валет с грустью покачал головой.

«Разве, глядя на меня, можно подумать, что я хорошо плаваю?» – спросил он. (Этого, конечно, подумать нельзя было, так как он был склеен весь из картона и в воде расклеился бы.)

«Пока что – правильно, – сказал Король и принялся повторять стихи про себя: “...Им ясно истина видна” – это, значит, присяжным. “...Когда вмешается она...” – это, должно быть, Королева. “Но что же станет со мною?” ...да, это действительно вопрос! “...Я дал ей семь, ему же десять...” –ну конечно, это насчет пирожков».

«Но дальше сказано, что “все вернулись к нам опять”», – перебила Аня.

«Так оно и есть – вот они! – с торжеством воскликнул Король, указав на блюдо с пирожками на столе. – Ничего не может быть яснее! Будем продолжать: “...Пред тем, как в обморок упасть...” Ты, кажется, никогда не падала в обморок, моя дорогая?» – обратился он к Королеве.

«Никогда!» – рявкнула с яростью Королева и бросила чернильницей в Ящерицу. (Бедный маленький Яша уже давно перестал писать пальцем, видя, что следа не остается, а тут он торопливо начал сызнова, употребляя чернила, струйками текущие у него по лицу.)

«В таком случае это не совпадает», – сказал Король, с улыбкой обводя взглядом присутствующих. Гробовое молчанье.

«Это – игра слов!» – сердито добавил он, и все стали смеяться.

«Пусть присяжные обсудят приговор», – сказал Король в двадцатый раз.

«Нет, нет, – прервала Королева. – Сперва казнь, а потом уж приговор!»

«Что за ерунда? – громко воскликнула Аня. – Как это возможно?»

«Прикуси язык!» – гаркнула Королева, густо побагровев.

«Не прикушу!» – ответила Аня.

«Отрубить ей голову», – взревела Королева. Никто не шевельнулся.

«Кто вас боится? – сказала Аня. (Она достигла уже обычного своего роста.) – Ведь все вы – только колода карт».

И внезапно карты взвились и посыпались на нее: Аня издала легкий крик – не то ужаса, не то гнева – и стала от них защищаться и... очнулась... Голова ее лежала на коленях у сестры, которая осторожно смахивала с ее лица несколько сухих листьев, слетевших с ближнего дерева.

«Проснись же, Аня, пора! – сказала сестра. – Ну и хорошо же ты выпалась!»

«Ах, у меня был такой причудливый сон!» – воскликнула Аня и стала рассказывать сестре про все те странные приключения, о которых вы только что читали. Когда она кончила, сестра поцеловала ее и сказала:

«Да, действительно, сон был причудливый. А теперь ступай, тебя чай ждет; становится поздно».

И Аня встала и побежала к дому, еще вся трепещущая от сознания виденных чудес.

* * *

А сестра осталась сидеть на скате, опершись на вытянутую руку. Глядела она на золотой закат и думала о маленькой Ане и обо всех ее чудесных приключениях и сама в полудреме стала грезить.

Грезилось ей сперва лицо сестренки, тонкие руки, обхватившие голое колено, яркие, бойкие глаза, глядящие ей в лицо. Слышала она все оттенки детского голоса, видела, как Аня по обыкновению своему нет-нет да и мотнет головой, откидывая волосы, которые так настойчиво лезут на глаза. Она стала прислушиваться, и все кругом словно ожило, словно наполнилось теми странными существами, которые причудились Ане.

Длинная трава шелестела под торопливыми шажками Белого Кролика; испуганная Мышь барахталась в соседнем пруду; звякали чашки – то Мартовский Заяц со своими приятелями пили нескончаемый чай; раздавался резкий окрик Королевы, приказывавшей казнить несчастных гостей своих; снова поросенок-ребенок чихал на коленях у Герцогини, пока тарелки и блюда с грохотом разбивались кругом; снова вопль Грифа, поскрипыванье карандаша в руках Ящерицы и кряхтенье подавляемых морских свинок наполняли воздух, мешаясь с отдаленными всхлипываниями горемычной Чепухи.

Так гредила она, прикрыв глаза, и почти верила в страну чудес, хотя знала, что стоит глаза открыть – и все снова превратится в тусклую явь: в шелестенье травы под ветром, в шуршанье камышей вокруг пруда, сморщенного дуновеньем, – и звяканье чашек станет лишь перезвоном колокольчиков на шеях пасущихся овец, а резкие крики Королевы – голосом пастуха. И все остальные звуки превратятся (знала она) в кудахтанье и лай на скотном дворе, и дальнейшее мычанье коров займет место тяжелого всхлипывания Чепухи.

И затем она представила себе, как эта самая маленькая Аня станет взрослой женщиной, и как она сохранит в зрелые годы свое простое и ласковое детское сердце, и как она соберет вокруг себя других детей и очарует их рассказом о том, что приснилось ей когда-то, и как она будет понимать их маленькие горести и делить все простые радости их, вспоминая свое же детство и длинные, сладкие летние дни.

Сноски

1

Бойд Б. Владимир Набоков. Русские годы. Биография / Пер. Г. Лапиной. СПб.: Симпозиум, 2010. С. 210. (Здесь и далее, если не указано иное, – прим. ред.)

2

Там же.

3

Houghton Library (Cambridge, Mass.) / Vladimir Nabokov papers. Box 12. Fol. 215.

4

The New York Public Library. W. Henry & A. Albert Berg Collection of English and American Literature / Vladimir Nabokov papers / Letters to Elena Ivanovna Nabokov.

5

Там же.

6

«Colas Br<e>ugnon» // Руть. 1922. 29 августа. С. 2–3.

7

Настоящее имя Вольтера Франсуа–Мари Аруэ.

8

Роллан Р. Примечания Брюньонова внука // Собр. соч.: В 14 т. / Под общ. ред. И. Анисимова. М., 1956. Т. 7. С. 207–210. Пер. М. Лозинского.

9

Шор В. «Кола Брюньон» на русском языке // Мастерство перевода. Сборник седьмой. М., 1970. С. 225–226.

10

Некоторые примеры русификации имен в переводе Набокова отражены в наших примечаниях к настоящему изданию.

11

Офросимов Ю. Николка Персик. Роман Р. Роллана, перев. В. Сирина. (И–во «Слово», Берлин, 1922) // Руть. 1922. 19 ноября. С. 9.

12

Beaujour E. K. Nikolka Persik // The Garland Companion to Vladimir Nabokov / Ed. by V. E. Alexandrov. N. Y. & L., 1995. P. 559.

13

Объявления о поступлении книги в продажу появились в газете «Дни» (Берлин) в марте 1923 года.

14

Набоков В. Другие берега. АСТ: Corpus, 2022. С. 289.

15

Кэрроль Л. Приключения Алисы в Стране чудес / Перевод Allegro [П. С. Соловьевой]. СПб.: Издание журнала «Тропинка», 1909. Carroll L. Алиса в Стране чудес. Переработал для русских детей А. Д'Актиль. М. – Петроград: Издательство Л. Д. Френкель, 1923.

16

В. <Рец.> Л. Карроль. Аня в Стране чудес. Пер. с англ. В. Сирина с рисунками С. Залшупина. Изд-во Гамаюн, Берлин. 1923 // Руть. 1923. 29 апреля. С. 11.

17

Karlinsky S. Anya in Wonderland: Nabokov's Russified Lewis Carroll // Nabokov. Criticism, reminiscences, translations and tributes / Ed. by A. Appel, Jr. & Ch. Newman. L.: Weidenfeld and Nicolson, 1971. P. 314.

18

Nabokov V. Strong Opinions. N. Y., 1990. P. 286.

19

«Жан-Кристоф» (опубл. 1904–1912), десяти томный роман Р. Роллана, названный Набоковым в «Лолите» (1955) посредственным.

20

Примите с покорностью (фр.). Жанна Д'Арк поведала своим судьям перед казнью, что слышала голоса святых, сказавших ей: «Prends tout en gré» («Принимай все как есть»).

21

Имеется в виду греческий миф о царе Мидасе, который был судьей на музыкальном состязании Аполлона с Паном и признал первого побежденным. За это Аполлон наделил Мидаса ослиными ушами, которые царю приходилось прятать под фригийской шапкой. Цирюльник Мидаса, мучаясь тайной, которой ни с кем не мог поделиться, вырыл ямку в земле и шепнул туда: «У царя Мидаса ослиные уши!» – и засыпал ямку. На этом месте вырос тростник, который прошелестел о тайне всему свету.

22

В настоящем издании сохраняются некоторые особенности орфографии и транслитерации Набокова (написание слов «чорт», «Мэдон», «Клянси» и др.); слова «стклянка», «шеколадный», «конфекты» приведены к современному написанию.

23

Хвала Господу! (лат.)

24

У Роллана (и в переводе Лозинского) Глоди (Glodie).

25

У Набокова здесь ошибочно «Вюврона» (в оригинале Beuvron).

26

Имеется в виду один из центров паломничества средневековой Европы аббатство Везле – аббатство св. Марии Магдалины в местечке Везле, Бургундия.

27

Бейан, или Вифлеем, – предместье Кламси (прим. Роллана: Роллан Р. Собр. соч.: В 14 т. Т. 7. С. 23).

28

У Роллана – Мартина.

29

Горыня – сказочный богатырь и великан, который горами качает (Словарь Даля).

30

У Роллана Fiacre Bolacre (у Лозинского – Фиакр Болак).

31

У Роллана Vincent Pluviaut (у Лозинского – Венсан Плювью).

32

«Рим» – верхний город; это имя он получил от так называемой «Староримской» лестницы, ведущей от площади св. Мартина к Бевронскому предместью (прим. Роллана: Роллан Р. Собр. соч.: В 14 т. Т. 7. С. 26).

33

Гадовать – блевать (Словарь Даля).

34

У Роллана le curé Chamaille (у Лозинского – кюре Шамай).

35

С Духом Твоим (лат.).

36

Псалом 36: «Тамо падоша вси делающии беззаконие, изриновени быша и не возмогут стати» (прим. М. Лозинского: Роллан Р. Собр. соч.: В 14 т. Т. 7. С. 44).

37

Тамо паде.

38

Ошибка Набокова: у Роллана инки.

39

У Роллана де Сермизель.

40

Афей (атеи) – атеист.

41

Поросая или поросная – беременная.

42

Да будет воля (лат.).

43

Паши, молись и трудись (лат.).

44

Отче наш... хлеб насущный (лат.).

45

Слюнявый человек (Словарь Даля).

46

Молись за нас (лат.).

47

В средневековой Германии член судебной коллегии, определявший наказание вместе с судьей.

48

По должности (лат.).

49

Отпускаю тебе (лат.).

50

У Роллана maître Pierre Delavau (мэтр Пьер Делавао).

51

Старинное народное приветствие при чокании за выпивкой (прим. Р. Роллана).

52

Задница (Словарь Даля).

53

Имя персонажа – Quiriace Pinon (Кириас Пинон), Набоков русифицирует его как Карась Пинок.

54

Jean Gifflard (Жан Жифлар); блябла – оплеуха, пощечина (Словарь Даля).

55

Голдовный – вассальный.

56

Старая русская мера веса, равная 10 пудам.

57

Неясно, что имеется в виду. У Роллана, если перевести буквально: «Потому что именно поэтому ты еще не десятирогий». В переводе Лозинского: «Ведь только поэтому и ты по сей день не рогат, как олень».

58

Выть – позыв на еду, аппетит (Словарь Даля).

59

Краткое и меткое наставительное изречение, нравоучительная сентенция.

60

«Волшебница» – сказка Ш. Перро из книги «Сказки моей матушки Гусыни» (1697), переведенная на русский И. С. Тургеневым. У Роллана и в переводе Лозинского этого произведения нет.

61

Имеется в виду Гийом Буше (ок. 1513–1594), автор книги «Les Serées» («Вечерние беседы», 1584–1598), сборник бесед, рассказов и шуток.

62

Всякая домашняя, нужная в хозяйстве вещь (Словарь Даля).

63

Тут мы позволяем себе пропустить несколько строк. Рассказчик не избавляет нас ни от одной подробности касательно состояния его внутренностей; внимание, с которым он к ним относится, заставляет его распространяться о предметах, не особенно приятных на запах. Добавим, что физиологические познания его, которыми он, видимо, гордится, порой несколько сомнительны. (Прим. Роллана в переводе Набокова.)

64

Дьявол, чорт (Словарь Даля).

65

Жирный, маслянистый, сдобный (Словарь Даля).

66

«Да упокоится!» (лат.) католическая молитва по умершим.

67

«Ныне отпускаеши» (лат.).

68

До этого подмастерье назывался Коньком. По-видимому, более ранний вариант имени остался неисправленным.

69

Задать лататы (простореч.) – убежать без оглядки.

70

Описание бесчинств в повести Роллана отразилось в следующих строках сказочной поэмы Набокова «Легенда о луне» (1920): «Кругом гремучие пожары / краснели. В городе самом, / меж светлым морем и холмом, / был ропот, шепот, / праздник ярый. / Тут – оглушительная мгла, / там – выкрик пламени. Тут – ссора, / а там – убийство. Без разбора / сцеплялись голые тела / в книгохранилище громадном, / где пировали палачи, / монахи, женщины. В ночи, / на улицах, во мраке смрадном, – / что, что там рдело до утра – / вино ли, злобные глаза ли, / иль только искры от костра?» (Набоков В. Поэмы 1918–1947. Жалобная песнь Супермена / Сост., статья, коммент. А. Бабикова. М.: АСТ: Corpus, 2022. С. 54).

71

Описка Набокова, имеется в виду шеффен Никола.

72

Виселица.

73

Посредине стоит (лат.).

74

Ремень, которым сапожники поддерживают на коленях обрабатываемый материал.

75

Моя вина (лат.).

76

Стальное гладкое орудие для лощения, полировки (Словарь Даля).

77

В греческой мифологии Орфей, сын речного бога и музы Каллиопы, – певец и музыкант, который игрой на лире мог передвигать деревья и скалы; схожим образом Амфион, сын Зевса и Антиопы, игрой на лире, подаренной ему Гермесом, приводил в движение камни и заставлял их ложиться в нужное место.

78

Скупец, скряга, лихоимец.

79

Ошибка или описка Набокова, должно быть Херонейский.

80

Гефестион – близкий друг Александра Македонского.

81

Здравствуй (лат.).

82

У Набокова ошибочно: Петрарховских.

83

Французские имена заменены русскими. Именем Машенька Набоков вскоре озаглавит свой первый роман (1926). По какой-то причине в первом переиздании «Николки Персика», помимо некоторых других искажений, это имя изменено на «Сашеньку» (Набоков В. Собр. соч. русского периода. СПб.: Симпозиум, 1999. Т. 1. С. 348).

84

Кадушка с крышкой и замком, вместо сундука (Словарь Даля).

85

Т.е. Никейский Символ веры.

86

Т.е. одолевает. Выражение из описания Кочубея перед казнью в песни второй «Полтавы» А. С. Пушкина: «Заутра казнь. Но без боязни / Он мыслит об ужасной казни; / О жизни не жалеет он. / Что смерть ему? желанный сон. / Готов он лечь во гроб кровавый. / Дрема долит <...>». Набоков использовал его в «Трагедии господина Морна» (1924) и в «Приглашении на казнь» (1935).

87

В оригинале глава называется «The Pool of Tears» – «Лужа слез».

88

Где моя кошка?

89

Отсылка к стихотворению М. Ю. Лермонтова «Есть речи – значенье / Темно иль ничтожно...» (1839).